Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 6

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Любовь и мистер Люишем

ГЛАВА I

ЗНАКОМИТ С МИСТЕРОМ ЛЮИШЕМОМ

В первой главе ничего не говорится о Любви — эта участница событий появляется лишь в главе третьей,— а пока мы застаем мистера Люишема за работой. Речь пойдет о событиях десятилетней давности, и в те годы он был младшим учителем в частной школе в городке Хортли графства Суссекс; жалованье его составляло сорок фунтов в год, из коих он должен был в течение учебного года платить пятнадцать шиллингов в неделю владелице маленькой лавки на Вест-стрит миссис Манди, у которой жил и столовался. «Мистером» его звали для отличия от великовозрастных мальчишек, пока еще обязанных учиться, а от них строго-настрого требовалось, чтобы, обращаясь к нему, они величали его «сэр».

Он носил костюм из магазина готового платья; борта и рукава его черного, строгого покроя сюртука были припорошены мелом, лицо покрыто первым пушком, а на губе определенно намечались усы. Это был приятный на вид юноша, восемнадцати лет, светловолосый, довольно плохо подстриженный, в очках на крупном носу — очки ему были совершенно не нужны,— он носил их ради поддержания дисциплины, чтобы казаться старше. В тот самый момент, когда начинается наше повествование, он находился у себя в комнате. То было чердачное помещение со слуховыми окошками в свинцовых рамах, покатым потолком и вспученными стенами, оклеенными, как свидетельствовали многочисленные надрывы, не одним слоем цветастых старомодных обоев.

Судя по убранству комнаты, мистера Люишема больше занимали мысли о Величии, нежели о Любви. Над изголовьем его кровати, например, где добрые люди вешают изречения из библии, находились начертанные четким, крупным, по-юношески вычурным почерком следующие истины: «Знание — сила», «Что сделал один, способен сделать другой» (под словом «другой» подразумевался, конечно, сам мистер Люишем). Эти истины не полагалось забывать ни на минуту. Каждое утро, когда голова мистера Люишема пролезала сквозь ворот рубашки, он мог вновь освежать их в своей памяти. А над выкрашенным желтой краской ящиком — на нем из-за отсутствия полок размещалась личная библиотека мистера Люишема — висела его «Programma». (Почему не просто «Программа», на этот вопрос мог бы ответить лучше моего редактор «Чэрч-таймс», который называет отдел литературной смеси «Varia».) В этой «Программе» год 1892-й был указан как срок, когда мистеру Люишему предстояло сдать при Лондонском университете экзамены на степень бакалавра «с отличием по всем предметам», а 1895-й отмечен «золотой медалью». Дальше, своим чередом, должны были последовать «брошюры либерального направления» и тому подобные вещи. «Тот, кто желает управлять другими, должен прежде всего научиться управлять собой» — было написано над умывальником, а возле двери, рядом с выходной парой брюк, висел портрет Карлейля[1].

Это были не пустые угрозы окружающему миру: действия уже начались. Растолкав Шекспира, эмерсоновские «Опыты»[2] и «Жизнь Конфуция»[3] в дешевом издании, стояли потрепанные и помятые учебники, несколько превосходных пособий «Всеобщей ассоциации заочного образования», тетради, чернила (красные и черные) в грошовых бутылочках и резиновая печатка с вырезанным на ней именем мистера Люишема. Полученные от Южно-Кенсингтонского колледжа голубовато-зеленые свиде-

---

[1] Карлейль, Томас (1795—1881) — английский писатель, историк и публицист.

[2] Эмерсон, Ральф Уолдо (1803—1882) — американский писатель, философ и публицист.

[3] Конфуций (Кун-цзы; 551—479 до н. э.) — древнекитайский философ.

тельства о прохождении курса начертательной геометрии, астрономии, физиологии, физиографии и неорганической химии украшали третью стену. А к портрету Карлейля был приколот список французских неправильных глаголов.

Над умывальником, к которому угрожающе близко скосом подступала крыша — ведь обитал мистер Люишем в мансарде,— канцелярская кнопка удерживала расписание дня. Мистеру Люишему надлежало вставать в пять утра, а свидетелем тому, что это не пустое хвастовство, был американский будильник, стоявший на ящике возле книг. Подтверждали это и кусочки шоколада на бумажной тарелочке у изголовья постели. «До восьми — французский» — кратко извещало расписание. На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут — не больше и не меньше — посвящалось литературе, то есть заучиванию отрывков (в основном риторического характера) из пьес Вильяма Шекспира, после чего следовало отправляться в школу и приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. На перерыв и час обеда расписание назначало сочинение из латыни (на время еды, однако, предписывалась опять литература), а в остальные часы суток занятия менялись в зависимости от дня недели. Ни одной минуты дьяволу с его «искушениями». Только семидесятилетний старец имеет право и время на праздность.

Подумать только, до чего превосходное расписание! Встать и приступить к работе в пять утра, когда весь мир вокруг тебя еще хранит горизонтальное положение и видит сны, нежась в тепле, а тот, кого вдруг разбудили, глупо таращит глаза и тотчас же, ворча и вздыхая, снова поворачивается на бок и засыпает. В восемь за плечами уже трехчасовая работа, то есть на три часа больше знаний, чем у любого другого человека. На освоение иностранного языка требуется, как объяснял мне один известный ученый, около тысячи часов упорного труда; а если вы уже знаете три-четыре языка, то потребуется гораздо меньше времени и можно освоить по языку в год, занимаясь только перед завтраком. Владение языками — к вашим услугам, стоит лишь руку протянуть! Или взять литературу—удивительная идея! Послеобеденные часы — математика и естест-

венные науки. Что может быть проще и одновременно величественнее? Через шесть лет мистер Люишем будет владеть пятью или шестью языками, получит глубокое, всестороннее образование и усвоит привычку к сказочному трудолюбию, и все это к двадцати четырем годам. У него уже будет диплом университета и приличные средства к существованию. Надо думать, и брошюры либерального направления тоже не окажутся пустяками. Можно себе представить, что ждет мистера Люишема в тридцать лет. Конечно, по мере приобретения жизненного опыта подвергнется кое-каким изменениям и «Programma», но дух ее не изменится, и дух этот — всепоглощающее пламя!

Он сидел лицом к ромбовидному окну и быстро-быстро что-то писал. Столом ему служил второй желтый ящик, поставленный стоймя; крышка ящика была откинута, поэтому колени мистера Люишема удобно устроились внутри. На постели были навалены книги и размноженные на ротапринте многочисленные инструкции его заочных наставников. Согласно висевшему на стене расписанию, мистер Люишем, как вы могли бы убедиться, занимался переводом с латинского языка на английский.

Мало-помалу скорость письма уменьшилась. Дело разладилось на «Urit me Glyceræ nitor» [1]. Эта фраза никак не давалась ему. «Urit me»,— пробормотал он, и взгляд его, оторвавшись от книги, переместился на видневшуюся из окна крышу дома священника с ее обвитыми плющом печными трубами. Его лоб, сначала нахмуренный, теперь разгладился. «Urit me»! Прикусив зубами кончик ручки, он огляделся в поисках словаря. Urare»?

Внезапно выражение его лица изменилось. Рука, протянутая к словарю, опустилась. Он прислушался к доносившемуся с улицы легкому постукиванию. Это были шаги.

Он вскочил и, вытянув шею, старался сквозь стекла ненужных ему очков и ромбовидные стекла окна разглядеть, что там на улице. Прямо под собой, внизу, он увидел шляпку, затейливо украшенную бело-розовыми цветами, плечо, кончик носа и подбородок. Ну да, это она, та самая незнакомка, которая в прошлое воскре-

---

[1] Сжигает меня Гликеры ослепительная краса (*лат.*).

сенье сидела под хорами возле Фробишеров. Тогда он тоже видел ее лишь краем глаза...

Он следил за ней, пока она не исчезла из поля зрения. Попытался даже проводить ее взглядом за угол...

Затем, вздрогнув, нахмурился и вынул ручку изо рта.

— Как я отвлекаюсь!—сказал он.—И по каждому пустяку! Где я остановился? Фу! — с шумом выдохнул он воздух, выражая этим свое раздражение, и сел, снова засунув колени в открытый ящик.— Urit me,— повторил он, кусая кончик пера и отыскивая словарь.

Была среда, в этот день занятий в школе не было. Стоял конец марта, и весенний день был великолепен своим янтарным светом, ослепительно белыми облаками и густо-синим небом; тут и там среди ветвей деревьев мелькали брызги яркой зелени, возбужденно и радостно чирикали птицы — радостный день, волнующий, зовущий, истинный вестник лета, близость которого уже чувствовалась в воздухе. Теплая земля раздавалась под натиском набухших семян, а в хвойных лесах, чуть слышно потрескивая, лопались чешуйчатые почки. И не только земля, воздух и деревья внимали зову матери-природы, он волновал и юношескую кровь мистера Люишема, побуждая его к жизни, жизни совсем иной, нежели та, к какой звала его «Programma».

Он увидел словарь, выглядывавший из-под газеты, нашел «Urit me», оценил сверкающий «nitor» плеч Гликеры, снова отвлекся и снова одернул себя.

— Не могу сосредоточиться,— сказал мистер Люишем.

Он снял свои бесполезные очки, протер стекла и сощурился. Проклятый Гораций с его эпитетами! Пойти разве погулять?

— Не поддамся,— заупрямился он, нацепил на нос очки и с воинственной решительностью, положив локти на ящик, вцепился руками в волосы...

Через пять минут он поймал себя на том, что следит за ласточками, скользящими в синеве над садом священника.

— Ну виданное ли это дело? — воскликнул он сердито, хотя и несколько неопределенно.— А все поблажки; работать сидя — это уже наполовину лень.

Итак, он поднялся, чтобы, стоя, продолжать работу, но теперь его взору открылась вся улица. «Если она повернула за угол у почты, то сейчас появится за огородами»,— предположил неизведанный и недисциплинированный уголок в сознании мистера Люишема...

Она не появилась. Значит, она вовсе и не свернула у почты. Интересно, куда же она девалась? Может быть, она ходит на окраину города, гуляет по аллее?.. Внезапно небольшая тучка закрыла солнце, сверкающая улица померкла, и мысли мистера Люишема стали послушными. И «Mater saeva cupidinum» — «Неукротимая мать желаний» — для подготовки к экзамену университет рекомендовал мистеру Люишему Горация («Оды», книга II) — была все-таки переведена до самого ее пророческого конца.

Как только церковные часы пробили пять раз, мистер Люишем с пунктуальностью, в которой было, пожалуй, слишком много поспешности для истинно серьезного студента, захлопнул Горация и, взяв в руки Шекспира, спустился по узкой, не покрытой ковром лестнице в столовую, где его ждал чай в обществе его квартирной хозяйки миссис Манди. Эта добрая женщина сидела в одиночестве, но, обменявшись с ней несколькими любезностями, мистер Люишем открыл своего Шекспира и, начав с отмеченного им места — это место, между прочим, приходилось на середину сцены,— принялся читать, машинально поглощая в то же время куски хлеба, намазанные черничным вареньем.

А миссис Манди глядела на него поверх очков и думала о том, как, должно быть, вредно для зрения так много читать, пока звяканье дверного колокольчика в лавке не возвестило о приходе очередного покупателя. Без двадцати пяти шесть мистер Люишем положил книгу обратно на подоконник, стряхнул с пиджака крошки и, надев свою шапочку с квадратным верхом, что лежала на чайнице, отправился в школу на вечернее «дежурство».

Улица была пустынна и залита золотым дождем заката. Это зрелище так захватило его, что он забыл повторить отрывок из «Генриха VIII», что надлежало сделать по пути в школу. Он шел и снова думал о том, что увидел мельком сегодня из своего окна, о чьих-то подбородках и носиках... Взгляд его стал задумчивым.

Дверь школы услужливо отворил маленький мальчик, который ждал, чтобы у него проверили написанные им «строчки».

Мистер Люишем вошел, дверь за ним захлопнулась, и он сразу очутился в другом мире. Типично школьный вестибюль с его желтыми под мрамор обоями, где по стене тянулся длинный ряд крючков для головных уборов, в стойке торчали старые зонты, а в углу валялась чья-то школьная шапочка с продавленным верхом и растерзанный на листки учебник «Principia», казался тусклым и мрачным по сравнению с блистательным закатом трепетного мартовского вечера. Непривычное чувство серости и однообразия жизни учителя, жизни всех, кто посвятил себя науке, на мгновение пришло к мистеру Люишему. Он взял «строчки», неуклюже выписанные на трех тетрадных страницах, и перечеркнул каждую страницу чудовищных размеров подписью: «Д. Э. Л.» В отворенную дверь классной комнаты доносился знакомый шум с площадки для игр.

ГЛАВА II

«КОГДА ПОДУЕТ ВЕТЕР»

Слабым местом в пентаграмме расписания, в той самой пентаграмме, которой надлежало оградить мистера Люишема от злых духов-искусителей на его пути к Величию, было отсутствие параграфа, запрещающего заниматься наукой вне дома. Недостаток этот стал очевидным на другой день после описанных в предыдущей главе событий, когда мистер Люишем поймал себя на пошлом подглядывании из окна. День этот оказался еще обольстительнее и прекраснее, чем канун его, и в половине первого, вместо того, чтобы после занятий в школе поспешить прямо домой, мистер Люишем не пренебрег возможностью пройтись—с Горацием в кармане—к воротам парка, а оттуда по длинной аллее, окаймленной старыми деревьями, которая тянется по окраине городка Хортли. Ему без труда удалось отогнать мелькнувшее было сомнение в серьезности собственных намерений. На аллее не встретишь ни души, там можно спокойно почитать. Провести время на свежем воздухе, на ходу, гораздо

полезнее, чем сидеть, скрючившись, в душной, мрачной комнате. Свежий воздух укрепляет здоровье, закаляет, бодрит...

День был ветреный, и покрытые почками ветви деревьев непрерывно шелестели. Лучи солнца пронизывали сплетенные сучья буков и золотили нижние ветви, украшенные стрелками молодых побегов.

«Tu, nisi ventis
Debes, ludibrium, cave» [1],—

вот о чем заставлял себя думать мистер Люишем, по привычке стараясь держать книгу открытой сразу в трех местах: на тексте, примечаниях и подстрочном переводе,— и в то же время отыскивая в словаре слово «ludibrium», когда его взгляд, с опасностью для дела блуждавший на самом верху страницы, поднялся еще выше и с невероятной быстротой скользнул вдоль по аллее...

Навстречу шла девушка в украшенной белыми цветами соломенной шляпке. Она тоже была погружена в науку и так сосредоточенно делала какие-то записи, что, вероятно, даже не замечала его.

Непонятные чувства вдруг захватили мистера Люишема, чувства, совершенно необъяснимые чисто случайной встречей. Прозвучал даже какой-то шепот, подозрительно похожий на слова: «Это она!» Заложив пальцами страницу, он шел ей навстречу, готовый при первом ее взгляде снова зарыться в текст, и следил за ней поверх книги. Слова «ludibrium» для него больше не существовало. Она же, увлеченная своим писанием, явно не замечала его присутствия. Интересно, что она пишет? Ее склоненное лицо казалось детским. На ней была короткая — выше щиколоток — юбка, которая развевалась по ветру, открывая ножки, обутые в туфельки. Ступала она — он приметил — легко и грациозно. Залитая солнцем фигурка — олицетворение здоровья и легкости — приближалась к нему, и все это, как он потом с удивлением вспоминал, вовсе не предусматривалось его «Программой».

---

[1] Берегись, не то станешь игрушкой. *Гораций, I, «14 ветров» (лат.).*

Не подымая глаз, она подходила все ближе и ближе. Он был полон смутного и нелепого желания без всякого повода, так вот попросту подойти к ней и заговорить. Удивительно, как это она его не замечает. С замиранием сердца он ждал того мгновения, когда она поднимет взгляд, хотя чего тут, собственно, было ждать!.. Он подумал о том, каким предстанет ей, когда она обратит на него взор,— интересно, куда свешивается кисточка его шапочки, иногда она падает прямо на глаза. Разумеется, сейчас не время было отыскивать рукой эту злосчастную кисточку. Дрожь волнения охватила его. И шаг, обычно машинальный, стал неуверенным и тяжелым. Словно ему еще никогда в жизни не доводилось ни с кем встречаться на дороге. Расстояние между ними все сокращалось, осталось десять ярдов, девять, восемь. Неужели она пройдет, так и не взглянув на него?..

И тут их взоры встретились. У нее были карие глаза, и мистер Люишем, совершенный дилетант в такого рода делах, не мог подыскать слов для их описания. Она сдержанно глянула ему в лицо, но, казалось, ничего интересного в нем не нашла. А потом перевела свой взгляд на гущу деревьев и прошла мимо, и снова перед ним была лишь пустынная аллея, залитая солнцем, окропленная зеленью пустота.

Все кончено.

Но вдруг откуда-то издалека налетел шумный ветер, и в то же мгновение все ветки над головой пришли в движение, зашелестели и заскрипели. Казалось, его гнало прочь от нее. Прошлогодние листья, когда-то зеленые, а теперь увядшие, и молодые листочки — все понеслось, обгоняя друг друга, подпрыгивая, танцуя и кружась, как вдруг что-то большое припало на мгновение к его затылку, потом рванулось в сторону и тоже понеслось вдоль по аллее.

Что-то ярко-белое! Листок бумаги, листок, на котором она писала.

Сначала он не разобрал, что случилось. Но потом бросил взгляд назад и внезапно понял все. Неловкость его исчезла. С Горацием в руке он бросился вдогонку за листком и через десять шагов настиг беглеца. Торжествуя, он повернулся к ней со своей добычей. Он успел бросить взгляд на исписанную страницу,

но поначалу, в увлечении, не осознал увиденного. И только сделав шаг к ней навстречу, вдруг понял, что это было. Одинаковые строки, прописные буквы! Неужели это?.. Он остановился. Подняв брови, снова взглянул на листок. Он держал его прямо перед собой и читал без всякого стеснения. На листке стилографическим пером было выведено:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И снова:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И снова:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»
«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И так далее; вся страница была исписана мальчишеским почерком, удивительно похожим на почерк Фробишера-второго.

Сомневаться не приходилось!

— Послушайте! — сказал мистер Люишем, не веря своим глазам и от удивления забывая о приличии... Он прекрасно помнил, как задал Фробишеру-второму тридцать раз переписать эту фразу в наказание за то, что тот слишком громко произнес ее на уроке. Значит, вместо мальчика писала она. Это совсем не вязалось с тем смутным суждением, которое он успел о ней составить. Почему-то казалось, что она его обманула. Но, разумеется, это длилось всего лишь секунду.

Она подошла к нему.

— Можно мне взять мой листок? — спросила она, чуть запыхавшись.

Она была дюйма на два ниже его. «Заметил ли ты ее полуоткрытые губки?» — шепнула мать-природа мистеру Люишему (он вспомнил об этом позднее). В ее глазах чуть трепетало какое-то опасение.

— Послушайте,— сказал он, все еще негодуя,— этого делать не следует.

— Чего этого?

— Вот этого. Дополнительную работу. За моих учеников.

Она подняла брови, но тотчас снова их нахмурила и взглянула на него.

— Значит, вы мистер Люишем? — удивилась она, словно эта мысль ей и в голову не приходила.

Она прекрасно знала, кто он, и именно поэтому взялась писать «строчки»; но делала вид, будто не знает его, что давало ей возможность затеять разговор.

Мистер Люишем кивнул.

— Боже мой! Значит, вы поймали меня?

— Боюсь, что так,— ответил Люишем.— Боюсь, что я действительно вас поймал.

Они смотрели друг на друга, ожидая, что будет дальше. Она решила просить о снисхождении.

— Тедди Фробишер—мой двоюродный брат. Я знаю, что плохо поступила, но у него куча дел и ему так не везет. А мне нечего делать. По правде говоря, это я предложила...

Она замолчала и посмотрела на него, считая, по-видимому, что этих доводов достаточно.

Их глаза встретились, и это привело обоих в странное смущение. Он попытался продолжить разговор о «строчках» Фробишера.

— Вам не следовало этого делать,— повторил он, не сводя с нее глаз.

Она опустила взгляд, потом снова посмотрела ему в лицо.

— Да,— сказала она.— Наверное, не следовало. Извините, пожалуйста.

Ее манера то опускать, то поднимать глаза опять произвела на мистера Люишема какое-то странное действие. Ему казалось, что разговор у них идет совсем не о том, о чем они говорят,— предположение явно нелепое, которое можно объяснить только полным сумбуром в его мыслях. Он предпринял еще одну серьезную попытку сохранить за собой солидную позицию человека, делающего внушение.

— Знаете, я бы все равно заметил, что почерк не его.

— Разумеется. Я поступила очень дурно, уговорив Тедди. Виновата только я, уверяю вас. Ему так трудно. И я подумала...

Она снова замолчала, и румянец на ее щеках стал чуть ярче. Внезапно юноша почувствовал, что его собственные щеки тоже, как это ни глупо, запылали. Необходимо было избавиться наконец от этого ощущения двойственности в разговоре.

— Поверьте,— сказал он, на сей раз от души,— я никогда не наказываю, если ученик того не заслужил. Я взял себе это за правило. Я... гм... всегда придерживаюсь этого правила. Я очень, очень осторожен.

— Мне, право, страшно жаль,— перебила она его, искренне раскаиваясь.— Я поступила глупо.

Люишему было ужасно неловко слушать ее извинения, и он поспешил ответить, полагая, что тем самым сгонит разливавшуюся по лицу краску.

— Этого я не думаю,— возразил он с несколько запоздалой торопливостью.— Напротив, вы поступили очень мило... Это очень мило с вашей стороны. И я знаю... Мне вполне понятно, что... гм... ваша доброта...

— Толкнула меня на необдуманный поступок. А теперь еще и бедняжку Тедди ждут большие неприятности за то, что он позволил мне...

— О нет,— возразил мистер Люишем, спеша воспользоваться случаем и стараясь не улыбаться от гордости за свое благородство.— Я не имел права заглядывать в листок, когда поднял его, абсолютно никакого права. А следовательно...

— Вы не придадите этому значения? Правда?

— Конечно, нет,— ответил мистер Люишем.

Ее лицо осветилось улыбкой, и у мистера Люишема тоже сразу стало легче на душе.

— А что же тут особенного? Ведь это только справедливо.

— Однако многие поступили бы иначе. Школьные учителя не всегда ведут себя так... по-рыцарски.

Он ведет себя по-рыцарски! Эта фраза взбодрила его, как хорошая шпора коня. И он с готовностью рванулся вперед.

— Если вам угодно...— начал он.

— Что?

— Он может этого и не делать. Дополнительную работу, хочу я сказать. Я освобождаю его.

— Правда?

— Да.

— Это очень мило с вашей стороны.

— Ну что вы!—сказал он.—Какие пустяки! Если вы действительно считаете...

Его переполняло чувство восхищения собой за это вопиющее попрание справедливости.

— Это очень мило с вашей стороны,— повторила она.

— Пустяки,— еще раз подтвердил он,— сущие пустяки.

— Большинство людей никогда бы...

— Я знаю.

Наступило молчание.

— Не стоит беспокоиться,— сказал он.— Честное слово.

Кажется, он все бы отдал, лишь бы сказать еще что-нибудь, остроумное и забавное, но ничто не шло на ум.

Молчание длилось. Она оглянулась на пустую аллею. Их разговор из невысказанных, но таких важных фраз подходил к концу. Она нерешительно взглянула на него, снова улыбнулась и протянула руку. Конечно, так и следовало поступить. Он взял ее руку, тщетно подыскивая в своем беспомощном, смятенном разуме подходящие слова.

— Это очень мило с вашей стороны,— еще раз произнесла она.

— Пустяки, уверяю вас!— повторил мистер Люишем, по-прежнему тщетно подыскивая хоть какое-нибудь замечание, которое могло бы послужить переходом к новой теме. Ее рука была прохладной, нежной и в то же время крепкой — пожимать ее было так приятно, и это ощущение на секунду вытеснило все остальные. Он держал ее руку в своей и не находил слов.

Они спохватились, что стоят, держась за руки. И оба засмеялись в смущении. Они обменялись дружеским рукопожатием и с неловкой поспешностью отдернули руки. Она повернулась, кинув на него еще один робкий взгляд через плечо, помедлила в нерешительности, потом сказала:

— Прощайте,— и быстро зашагала прочь.

Он поклонился ей вслед, широко взмахнув на старинный лад своей шапочкой, и тут какие-то до сих пор дремавшие тайники его разума взбунтовались.

Не успела она отойти на шесть шагов, как он снова был рядом.

— Послушайте,— сказал он, пугаясь собственной робости и приподнимая свой головной убор с такой неловкой торжественностью, будто поравнялся с похоронной процессией,— но этот листок бумаги...

— Да? — сказала она с удивлением, на сей раз вполне искренним.

— Можно мне взять его?

— Зачем?

У него захватило дух от радостного волнения, как бывает, когда скользишь по крутому склону снежной горы.

— Мне хотелось бы его сохранить.

Подняв брови, она улыбнулась, но он был слишком взволнован, чтобы ответить улыбкой.

— Видите? — сказала она и протянула руку со скомканным в шарик листком. Она засмеялась, но несколько принужденно.

— Мне все равно,— ответил мистер Люишем, тоже засмеявшись.

Решительным жестом он схватил листок и дрожащими пальцами разгладил его.

— Вы не против? — спросил он.

— Против чего?

— Если я сохраню его?

— Нет, отчего же...

Молчание. Глаза их снова встретились. Странное чувство скованности возникло у обоих, немота стучала в висках.

— Мне в самом деле пора идти,— вдруг сказала она, осмелившись нарушить чары. И, повернувшись, ушла, а он остался с измятым листком в той же руке, что держала книгу, между тем как другая почтительно поднимала на прощание шапочку.

Он не отрывал глаз от ее удаляющейся фигурки. Сердце его билось с необычайной быстротой. Как легко, как изящно она двигалась! Маленькие круглые пятнышки солнечного света бежали по ее платью. Сначала она шла быстро, потом замедлила шаг, даже повернула слегка голову, но ни разу не оглянулась, пока не очутилась у ворот парка. Тут она, маленькая, далекая фигурка, обернулась, дружески махнула на прощание рукой и исчезла.

Лицо его горело, глаза блестели. Как это ни странно, но он никак не мог отдышаться. Еще долго стоял он,

глядя на опустевшую аллею, пока наконец не вспомнил о своем трофее, прижатом к переплету забытого Горация.

ГЛАВА III

ЧУДЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ

По воскресным дням Люишем обязан был дважды водить воспитанников в церковь. Мальчики сидели на хорах выше певчих, лицом к органу и боком к собранию. Они были на виду у всех, и он испытывал мучительную неловкость от того, что обращает на себя внимание; правда, порой на него нападало редкостное тщеславие, и тогда он воображал, что все люди восхищаются его высоким челом, на коем столь гармонично отразились все его дипломы. В те дни он был высокого мнения о своих дипломах и о своем челе и весьма невысокого о своем по-юношески открытом лице. (Сказать по правде, в его челе не было ничего примечательного.) Он редко смотрел вниз на собрание, чувствуя, что встретил бы взоры всех присутствующих, устремленные прямо на него. Поэтому и в то утро он не заметил что скамья Фробишеров до самого конца службы пустовала.

Но вечером по пути в церковь Фробишеры и их гостья пересекали рыночную площадь как раз в тот момент, когда по дальней ее стороне шла вереница школьников. На девушке было нарядное платье, как будто уже наступила пасха, а ее лицо, обрамленное темными волосами, показалось Люишему странно новым и вместе с тем знакомым. Она преспокойно взглянула на него. Ему было страшно неловко, и он уже хотел было сделать вид, будто не замечает ее. Но затем, смутившись, рывком приподнял свою квадратную шапочку — ведь его приветствие могло предназначаться и миссис Фробишер. Ни та, ни другая дама не ответили на его поклон, сочтя его, вероятно, несколько неожиданным. А в этот момент юный Сиддонс уронил свой молитвенник, нагнулся его поднять, и Люишем, натолкнувшись на мальчика, чуть было не упал.

...В церковь он вошел в состоянии полного отчаяния.

Но утешение не заставило себя долго ждать. Он ясно видел, что, усаживаясь, она бросила взгляд на хоры, а позднее, когда он, преклонив в молитве колени, сквозь

пальцы посмотрел вниз, взгляд ее вновь был обращен на хоры. Нет, она над ним не смеялась.

В те дни в душе Люишема было немало белых пятен. Он верил, например, что всегда остается разумным существом, между тем как на самом деле в определенных обстоятельствах он легко терял всю свою рассудительность и выдержку и оказывался целиком во власти чувств и фантазий. Музыка, например, особенно пение, если голоса звучали в унисон, уносила его в заоблачные выси, он забывал обо всем, им овладевало глубокое радостное волнение. И вечерняя служба в Хортлийской церкви, когда священник надевал стихарь и когда при трепетном мерцании свечей голос священника сменялся песнопениями, а все собрание разом то опускалось на колени, то вновь садилось на скамьи и в один голос отзывалось на слова пастыря,— все это неизменно опьяняло его. Даже вдохновляло, если хотите, преобразуя прозу его жизни в поэзию. И случай, придя на помощь природе, кое-что подсказал ему, теперь особенно восприимчивому к намекам.

Второй гимн был простым и всем хорошо известным; в нем говорилось о вере, надежде и благодати, и каждая его строфа заканчивалась словом «любовь». Вообразите, как это должно звучать, пропетое медленно и протяжно:

Вера обратится в знанье,
А надежда — в ликованье.
Вечно лишь любви сиянье —
Ниспошли же нам любовь [1].

При третьем повторении этого рефрена Люишем посмотрел мимо алтаря вниз и на мгновение встретился взглядом с ней.

Голос его вдруг оборвался. Но тут он вспомнил, что там, внизу, целые ряды лиц обращены к нему, и он не осмелился еще раз взглянуть на нее. Он чувствовал, что кровь приливает к его лицу.

Любовь! Она выше веры и надежды. Она выше всего на свете. Выше, чем слава. Выше, чем знания. Это великое открытие потоком хлынуло в его душу, вместе с мелодией гимна затопляя ее, и одновременно краска залила ему все лицо до корней волос. Все, что было потом, служило лишь фоном для этой блистательной истины, смут-

[1] Перевод В. Микушевича.

ным фоном, в котором преобладало изумление: он, мистер Люишем, влюблен.

«А-минь». Он был так поглощен своим открытием, что когда все молящиеся уже уселись на свои места, он все еще продолжал стоять. Он рывком и с таким шумом опустился на скамью, что эхо, казалось, оповестило об этом движении всю церковь.

Когда они вышли на паперть в сгущающиеся сумерки, ему казалось, что он повсюду видит ее. Ему почудилось, что она ушла вперед, и он настойчиво торопил своих подопечных в надежде ее догнать. Они пробирались сквозь толпу расходившихся по домам людей. Поклониться ли ей еще раз?.. Но оказалось, что это не она, а одетая в светлое платье Сузи Хопброу, ворона в перьях голубки. Он испытал странное чувство облегчения и одновременно разочарования. Больше в этот вечер ему не суждено было ее увидеть.

Из школы он поспешил к себе домой. Ему очень хотелось побыть одному. Он поднялся в свою мансарду и сел перед перевернутым ящиком, на котором лежала открытая «Аналогия» Батлера [1]. Он не стал зажигать свечу. Откинувшись на спинку стула, он бездумно созерцал одинокую звезду, что висела над садом священника.

Он вынул из кармана помятый листок бумаги, исписанный почерком, похожим на почерк Фробишера-второго — листок был разглажен и тщательно сложен,— и, чуть помедлив от смущения, приложил это сокровище к губам. «Programma» и расписание белели в темноте, как призраки своего собственного былого величия.

Миссис Манди пришлось трижды звать его к ужину.

Поужинав, он тотчас вышел из дому и бродил под звездами до тех пор, пока снова не очутился на холме за пределами города. Он взобрался по склону его до перелаза, откуда был виден дом Фробишеров. Только одно окно светилось, и он решил, что это ее окно. В действительности же за шторой этого окна тридцативосьмилетняя миссис Фробишер крутила свои папильотки — она предпочитала бумажки, потому что они не так вредны для волос — и между делом обсуждала с лежавшим уже в постели мистером Фробишером поведение некоторых

[1] Батлер, Джозеф (1692—1752) — английский философ и теолог.

соседей. Затем она поднесла к зеркалу свечу, чтобы исследовать небольшое пятнышко на лице, причинявшее ей серьезное беспокойство.

А на холме стоял восемнадцатилетний мистер Люишем и добрых полчаса следил за продолговатым пламенем свечи, пока оно не погасло и весь дом не погрузился в полный мрак. Тогда он глубоко вздохнул и в самом восторженном настроении вернулся домой.

На следующее утро он проснулся с весьма серьезными мыслями, правда, воспоминания его о вчерашнем дне были не совсем отчетливы. Взгляд его упал на часы. Было уже шесть, а он не слыхал будильника; оказывается, он позабыл его завести. Он тотчас вскочил с постели и наступил на свои парадные брюки, которые, вместо того чтобы аккуратно сложенными висеть на стуле, в беспорядке валялись на полу. Намыливая лицо, он попытался, согласно своим правилам, припомнить прочитанное накануне. Но, хоть убейте, не мог ничего вспомнить. Истина открылась ему, когда он надевал рубашку. Голова его на полпути к вороту вдруг остановилась, манжеты, болтавшиеся в воздухе, на мгновение повисли в неподвижности.

Затем голова медленно вынырнула на свет божий. На лице его застыло изумление. Он вспомнил. Он вспомнил все случившееся, но вспомнил, как обычную новость, без малейшего волнения. Со всей бесцветной прозаичностью раннего, серого утра.

Да. Теперь он помнил совершенно отчетливо. Вчера он ничего не прочел. Он влюбился.

Потом эта мысль вдруг споткнулась о какое-то препятствие. Некоторое время он стоял, глядя перед собой, затем с рассеянным видом принялся отыскивать запонку для воротника. Возле «Программы» он остановился и скользнул по ней взглядом.

ГЛАВА IV

УДИВЛЕННО ПОДНЯТЫЕ БРОВИ

— О работе все равно забывать не следует,— говорил себе мистер Люишем.

Но никогда еще не были так заманчивы перспективы занятий на свежем воздухе. Перед завтраком он около

получаса читал, расхаживая по переулку возле дома Фробишеров, а в перерыве между завтраком и началом уроков в школе бродил с книгой в руках по аллее; из школы к себе домой он возвращался кружным путем, чтобы еще раз пройти по аллее, а перед вечерними занятиями минут тридцать или около того снова провел там. Во время этих штудий на открытом воздухе мистер Люишем если не смотрел поверх своей книги, то глядел назад, через плечо. И наконец кого же он увидел? Подумать только! Ее.

Он увидел ее краешком глаза и тотчас отвернулся, делая вид, будто ничего не заметил. Необычное волнение охватило все его существо. Руки изо всех сил стиснули книгу. Напряженно прислушиваясь к ее приближению, он не оглянулся вторично, а продолжал медленно и упорно идти вперед, читая оду, перевести которую не смог бы даже под страхом смерти. Спустя несколько секунд, нескончаемых, как вечность, у него за спиной послышались легкие шаги и шелест юбок.

Словно железные тиски сдавили ему голову, не позволяя ей повернуться назад.

— Мистер Люишем! — послышался совсем рядом ее голос. Он судорожно повернулся и неуклюже приподнял свою шапочку.

Она протянула руку; чуть замешкавшись, он схватил ее и держал в своей до тех пор, пока она ее не отняла.

— Я так рада, что мы встретились,— сказала она.

— Я тоже,— простодушно отозвался Люишем.

С минуту они стояли, выразительно глядя друг на друга, а затем жестом девушка выразила свое желание пройтись вместе с ним по аллее.

— Мне очень хотелось,— сказала она, глядя себе под ноги,— поблагодарить вас за то, что вы освободили Тедди от наказания. Вот почему мне хотелось повидаться с вами.— Люишем шагнул вслед за ней.— Странно, не правда ли,— добавила она, взглянув ему в лицо,— что мы снова встретились здесь, на том же самом месте? Мне кажется... Да, именно на этом месте.

Мистер Люишем не мог вымолвить ни слова.

— Вы часто бываете здесь? — спросила она.

— Видите ли...— задумался он, голос его, когда он заговорил, звучал удивительно хрипло.— Нет. Нет. То

есть... Не очень часто. Иногда. По правде говоря, мне нравится здесь читать... Ну, и... заниматься. Тут так тихо.

— Вы, наверное, много читаете?

— Когда преподаешь, это необходимо.

— Но вы...

— Разумеется, я люблю читать. А вы?

— Обожаю.

Мистер Люишем был рад, что она любит читать. Он был бы разочарован, если бы она ответила иначе. И говорила она с неподдельным жаром. Она обожает читать! Это было приятно. Значит, она сумеет хоть немного его понять.

— Конечно,— продолжала она,— я не так умна, как некоторые, и читать мне приходится без разбора, что удается достать.

— Как и мне,— подхватил мистер Люишем.— Между прочим... вы читали... Карлейля?

Теперь беседа текла совсем свободно. Они шли рядом, а над головой у них деревья качали ветвями. Мистер Люишем был в полном восторге, который омрачало только опасение перед случайной встречей с кем-нибудь из учеников. Нет, она не особенно много читала Карлейля. Ей всегда хотелось его почитать, еще с детства, она столько о нем слышала. Она знала, что это по-настоящему великий писатель, великий из великих. Все, что она читала из его сочинений, ей понравилось. Это она может сказать. Больше, чем что-либо. И она видела в Челси дом Карлейля.

На Люишема, который знал Лондон лишь по шести-семи однодневным экскурсиям, ее последние слова произвели большое впечатление. Она становилась в его глазах чуть ли не близким другом великого писателя. Ему никогда с такой отчетливостью и в голову не приходило, что люди знаменитые тоже обитают под каким-то кровом. Несколькими штрихами она так обрисовала этот дом, что он сразу представил его себе. Она живет совсем близко, в Клэпхеме, оттуда до Челси можно дойти пешком. И он, желая побольше узнать о ее жизни дома, тотчас позабыл о мелькнувшем было намерении одолжить ей «Сартор Резартус»[1].

---

[1] «Сартор Резартус» — философский роман Т. Карлейля (1833—1834).

— Клэпхем, это ведь почти в Лондоне? — спросил он.

— О да! — ответила она, но не проявила желания рассказывать ему о своем доме подробнее.— Мне нравится Лондон,— перешла она к общей теме,— особенно зимой.— И принялась расхваливать Лондон, его публичные библиотеки, его магазины, толпы людей на улицах, возможность делать «что кому хочется», ходить в концерты, посещать театры. (По-видимому, она вращалась в довольно хорошем обществе.) — Всегда есть что посмотреть, даже если вы вышли всего лишь на прогулку,— сказала она,— а здесь и читать нечего, кроме пустых романов. Да и те не из новых.

Мистер Люишем с грустью должен был признать справедливость ее слов о культурном запустении в Хортли. Это ставило его гораздо ниже ее. Что он мог противопоставить ей? Только свою начитанность да свои аттестаты — а ведь она видела дом Карлейля!

— Здесь,— добавила она,— и поговорить не о чем. Здесь только сплетничают.

Увы, это было справедливо.

На углу, возле изгороди, позади которой на фоне голубого неба красовались увешанные серебряными сережками и усыпанные золотистой пыльцой ивы, они, как бы повинуясь единому желанию, повернули и пошли обратно.

— Здесь просто не с кем разговаривать,— сказала она.— Во всяком случае, в том смысле, что я называю разговором.

— Надеюсь,— решился на отчаянный шаг Люишем,— что пока вы в Хортли...

Он вдруг запнулся, и она, проследив за его взглядом, увидела, что навстречу им движется какая-то внушительных размеров фигура в черном.

— ...мы,— закончил начатую фразу мистер Люишем,— еще раз, быть может, сумеем встретиться.

Ведь он был уже готов договориться с ней о свидании. Он думал о живописных спутанных тропинках на берегу реки. Но появление мистера Джорджа Бонове ра, директора Хортлийской частной школы, поразительным образом охладило его пыл. Встречу нашей юной пары устроила, несомненно, сама природа, но, допустив к ним Боповера, она явила непростительное легкомыслие.

И вот теперь, в ответственный миг, она скрылась, оставив мистера Люишема при самых неблагоприятных обстоятельствах, лицом к лицу с типичным представителем той общественной организации, которая решительно возражает inter alia[1] против того, чтобы молодой неженатый младший учитель заводил случайные знакомства.

— ...еще раз, быть может, сумеем встретиться,— произнес мистер Люишем, упав духом.

— Я тоже надеюсь,— ответила она.

Молчание. Теперь совсем отчетливо видны были черты лица мистера Боновера и особенно его черные кустистые брови; они были высоко подняты, что, вероятно, должно было выражать вежливое удивление.

— Это мистер Боновер? — спросила она.

— Да.

И снова долгое молчание.

Интересно, остановится ли Боновер, чтобы заговорить с ними? Во всяком случае, этому ужасному молчанию следует положить конец. Мистер Люишем мучительно искал в уме какую-нибудь фразу, какой можно было бы с достоинством встретить приближение начальства. Но, к его изумлению, ничего подходящего не находилось. Он сделал еще одно отчаянное усилие. За разговором они могли бы со стороны выглядеть весьма непринужденно. Молчание же — красноречивое свидетельство вины.

— Чудесный день нынче, правда? — спросил мистер Люишем.

— В самом деле,— согласилась она.

И в эту минуту мимо прошел мистер Боновер; лоб его, если можно так сказать, весь уполз куда-то вверх, а губы были выразительно поджаты. Мистер Люишем приподнял свою квадратную шапочку, и, к его удивлению, мистер Боновер ответил ему подчеркнуто низким поклоном — его шляпа описала полукруг,— бросил испытующе-недоброжелательный взгляд и прошествовал дальше. Люишема до глубины души поразило подобное преображение обычно небрежного кивка директора. Так до поры до времени завершился этот ужасный инцидент.

На мгновение Люишема охватил гнев. С какой стати вообще-то Боновер или кто-нибудь другой будет

[1] Среди прочего (*лат.*).

вмешиваться в его жизнь? Он вправе разговаривать с кем хочет. Быть может, их представили друг другу по всем правилам — Боноверу-то об этом неизвестно. Скажем, например, их мог познакомить юный Фробишер. Тем не менее от радостного настроения Люишема не осталось и следа. Весь остаток разговора он вел себя удивительно глупо, и восхитительное ощущение смелости, которое до сих пор вдохновляло и изумляло его во время беседы с ней, теперь позорно увяло. Он был рад, определенно рад, когда все окончилось.

У ворот парка она протянула ему руку.

— Боюсь, я помешала вашему чтению,— сказала она.

— Ничуть,— отозвался, немного покраснев, мистер Люишем.— Не припомню случая, когда беседа доставляла бы мне такое удовольствие...

— Я заговорила с вами сама, боюсь, это было... нарушением этикета, но мне, право, так хотелось поблагодарить вас...

— Не стоит говорить об этом,— сказал мистер Люишем, в душе потрясенный «этикетом».

— До свиданья.

Он в нерешительности постоял у сторожки привратника, потом снова вернулся на аллею, чтобы его не видели идущим за ней следом по Вест-стрит.

И в этот момент, идя в противоположном от нее направлении, он вспомнил, что не одолжил ей книгу, как хотел, и не успел договориться о новой встрече. Ведь она может в любой день покинуть Хортли, дабы возвратиться в свой прекрасный Клэпхем. Он остановился в нерешительности. Бежать ли за ней? Но тут перед его мысленным взором возникло лицо Бонавера с его загадочным выражением. Он решил, что попытка догнать ее окажется слишком заметной. И все же... Минуты шли, а он никак не мог решиться.

Когда он наконец вернулся домой, миссис Манди уже доедала свой обед.

— Всё ваши книги,— сказала миссис Манди, которая по-матерински опекала его.— Читаете, читаете, и время-то некогда приметить. А теперь вам придется есть остывший обед, он и в желудке-то у вас не успеет как следует уложиться до ухода в школу. Этак и пищеварение недолго испортить.

— Не беспокойтесь о моем пищеварении, миссис Манди,— отозвался мистер Люишем, отрываясь от своих сложных и, по всей вероятности, мрачных размышлений.— Это — мое личное дело.

Так резко он прежде никогда не говорил.

— Лучше иметь хороший, исправно действующий желудок, чем голову, полную премудростей,— заметила миссис Манди.

— А я, как видите, думаю по-другому,— отрезал мистер Люишем и снова впал в мрачное молчание.

— Скажите, пожалуйста!— пробормотала себе под нос миссис Манди.

ГЛАВА V

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

Мистер Боновер, выждав должное время, заговорил о случившемся только днем, когда Люишем присматривал за игравшими в крикет воспитанниками. Для начала он сделал несколько замечаний о перспективах их школьной команды, и Люишем согласился с ним, что Фробишер-первый в нынешнем сезоне как будто подает неплохие надежды.

Последовало молчание, во время которого директор что-то мурлыкал себе под нос.

— Кстати,— не сводя глаз с играющих, заметил он, словно продолжая беседу,— насколько мне известно, у вас здесь в Хортли знакомых не было?

— Да,— ответил Люишем,— совершенно верно.

— Уже подружились с кем-нибудь?

На Люишема вдруг напал кашель, а его уши — о, эти проклятые уши! — запылали.

— Да,— ответил он, стараясь овладеть собой.— О да. Да. Подружился.

— Наверное, с кем-нибудь из местных жителей?

— Нет. Не совсем.

Теперь у Люишема пылали не только уши, но и щеки.

— Я видел вас на аллее,— сказал Боновер,— за беседой с молодой леди. Ее лицо показалось мне знакомым. Кто она?

Ответить ли, что она знакомая Фробишеров? А вдруг Боновер с его предательской любезностью расскажет об этом Фробишерам-родителям и у нее будут неприятности?

— Это,— невнятно начал Люишем, густо краснея от такого насилия над честностью и понижая голос,— это... старая приятельница моей матери. Я познакомился с нею когда-то в Солсбери.

— Где?

— В Солсбери.

— А как ее фамилия?

— Смит,— опрометчиво выпалил Люишем, и не успела ложь сорваться с его уст, как он уже раскаялся.

— Хороший удар, Гаррис! — крикнул Боновер и захлопал в ладоши.— Отличный удар, сэр.

— Гаррис подает неплохие надежды,— заметил мистер Люишем.

— Очень неплохие,— подтвердил мистер Боновер.— О чем мы говорили? А-а, странные совпадения случаются на свете, хотел я сказать. У Фробишеров, здесь же, в нашем городе, гостит некая мисс Хендерсон... не то Хенсон... Она удивительно похожа на вашу мисс...

— Смит,— подсказал Люишем, встречая взор директора и заливаясь еще более ярким румянцем.

— Странно,— повторил Боновер, задумчиво его разглядывая.

— Очень странно,— пробормотал Люишем, отводя глаза и проклиная собственную глупость.

— Очень, очень странно,— еще раз сказал Боновер.— По правде говоря,— добавил он, направляясь к школе,— я никак не ожидал от вас этого, мистер Люишем.

— Чего не ожидали, сэр?

Но мистер Боновер сделал вид, что не расслышал этих слов.

— Черт побери!—сказал Люишем.— О проклятье!— выражение, несомненно, предосудительное и в те дни весьма редкое в его лексиконе.

Он хотел бы догнать директора и спросить: уж не подвергает ли тот сомнению его слова? В ответе, впрочем, вряд ли приходилось сомневаться.

Минуту он постоял в нерешительности, потом повернулся на каблуках и зашагал домой. Каждый мускул

у него дрожал, а лицо непрерывно подергивалось от злости. Он больше не испытывал смятения, он негодовал.

— Будь он проклят! — возмущался мистер Люишем, обсуждая этот случай со стенами своей комнаты.— Какого дьявола он лезет не в свои дела?

— Занимайтесь своими делами, сэр! — кричал мистер Люишем умывальнику.— Черт бы побрал вас, сэр, занимайтесь своими делами!

Умывальник так и поступал.

— Вы превышаете свою власть, сэр! — чуть успокоившись, продолжал мистер Люишем.— Поймите меня! Вне школы я сам себе хозяин.

Тем не менее в течение четырех дней и нескольких часов после разговора с мистером Боновером мистер Люишем столь свято следовал полувысказанным предначертаниям начальства, что совсем забросил занятия на открытом воздухе и даже боролся, правда, с убывающим успехом, за соблюдение не только буквы, но и духа своего расписания. Однако большей частью он занимался тем, что досадовал на количество скопившихся дел, выполнял их небрежно, а то и просто сидел, глядя в окно. Голос благоразумия подсказывал ему, что новая встреча и новая беседа с девушкой повлекут за собой новые замечания и неприятности, помешают подготовке к экзаменам, явятся нарушением «дисциплины», и он не сомневался в справедливости такого взгляда. Чепуха— вся эта любовь; она существует только в плохих романах. Но тут мысль его устремлялась к ее глазам, осененным полями шляпы, и обратно эту мысль водворить можно было только силой. В четверг, по дороге из школы, он издалека увидел ее и, чтобы избежать встречи, поспешил войти в дом, демонстративно глядя в противоположную сторону. Однако этот поступок был поворотной точкой. Ему стало стыдно. В пятницу вера в любовь ожила и укрепилась, а сердце было полно раскаяния и сожаления об этих потерянных днях.

В субботу мысль о ней настолько овладела им, что он был рассеянным даже на своем излюбленном уроке алгебры; к концу занятий решение было принято, а благоразумие очертя голову обратилось в бегство. После обеда, что бы ни случилось, он пойдет на аллею, увидит

девушку и снова поговорит с ней. Мысль о Боновере возникла, но тотчас же была изгнана. И, кроме того...

После обеда Боновер обычно отдыхает. Да, он пойдет, отыщет ее и будет говорить с ней. И ничто его не остановит.

Как только решение было принято, воображение заработало с удвоенной энергией, подсказывая ему нужные фразы, соответствующие позы, рисуя множество смутных и прекрасных видений. Он скажет это, он скажет то, ни о чем, кроме своей необыкновенной роли влюбленного, он и думать не мог. Какой он трус, зачем так долго прятался от нее! О чем он только думал? Как он объяснит ей свое поведение при встрече? А что, если высказать все начистоту?

Он принялся размышлять о том, насколько он может быть с нею откровенен. Поверит ли она, если он постарается ее убедить, что в четверг действительно ее не видел?

И вдруг — о ужас! — в самый разгар этих мечтаний явился Боновер и попросил его подежурить после обеда вместо Данкерли на площадке для крикета. Данкерли был старшим учителем в школе, единственным коллегой Люишема. В обращении Боновера не осталось и следа осуждения, его просьба к подчиненному была своего рода оливковой ветвью. Но для Люишема это было жестоким наказанием. Роковую минуту он колебался, почти готовый согласиться. Ему предстало мгновенное видение долгого послеобеденного дежурства, а тем временем она, быть может, уже укладывает вещи перед отъездом в Клэпхем. Он побледнел. Мистер Боновер зорко следил за выражением его лица.

— Нет,— резко сказал Люишем, вкладывая в это слово всю свою решительность и тотчас же начиная неумело подыскивать предлог для отказа.— Мне очень жаль, что я не смогу исполнить вашей просьбы, но... я договорился... Я уже условился сегодня на после обеда.

Это была явная ложь. Брови мистера Боновера полезли вверх, а от его обходительности и следа не осталось.

— Дело в том,— сказал он,— что миссис Боновер ждет нынче гостя, и мы бы хотели, чтобы мистер Данкерли составил нам партию в крокет...

— Мне, право, очень жаль,— повторил все еще настроенный решительно мистер Люишем, тотчас отметив про себя, что Боновер будет занят крокетом.

— Вы случайно не играете в крокет? — спросил Боновер.

— Нет,— ответил Люишем,— не имею о нем ни малейшего представления.

— А если бы мистер Данкерли сам попросил вас? — настаивал Боновер, зная, с каким уважением Люишем относится к правилам этикета.

— О, дело вовсе не в этом,— ответил Люишем, и Боновер с оскорбленным видом и удивленно поднятыми бровями удалился, а он продолжал стоять бледный, неподвижный, пораженный собственной отвагой.

ГЛАВА VI

СКАНДАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА

Как только уроки окончились, Люишем освободил из заключения провинившихся учеников и поспешил домой провести оставшееся до обеда время, но как? Быть может, и не совсем справедливо по отношению к нему рассказывать об этом, возможно, романисту-мужчине не пристало разглашать тайны своего же пола, но, как утверждала надпись на стене у ромбовидного окна: «Magna est veritas et prevalebit»[1]. Мистер Люишем тщательно пригладил щеткой волосы, а потом живописно их взбил; перепробовал все галстуки, остановив выбор на белом; старым носовым платком почистил ботинки, переодел брюки, потому что манжеты на его будничной паре порядком пообтрепались, и подкрасил чернилами локти сюртука в тех местах, где швы побелели. А если уж быть совсем откровенным, он долго с разных сторон изучал в зеркале свое юношеское лицо, придя в конечном счете к заключению, что нос его мог бы с успехом быть немного поменьше...

Тотчас же после обеда он вышел из дому и кратчайшим путем направился к аллее, уговаривая себя, что ему нет дела, даже если он встретит по дороге самого Боно-

---

[1] Истина велика и восторжествует (*лат.*).

вера. Намерения его были весьма неопределенны, совершенно ясно было одно: он хочет увидеть девушку, с которой уже встречался в этой аллее. Он знал, что увидит ее. Что же касается препятствий, то мысль о них лишь подбадривала его и даже доставляла удовольствие. По каменным ступенькам он поднялся к тому месту, откуда был виден дом Фробишеров, откуда он смотрел однажды на окно их спальни. И, скрестив руки, уселся там, на виду у всех обитателей дома.

Было без десяти два. Без двадцати три он все еще сидел на месте, но руки его уже были глубоко в карманах, взгляд хмурый, а нога нетерпеливо постукивала по каменной ступеньке перелаза. Ненужные ему очки лежали в кармане жилета, где они, впрочем, покоились весь этот день, а шапочка была чуть сдвинута на затылок, открывая прядь волос. За это время по аллее за его спиной прошли два-три человека, но он притворился, будто не видит их, и только пара птичек-завирушек, преследовавших друг друга в залитой солнцем вышине, да волнуемое ветром поле служили ему развлечением. Странно, конечно, но по мере того, как время шло, он стал на нее сердиться. Лицо его потемнело.

За спиной у него послышались шаги. Он не оглянулся — его раздражала мысль, что прохожие видят, как он сидит и ждет. Его некогда всесильное, ныне ниспровергнутое благоразумие продолжало глухо роптать, упрекая за эту затею. Шаги на дорожке замерли совсем рядом.

— Нечего глазеть! — стиснув зубы, приказал себе Люишем. И тут до его слуха донесся какой-то загадочный шум: ветки живой изгороди громко зашелестели, зашуршала старая листва. Кто-то словно бы топтался в кустах.

Любопытство подкралось к Люишему и после недолгой борьбы овладело им окончательно. Он оглянулся и увидел ее. Она стояла к нему спиной по ту сторону изгороди и старалась дотянуться до самой верхней цветущей ветки колючего терна. Какая счастливая случайность! Она его не видела!

В то же мгновение ноги Люишема перелетели через перелаз. Он спустился по ступенькам с такой стремительностью, что с разбегу угодил в колючий кустарник.

— Позвольте мне,— сказал он, слишком взволнованный, чтобы заметить, что его появление ее совсем не удивляет.

— Мистер Люишем! — воскликнула она с притворным изумлением и отступила в сторону, чтобы дать ему возможность сорвать цветок.

— Какую веточку вы хотите? — вскричал он, не помня себя от радости.— Самую белую? Самую большую? Любую!

— Вот эту,— наугад показала она,— с черным шипом.

Белоснежным облаком казались цветы на фоне апрельского неба, и Люишем, потянувшись за ними — достать их было не так-то легко,— со странным чувством удовлетворения увидел у себя на руке длинную царапину, сначала белую, а потом налившуюся красным.

— Там, на аллее,— сказал он, торжествующий и запыхавшийся,— есть терн... Этот с ним и сравниться не может.

Она засмеялась — он стоял перед ней, раскрасневшийся, ликующий,— и посмотрела на него с нескрываемым одобрением. В церкви, на хорах, он снизу тоже казался недурен, но это было совсем другое.

— Покажите, где,— сказала она, хотя знала, что на милю в округе не найти другого куста терна.

— Я знал, что увижу вас,— проговорил он вместо ответа.— Я был уверен, что увижу вас сегодня.

— Это была почти последняя возможность,— так же искренне призналась она.— В понедельник я уезжаю домой, в Лондон.

— Я так и знал! — торжествующе воскликнул он.— В Клэпхем? — спросил он.

— Да. Я получила место. Знаете, ведь я умею стенографировать и писать на машинке. Я только что окончила Грогрэмскую школу. И вот нашелся старый джентльмен, которому нужен личный секретарь, умеющий писать под диктовку.

— Значит, вы знаете стенографию? — спросил он.— Вот почему у вас было стилографическое перо. Эти строки написаны... Они до сих пор у меня.

Приподняв брови, она улыбнулась.

— Здесь,— добавил мистер Люишем, указывая рукой на свой нагрудный карман.— Эта аллея...— продолжал он; их разговор был удивительно несвязным...— Дальше по этой аллее, за холмом внизу есть калитка, которая идет... Я хотел сказать, от которой идет тропинка по берегу реки. Вы были там?

— Нет,— ответила она.

— Во всем Хортли нет лучше места для прогулки. А тропинка выводит к Иммерингу. Вы должны побывать там... до вашего отъезда.

— Сейчас? — спросила она, и в глазах ее запрыгали огоньки.

— А почему бы и нет?

— Я сказала миссис Фробишер, что к четырем буду дома,— ответила она.

— Такую прогулку жаль упускать.

— Хорошо, пойдемте,— согласилась она.

— На деревьях уже распускаются почки,— принялся рассказывать мистер Люишем,— камыш дал свежие побеги, и вдоль всего берега на воде плавают миллионы маленьких белых цветов. Я не знаю, как они называются, но уж очень они хороши... Разрешите, я понесу вашу веточку?

Когда он брал ветку, руки их на мгновение соприкоснулись... И опять наступило многозначительное молчание.

— Взгляните на эти облака,— снова заговорил Люишем, припоминая то, что собирался сказать, и помахивая пышно-белой веткой терна.— На голубое небо между ними.

— Восхитительно! Погода все время чудесная, но такого дня еще не было. Мой последний день. Самый последний день.

В таком возбужденном состоянии юная пара отправилась дальше, к неописуемому изумлению миссис Фробишер, которая смотрела на них из окна мансарды,— а они шагали так, словно все великолепие сияющего мира существовало только для их удовольствия. Все, что они говорили друг другу в тот день на берегу реки: что весна прекрасна, молодые листочки изумительны, чешуйчатые почки удивительны, а облака ослепительны в сво-

ем величии,— казалось им в высшей степени оригинальным. И как простодушно были они поражены тем, что их обоих одинаково восхищают все эти откровения! Уж конечно, не случайно, казалось им, встретились они друг с другом.

Они шли по тропинке, что бежит между деревьев по берегу реки, и не успели пройти и трехсот ярдов, как спутница Люишема вдруг пожелала перебраться на нижнюю дорожку, у самой воды, по которой тянут лодки на бечеве. Люишему пришлось подыскать удобное для спуска место, где дерево по-дружески протягивало свои корни; и, держась за них, как за перила, она спустилась вниз, подав ему руку.

Потом водяная крыса, полоскавшая свою мордочку, предоставила им новый случай взяться за руки, доверчиво пошептаться и вместе помолчать, после чего Люишем попытался, можно сказать, с опасностью для жизни, сорвать для нее речной цветок и, сделав это, набрал полный ботинок воды. А у ворот подле черного и блестящего шлюза, где тропинка уходит в сторону от реки, спутница поразила его неожиданным подвигом, весело взобравшись с его помощью на верхнюю перекладину и спрыгнув вниз — легкая, грациозная фигурка.

Они смело пошли через луг, пестревший цветами, и по ее просьбе он загородил ее собою от трех благодушных коров, чувствуя себя при этом Персеем, вступившим в единоборство с морским чудовищем. Они миновали мельницу и по крутой тропинке вышли на Иммеринг. Здесь на лугу Люишем повел разговор о ее работе.

— Вы в самом деле уезжаете отсюда, чтобы стать секретаршей? — спросил он, и она принялась увлеченно рассказывать ему о себе.

Они обсуждали этот вопрос, пользуясь сравнительным методом, и не заметили, как скрылось солнце, пока их не захватили врасплох первые капли начавшегося ливня.

— Смотрите-ка! — показал он.— Вон сарай!

И они побежали.

Она бежала и смеялась, но бег ее был быстрым и легким. Он подсадил ее через изгородь, отцепил колючки с подола ее юбки, и они очутились в маленьком темном сарае, где хранилась огромная ржавая борона. Да-

же пробежав такое расстояние, заметил он, она не задохнулась.

Она присела на борону и, помедлив в нерешительности, сказала:

— Мне придется снять шляпу, не то она испортится от дождя.

И он смог любоваться тем, как непринужденно рассыпались ее локоны — впрочем, ему и так не приходило в голову сомневаться в их подлинности. Она склонилась над своей шляпой, изящными движениями стирая носовым платком серебряные капли воды. Он стоял у входа в сарай и сквозь мягкую дымку апрельского ливня любовался пейзажем.

— На этой бороне и вам найдется место,— сказала она.

Он пробормотал какие-то невнятные слова, потом подошел и сел рядом с ней, так близко, что едва не касался ее. Он ощутил фантастическое желание обнять ее и поцеловать, и только усилием воли ему удалось его подавить.

— Я даже не знаю вашей фамилии,— сказал он, пытаясь в разговоре найти спасение от одолевавших его мыслей.

— Хендерсон,— ответила она.

— Мисс Хендерсон?

Глядя на него, она улыбнулась и, чуть помедлив, ответила:

— Да. Мисс Хендерсон.

Ее глаза, обаяние, исходившее от нее, были удивительны. Никогда прежде не испытывал он такого ощущения — странного смятения, в котором словно бы таился где-то слабый отзвук слез. Ему хотелось спросить, как ее зовут. Хотелось назвать ее «дорогая» и посмотреть, что она ответит. Вместо этого он пустился в бессвязное описание своего разговора с Боновером, когда он солгал насчет нее, назвав ее мисс Смит, и таким образом ему удалось преодолеть этот необъяснимый душевный кризис...

Замер шелест дождя, и лучи солнца вновь заиграли в далеких рощах за Иммерингом. Они опять молчали, и молчание это было чревато для мистера Люишема опасными мыслями. Он вдруг поднял руку и положил ее на раму бороны, почти касаясь плеч девушки.

— Пойдемте,— внезапно сказала она.— Дождь перестал.

— Эта тропка ведет прямо к Иммерингу,— заметил мистер Люишем.

— Но ведь в четыре...

Он достал часы, и брови его удивленно поднялись. Было почти четверть пятого.

— Уже больше четырех? — спросила она, и вдруг они почувствовали, что им вот-вот предстоит расстаться. То, что Люишем обязан был в половине шестого приступить к «дежурству», казалось ему обстоятельством крайне незначительным.

— Да,— ответил он, только сейчас начиная понимать, что означает разлука.— Но обязательно ли вам уходить? Мне... мне нужно поговорить с вами.

— А разве мы не говорили все это время?

— Это не то. Кроме того... Нет.

Она стояла, глядя на него.

— Я обещала быть дома к четырем,— сказала она.— Миссис Фробишер пьет чай...

— Но, может быть, нам никогда больше не доведется встретиться.

— Да?..

Люишем побледнел.

— Не уходите,— нарушая напряженное молчание, с неожиданной силой в голосе взмолился он.— Не уходите. Побудьте со мной еще немного... Вы... вы можете сказать, что заблудились.

— Вы, наверное, думаете,— возразила она с принужденным смешком,— что я могу не есть и не пить целый день?

— Мне хотелось поговорить с вами. С первого раза, как я увидел вас... Сначала я не осмеливался... Не надеялся, что вы позволите... А теперь, когда я так... счастлив, вы уходите.

Он вдруг замолчал. Ее глаза были опущены.

— Нет,— сказала она, выводя кривую носком своей туфли.— Нет. Я не ухожу.

Люишем едва удержался от радостного возгласа.

— Идемте в Иммеринг! — воскликнул он, и, когда они пошли узенькой тропкой по мокрой траве, он принялся с простодушной откровенностью объяснять ей, как ему

дорого ее общество.— Я не променял бы этой возможности,— сказал он, оглядываясь в поисках предмета, который можно было бы принести в жертву,— ни на что на свете... Я не пойду на дежурство. Мне все равно. Мне все равно, чем это кончится, раз мы сегодня можем быть вместе.

— Мне тоже,— сказала она.

— Спасибо вам за то, что вы пошли со мной! — воскликнул он в порыве благодарности.— О, спасибо, что вы пошли! — И он протянул ей руку. Она взяла ее и пожала, и так шли они рука об руку, пока не дошли до деревни. Смелое решение пренебречь своими обязанностями — чем бы это потом ни грозило — удивительным образом сблизило их.—Я не могу называть вас мисс Хендерсон,— сказал он.— Не могу, вы же знаете. Вы знаете... Скажите мне, как вас зовут.

— Этель.

— Этель,— сказал он и, набравшись храбрости, взглянул на нее.— Этель,— повторил он.— Какое красивое имя! Но ни одно имя недостаточно красиво для вас, Этель... дорогая.

Маленькая лавочка в Иммеринге располагалась позади палисадника, засаженного желтофиолями. Ее владелица, веселая толстушка, решила, что они брат с сестрой, и непременно хотела называть их обоих «дорогушами». Не встретив противоречия ни в том, ни в другом, она напоила их изумительно вкусным и удивительно дешевым чаем. Люишему не совсем пришлось по душе это второе качество, ибо оно, казалось, немного умаляло проявленную им смелость. Но чай, хлеб с маслом и черничное варенье были бесподобны. На столе в кувшине тоже стояли пахучие желтофиоли. Этель вслух восхищалась ими, и, когда они уходили, старушка хозяйка заставила ее принять в подарок целый букет.

Скандальной, собственно говоря, эта прогулка стала после того, как они покинули Иммеринг. Солнце, которое уже золотым шаром висело над синими холмами запада, превратило наших молодых людей в две пылающие фигурки, но вместо того чтобы пойти домой, они направились по Вентуортской дороге, что уходит в рощи Форшоу. А за их спиной над верхушками деревьев белым

призрачным пятном проступила в синем небе почти полная луна, постепенно впитывая в себя весь тот свет, который испускало заходящее солнце.

Выйдя из Иммеринга, они заговорили о будущем. А для совсем юных влюбленных не существует иного будущего, кроме ближайшего.

— Вы должны писать мне,— сказал он. Она ответила, что у нее получаются очень глупые письма.— А я буду исписывать целые стопы бумаги в письмах к вам,— пообещал он.

— Но как же вы будете мне писать? — спросила она, и они обсудили новое препятствие. Домой ей писать нельзя, ни в коем случае. В этом она совершенно уверена.— Моя мать...— начала было она и замолчала.

Это запрещение глубоко уязвило его, ибо в то время его особенно одолевала страсть к писанию писем. Что ж, этого следовало ожидать. Весь мир неблагосклонен, даже жесток к ним... «Блестящая изоляция» à deux [1].

А не удастся ли ей подыскать место, куда можно будет посылать письма? Нет, так поступать нельзя: это обман.

Так гуляла эта молодая пара, счастливая обретенной любовью, но исполненная такой юношеской стыдливости, что слово «любовь» в тот день ни разу не сорвалось с их уст. И, однако, по мере продолжения разговора, во время которого ласковые сумерки все больше и больше сгущались вокруг, их речь и сердца совсем сблизились. Тем не менее речи их, записанные хладнокровной рукой, выглядели бы столь убого, что я не берусь привести их здесь. Им же они вовсе не казались убогими.

Когда они по большой дороге возвращались в Хортли, молчаливые деревья были уже совсем черными, ее лицо в лунном свете — бледным и удивительно прекрасным, а глаза сияли, словно звезды. Веточка терна еще была у нее в руках, но цветы почти все облетели. Желтофиоли же по-прежнему издавали пряный запах. А издали, приглушенная расстоянием, доносилась медленная, грустная мелодия — на площадке перед домом священника первый раз в сезоне играл городской оркестр. Не знаю, по-

---

[1] Вдвоем *(франц.)*.

мнит ли читатель эту песенку, весьма популярную в начале восьмидесятых годов прошлого века:

Страна волшебных грез! Былые дни
Хоть на мгновенье памяти верни (пам-пам)[1] —

и в памяти вдруг воскресают былые, далекие дни...

Такой там был припев, звучавший протяжно и трогательно под аккомпанемент «пам-пам». Что-то жалостное, даже безнадежное слышалось в этом бодром «пам-пам», сопровождавшем заунывно-однообразный, похоронный напев. Но юность все воспринимает по-иному.

— Я обожаю музыку,— сказала она.

— Я тоже,— признался он.

Подымаясь по крутой Вест-стрит, они миновали металлическое и жесткое буйство звуков и вошли в полосу света от неярких желтых фонарей. Несколько человек заметили их и подивились, до чего нынче доходит молодежь, а один очевидец впоследствии даже назвал их поведение «бесстыдным». Мистер Люишем был в своей квадратной шапочке — не узнать его было нельзя. Проходя мимо школы, они увидели в раме окна за стеклом тусклый портрет мистера Боновера, который дежурил вместо своего сбившегося с истинного пути младшего учителя. У дома Фробишеров им волей-неволей пришлось расстаться.

— Прощайте,— сказал он в третий раз.— Прощайте, Этель.

Она медлила в нерешительности. Потом вдруг шагнула к нему. Он почувствовал ее руки на своих плечах, ее мягкие и теплые губы на своей щеке, и не успел он обнять ее, как она, скользнув, скрылась в тени дома.

— Прощайте,— донесся из мрака ее мелодичный, ласковый голос, и, пока он приходил в себя, дверь отворилась.

Он увидел ее черную фигурку в дверном проеме, услыхал какие-то слова, затем дверь затворилась, и он остался один на залитой лунным светом улице. Щека его все еще горела от прикосновения ее губ...

Так закончился первый день любви мистера Люишема.

---

[1] Перевод В. Микушевича.

ГЛАВА VII

РАСПЛАТА

А после дня любви наступили дни расплаты. Мистер Люишем был удивлен, даже ошеломлен тем счетом, что спокойно, но сурово был ему предъявлен. Восхитительные чувства, которые ему суждено было испытать в субботу, не покидали его и в воскресенье, и он даже помирился со своей «Программой», уговорив себя, что теперь Она будет его вдохновением и что ради Нее он станет работать в тысячу раз лучше, чем работал бы ради себя. Это, разумеется, не совсем соответствовало истине, ибо он заметил, что его перестало интересовать даже богословское исследование батлеровской «Аналогии». Ни на утренней, ни на вечерней службе Фробишеров в церкви не было. «Почему?» — лихорадочно думал он.

Понедельник выдался холодный и ясный — своего рода Герберт Спенсер[1] в ряду других дней,— и мистер Люишем отправился в школу, настойчиво убеждая себя, что опасаться ему нечего. Ученики, не живущие при школе, все утро о чем-то перешептывались — очевидно, о нем,— и Фробишер-второй был в центре внимания. Люишем услышал отрывок фразы.

— Мать пришла в бешенство,— говорил Фробишер-второй.

Разговор с Боновером состоялся в двенадцать, причем звуки гневной перепалки доносились до старшего учителя Данкерли даже сквозь затворенную дверь кабинета. А затем через учительскую, глядя прямо перед собой, с пылающими щеками прошел Люишем.

Поэтому Данкерли был уже внутренне подготовлен к той новости, какую ему довелось услышать на следующее утро во время проверки тетрадей.

— Когда? — спросил Данкерли.

— В конце следующего семестра,— ответил Люишем.

— Это из-за той девушки, что гостила у Фробишеров?

— Да.

— Она очень недурна. Однако это помешает в июне вашему зачислению в университет,— сказал Данкерли.

---

[1] Спенсер, Герберт (1820—1903) — английский ученый, философ, психолог и социолог, человек трезвого аналитического ума.

— Именно об этом я и жалею.

— Вряд ли можно ожидать, что он даст вам отпуск для сдачи экзаменов...

— Не даст,— отрезал Люишем и открыл первую тетрадь.

Ему трудно было говорить.

— Негодяй! — сказал Данкерли.— Но что вообще можно ожидать от даремца?

Поскольку Боновер был обладателем диплома только Даремского университета, то Данкерли, не имевший вообще никакого, склонен был относиться к директору скептически. Затем Данкерли принялся с сочувственно-деловым видом шуршать своими тетрадями. И только когда от целой кипы осталось две-три штуки, он искусно возобновил прерванный разговор.

— Господь сотворил мужчину и женщину,— сказал Данкерли, пробегая взглядом страницу и подчеркивая ошибки,— что (чик-чик) тяжким бременем (чик-чик) легло на учителей.

Он резко захлопнул тетрадь и бросил ее на пол за своим стулом.

— Вы счастливчик,—объявил он.—А я-то думал, что первым выберусь из этой отвратительной дыры. Вы счастливчик. Здесь все время нужно притворяться. На каждом углу натыкаешься на родителей или на опекунов. Вот почему я ненавижу жизнь в провинции. Она чертовски противоестественна. Придется и мне всерьез подумать о том, как бы выбраться отсюда поскорее. Я выберусь, будьте спокойны!

— И пустите в ход свои патенты?

— Обязательно, мой мальчик. Пущу в ход свои патенты. Патентованная бутылка с квадратной пробкой! О боже! Дайте мне только очутиться в Лондоне...

— Я тоже, наверное, попытаю удачи в Лондоне,— сказал Люишем.

И тогда многоопытный Данкерли, добрейший из людей, позабыв о собственных честолюбивых замыслах — он лелеял мечту получить патенты на удивительные изобретения,— принялся размышлять о возможностях для своего молодого коллеги. Он начал с того, что дал ему список агентств, этих незаменимых помощников молодого учителя — Ореллана, Габбитас, Ланкастер-

Гейт. Все они были ему отлично известны, он ведь восемь лет проболтался в положении «начинающего».

— Конечно, быть может, дело с Кенсингтоном и выгорит,— рассуждал Данкерли,— но лучше не ждать. Скажу вам откровенно: шансов у вас мало.

«Кенсингтонским делом» он называл заявление с просьбой о приеме, которое Люишем однажды в минуту надежды послал в Южно-Кенсингтонскую Нормальную школу естественных наук. Поскольку в Англии ощущается недостаток в квалифицированных учителях, Южно-Кенсингтонский факультет Наук и Искусства имеет обыкновение предоставлять возможность бесплатного обучения в своем самом большом центральном колледже да еще стипендию — гинею в неделю — лучшим молодым педагогам, которые берут на себя обязательство после окончания курса заняться преподаванием естественных наук. Данкерли уже несколько лет подряд слал туда заявления — и все напрасно, и Люишем не видел ничего предосудительного в том, чтобы последовать его примеру и тоже попытать удачи. К тому же у Данкерли не было таких голубовато-зеленых аттестатов с отличием, как у него.

На следующий день все оставшееся после «дежурства» время Люишем использовал на составление письма, которое нужно было размножить в нескольких экземплярах и разослать в различные агентства по найму учителей. В письме он коротко и выразительно излагал свою биографию, но зато был весьма многословен в описании собственной организованности и методов преподавания. В конце прилагался длинный и цветистый перечень всех его аттестатов и наград, начиная с полученного в восьмилетнем возрасте похвального листа за примерное поведение. Для переписки всех этих документов потребовалось немало времени, но Надежда окрыляла его. После длительного размышления над своим расписанием он выделил днем один час для «корреспонденции».

Он обнаружил, что несколько отстал в своих занятиях по математике и классическим языкам, а контрольная работа, отправленная его заочному наставнику в те тревожные дни, которые последовали за встречей с Боновером на аллее, вернулась с малоутешительной оценкой: «Вы-

полнено неудовлетворительно». Ничего подобного с ним прежде не случалось, поэтому он пришел в такое раздражение, что некоторое время даже подумывал, не ответить ли наставнику язвительным письмом. А потом наступили пасхальные каникулы, и ему пришлось ехать домой и объявить матери, разумеется, без лишних подробностей, что он покидает Хортли.

— Но ведь у тебя там так хорошо все складывалось! — всплеснула руками его мать.

Одно утешало добрую старушку: сын перестал носить очки — он даже забыл привезти их с собой,— и ее тайные страхи, что он «скрывает» от нее какое-то серьезное заболевание глаз, рассеялись.

Иногда у него бывали минуты горького раскаяния в той безрассудной прогулке. Такое настроение испытал он вскоре после каникул, когда ему пришлось сесть и пересмотреть сроки, намеченные в «Программе», и он впервые с ясностью осознал, чем, в сущности, кончилась для него эта первая схватка с теми загадочными и могучими силами, что пробуждаются с наступлением весны. Его мечты об успехе и славе казались ему вполне реальными, они были дороги его сердцу, и вот теперь, когда он понял, что долгожданная дверь университета, открывающая путь ко всему великому, пока еще для него затворена, он вдруг ощутил нечто похожее на физическую боль в груди.

В самый разгар работы он вскочил и с пером в руках стал шагать по комнате.

— Какой я был дурак! — вскричал он.— Какой я был дурак!

Он швырнул перо на пол и подбежал к стене, где красовался весьма неумелый рисунок девичьей головки — живой свидетель его порабощения. Он сорвал рисунок и разбросал клочья по полу...

— Дурак!

И сразу ему стало легче: он дал выход своему чувству. Секунду он взирал на произведенное им разрушение, а затем, что-то бормоча о «глупых сантиментах», снова уселся пересматривать свое расписание.

Такое настроение у него бывало. Но редко. Вообще же письма с ее адресом он ждал с куда большим нетерпением, чем ответа на те многочисленные прошения, писание которых оттеснило теперь на задний план Го-

рация и высшую математику (как у него именовалась стереометрия). На обдумывание письма к Этель у него уходило еще больше времени, чем потребовалось когда-то на составление достопримечательного перечня его академических достоинств.

Правда, его прошения были документами необыкновенными; каждое из них было писано новым пером и почерком — по крайней мере на первой странице,— превосходившим даже те образцы каллиграфии, которыми он блистал обычно. Но дни шли, а письмо, которое он надеялся получить, так и не приходило.

Настроение его осложнялось еще и тем, что, несмотря на упорное молчание, причина его отставки в разительно короткий срок стала известна «всему Хортли». Он, как рассказывали, оказался человеком «фривольным», а поведение Этель местные дамы порицали, если можно так выразиться, с самодовольным торжеством. Смазливое личико так часто бывает ловушкой. А один мальчишка — за это ему как следует надрали уши,— когда Люишем проходил мимо, громко крикнул: «Этель!» Помощник приходского священника, из породы людей бледных, нервных, с распухшими суставами, теперь, встречаясь с Люишемом, старался не замечать его. Миссис Боновер не упустила случая сказать ему, что он «совсем еще мальчик», а миссис Фробишер, столкнувшись с ним на улице, так грозно засопела, что он вздрогнул от неожиданности.

Это всеобщее осуждение порой приводило его в уныние, но иногда, наоборот, оно даже вселяло в него бодрость, и не раз он объявлял Данкерли, что ему это все совершенно нипочем. А иногда он убеждал себя, что терпит все это ради Нее. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось.

Он начал также понимать, как мало нуждается мир в услугах девятнадцатилетнего юноши,— он считал себя девятнадцатилетним, хотя в действительности ему было восемнадцать лет и несколько месяцев,— несмотря на то, что вдобавок к своей молодости, силе и энергии он является обладателем наград за примерное поведение, за общее развитие и за успехи в арифметике, а также отличных аттестатов на бумаге с королевским гербом за подписью известного инженера, подтверждающих его познания в черчении, мореходной астрономии, физиологии

животных, физиографии, неорганической химии и сооружении зданий. Сначала ему казалось, что директора школ будут цепляться за возможность воспользоваться его талантами, но выяснилось, что цепляться суждено ему. В его письмах с предложением услуг появилась теперь нотка настойчивости, но настойчивость ему не помогала. А письма эти становились все длиннее и длиннее, они разрослись до четырех страниц — на целое пенни бумаги. «Уверяю вас,— писал он,— что во мне вы найдете верного и преданного помощника». И так далее в таком духе. Данкерли указал ему на то, что аттестация, выданная Боновером, явно обходит вопрос о нравственности и дисциплине, но Боновер отказался что-либо изменить. Он, разумеется, был готов сделать для Люишема все, что в его силах, несмотря на столь неделикатное к нему отношение молодого человека, но, увы, его совесть...

Раза два-три Люишем намеренно исказил текст аттестации, но и это ничего не дало. И Южно-Кенсингтонская школа молчала, хотя прошла уже половина мая. Будущее рисовалось Люишему в весьма мрачных красках.

И вот в самый разгар сомнений и разочарований пришло письмо от нее. Оно было напечатано на машинке на тонкой бумаге. «Дорогой»,—писала она, и это обращение показалось ему самым ласковым и самым чудесным из всех обращений на свете, хотя в действительности-то она просто забыла, как его зовут, а потом забыла, что оставила место, куда хотела вставить его имя.

«Дорогой!

Я не могла написать раньше, потому что дома мне теперь негде написать письмо, так как миссис Фробишер рассказала моей матери о вас разные глупости. Моя мать ужасно удивила меня — я никак не ожидала этого от нее. Она ничего мне не сказала. Но об этом я напишу вам в следующий раз. Я слишком сердита, чтобы писать об этом сейчас. Даже теперь вы не можете мне ответить, потому что сюда нельзя посылать писем. Это совершенно невозможно. Но я вспоминаю вас, дорогой (слово «дорогой» было стерто и снова написано), и нашу чудесную прогулку и хочу сказать вам об этом, даже если это письмо окажется последним. Я сейчас очень занята. Работа у меня довольно сложная, и, боюсь, я немного

бестолкова. Трудно, не правда ли, с интересом относиться к чему-либо только оттого, что это дает средства на жизнь? Вероятно, порой вы испытываете то же самое у себя в школе? Но уж, видно, все люди должны заниматься не тем, что им по душе. Не знаю, когда я вновь окажусь в Хортли и окажусь ли вообще, но вы, наверное, сами приедете в Лондон. Миссис Фробишер наговорила самые ужасные вещи. Было бы чудесно, если бы вы приехали в Лондон, потому что тогда мы, возможно, сумели бы повидаться. В Челси есть большая школа для мальчиков, и каждое утро, когда я прохожу мимо нее, я думаю о том, как хорошо было бы, если бы вы там работали. Тогда вы выходили бы мне навстречу в своей шапочке и мантии. А вдруг в один прекрасный день я увижу вас там!»

Вот таким было это письмо, содержавшее в себе удивительно мало сведений и неожиданно обрывавшееся дописанными карандашом словами: «Прощайте, дорогой. Прощайте, дорогой». А внизу: «Вспоминайте обо мне иногда».

Читая его, в особенности это обращение «дорогой» в начале, Люишем испытывал самое странное ощущение в горле и груди, как будто он вот-вот заплачет. Поэтому он поспешил рассмеяться, еще раз перечитал письмо и с сияющими глазами зашагал взад и вперед по комнатке, не выпуская из рук драгоценного послания. Слово «дорогой» звучало так, как будто его произносила она,— ему даже показалось, что он слышит ее голос. Припомнилось ее мелодичное и ласковое «прощайте» из тени залитого лунным светом дома.

Но почему «это письмо окажется последним» и почему такой неожиданный конец? Разумеется, он будет вспоминать ее.

Это письмо оказалось единственным. Вскоре оно протерлось на сгибах.

В начале июня Люишем почувствовал себя особенно одиноко, у него вдруг возникло жгучее желание видеть ее. Он стал робко мечтать о поездке в Лондон, в Клэпхем, чтобы разыскать ее. Но Клэпхем не Хортли, и отыскать там человека не так-то просто. Он провел целый день, сочиняя и переписывая длинное послание к ней на случай, если узнает ее адрес. Если ему суждено узнать его.

Безутешный, он долго бродил по улицам, пока, наконец, в семь часов вечера не отправился в ярком свете луны за город по следам их незабываемой прогулки.

В темноте сарая, где они когда-то пережидали дождь, он разошелся до того, что начал говорить вслух, как будто она была рядом. И произносил он красивые, мужественные слова.

В окне дома у маленькой старушки с желтофиолями горела свеча; он зашел и, словно священнодействуя, выпил бутылку имбирного пива. Старушка чуть лукаво поинтересовалась, как поживает его сестра, и он пообещал когда-нибудь вновь привести ее. Этот разговор немного притупил терзавшее его чувство одиночества. Он вышел в белеющий сумрак и отправился домой, испытывая тихую грусть, такую нежную, что она стала почти приятной.

А на следующий день миссис Манди с недоумением увидела в его комнате новую надпись, одновременно и загадочную и знакомую:

Mizpah[1]

Слово было тщательно выписано староанглийскими буквами.

Где она прежде его видела?

Сначала оно господствовало над всем остальным в комнате; как знамя победы развеваясь над его «самодисциплиной», над расписанием, над «Программой». Затем на какое-то время оно исчезло, но вскоре появилось вновь. Потом его частично заслонил список школ, где имелись вакансии, а на полях листа бумаги, на котором оно красовалось, появились какие-то карандашные пометки.

Когда же наконец наступило время сборов и отъезда Люишема из Хортли, он снял его и вместе с другими подходящими бумагами — среди них оказались «Программа» и расписание — использовал, чтобы застлать дно желтого ящика, в который он запаковал свои книги; в основном это были книги, предназначенные для подготовки к теперь отложенным вступительным экзаменам.

---

[1] Арамейское слово, которое в библии расшифровывается так: «Да надзирает господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».

ГЛАВА VIII

КАРЬЕРА ТОРЖЕСТВУЕТ

Прошло два с половиной года, и повествование свое мы поведем о значительно повзрослевшем мистере Люишеме, уже не юноше, а мужчине, мужчине, во всяком случае с точки зрения закона, ибо ему исполнился двадцать один год. Местом же действия будет не маленький Хортли с его деревьями, парками, красно-коричневыми берегами реки и общественными выпасами, а серые просторы лондонского Вест-Энда.

Об Этель речи и вовсе не будет. Обещанное ею второе письмо он так и не получил, и, хотя в первые несколько месяцѐв пребывания в Лондоне посвятил не один день скитаниям по Клэпхему, этой бесплодной пустыне человеческой, встреча, о которой он мечтал, так и не состоялась. Наконец молодость с ее восхитительной способностью к возрождению духа и тела взяла свое, и он начал ее забывать.

Поиски «места» неожиданно принесли плоды в виде листка синей бумаги, о которой так мечтал Данкерли. Оказалось, что голубовато-зеленые дипломы годились не только в качестве украшений на стену, и, когда Люишем уже потерял надежду на получение работы до конца дней своих, от Педагогического факультета пришла чудодейственная синяя бумага, сулившая нечто совершенно невероятное. Его приглашали в Лондон, где он должен был получать гинею в неделю за слушание лекций, таких лекций, которые превосходили самые честолюбивые его мечты! Среди имен, плывущих у него перед глазами, он разглядел Хаксли — Хаксли, а потом Локайера! Какая удача! Приходится ли после этого удивляться, что в течение трех последующих лет все мысли его были заняты только карьерой?

Представьте себе мистера Люишема на пути в Нормальную школу естественных наук в начале третьего года обучения. (Теперь это заведение называют Королевским колледжем естественных наук.) В правой руке у него блестящий черный портфель, набитый тетрадями, конспектами и другими принадлежностями для предстоящих занятий, а в левой — книга, которой не хватило ме-

ста в портфеле, книга с золотым обрезом, аккуратно обернутая в коричневую бумагу.

Пропущенные нами годы не прошли бесследно; на верхней губе мистера Люишема появились не слишком приметные, но бесспорные усы, рост прибавился еще на один-два дюйма, свободнее стали манеры. Ибо теперь он перестал быть, как в восемнадцать лет, предметом всеобщего внимания; он начал понимать, что значительное число людей с полным безразличием относится к факту его существования. Он утратил былую застенчивость, зато приобрел уверенность в осанке, как человек, которому неплохо живется на свете.

Его костюм — за одним исключением — видавший виды и «порыжевший» траур. Он носил траур по матери, умершей более чем за год до возобновления нашего рассказа; она оставила ему имущество, которое в деньгах равнялось почти ста фунтам, и он ревниво хранил их в банке, расходуя только на самое необходимое: на плату за право учения в университете, на книги и на другие принадлежности, которые требовались для его блестящей студенческой карьеры. Ибо, несмотря на неудачу в Хортли, он все же делал блестящую карьеру и, как всеядное пламя, пожирал дипломы один за другим.

При взгляде на него, сударыня, вы непременно приметили бы его воротничок с удивительно глянцевитой поверхностью, похожей на мокрую резину. И хотя, в сущности, это не имеет никакого отношения к нашему рассказу, я знаю, что должен объяснить, в чем тут дело, иначе вы будете невнимательны к моему дальнейшему повествованию. Есть в Лондоне тайны, но откуда этот странный глянец на белье? «Дешевые прачки всегда пересинивают вещи,— утверждаете вы.— Его воротничок должен быть в синих потеках, потертый на сгибе, с бахромой вокруг петли и будет врезаться в шею. Но этот глянец...» Приглядитесь поближе и дотроньтесь пальцем — он холодный и влажный, как стена склепа! Дело в том, сударыня, что это патентованный непромокаемый воротничок. Перед сном его нужно потереть зубной щеткой и повесить для просушки на спинку стула, и утром он как новенький. Это был его единственный воротничок, на нем он экономил в неделю по крайней мере три пенса, что для будущего педагога, состоящего на обуче-

нии в Южно-Кенсингтонской школе и существующего на гинею в неделю, жалованную ему по-отечески заботливым, но скупым правительством, составляет значительную сумму. Этот воротничок явился для Люишема великим открытием. Он увидел его в витрине магазина: воротничок лежал на дне стеклянного аквариума, и над ним тоскливо метались золотые рыбки. Люишем сказал себе, что ему, пожалуй, по душе этот глянец.

Но вот ярко-красный галстук у него на шее — это вещь неожиданная. Ярко-красный галстук, какой носят кондукторы Юго-Западной железной дороги! Больше ничего щегольского в его облике не было, даже тешившие его тщеславие очки были давным-давно заброшены. Задумаешься, пожалуй... Где вы видели толпу людей в красных галстуках, которые как будто что-то символизируют? Придется сказать правду. Мистер Люишем стал социалистом!

Этот красный галстук был единственным внешним и видимым знаком его внутреннего, духовного развития. Несмотря на большую учебную нагрузку, Люишем к этому времени одолел и Батлеровскую «Аналогию» и некоторые другие книги; он возражал, сомневался, в ночной тиши взывал к богу, моля его о «вере» — «вере», которую следовало даровать немедленно, если небо ценит преданность мистера Люишема, и которая тем не менее так и не была дарована... Теперь свою судьбу на этом свете он не представлял себе больше в виде длинного ряда экзаменов, ведущего к далекой адвокатуре и политической деятельности «в либеральном духе» (D. V.) [1]. Он начал понимать некоторые стороны наших социальных порядков, которые в Хортли не бросались в глаза; познакомился с тем гнетущим чувством тоски, полного отчаяния и муки, которые окрашивают жизнь столь многих обывателей современного Лондона. Один яркий контраст как символ навсегда запомнился ему. Он видел бастующих угольщиков во дворах Вестборнского предместья, изможденных и голодных, детей, из черной грязи моливших о милостыне, безработных в очереди за бесплатным супом; а двумя улицами дальше, на Вестборн Гроув,— сверкающие вывески переполненных магазинов, непрерывный по-

---

[1] Deo Volentum *(лат.)* — если бог захочет.

ток кэбов и карет и такое бурное расточительство, что торопившийся домой усталый студент в мокрых ботинках и мешковатом костюме то и дело застревал в ароматном вихре юбок и жакетов и элегантной нарядной женственности. Несомненно, что неприятные ощущения, которые испытал в ту минуту усталый студент, привели его к определенным выводам. А ведь это лишь одно из постоянно повторяющихся наглядных сопоставлений.

Люишем был искренне убежден или, если угодно, просто чувствовал, что человек не может быть счастлив, когда другой, рядом, несчастен, и этот крикливый блеск благополучия казался ему преступлением. Он тогда еще верил, что люди сами решают свою судьбу,— всю меру моральной тупости людской, в том числе и своей собственной, ему еще предстояло осознать. Как раз тогда ему случайно попались в руки «Прогресс и нищета» [1] и несколько разрозненных номеров «Общего благосостояния» [2], и он без особого труда усвоил теорию о коварных происках капиталистов и помещиков и справедливых требованиях безвинных страдальцев-рабочих. Он немедленно стал социалистом. Естественно, у него тотчас явилась настоятельная потребность каким-то образом оповестить весь мир о своей новой вере. Поэтому он вышел из дому и (исторический момент!) купил себе тот самый красный галстук!

— Цвета крови, пожалуйста,— робко сказал Люишем молодой леди, что стояла за прилавком.

— Какого цвета? — насмешливо переспросила молодая леди за прилавком.

— Ярко-алого, пожалуйста,— вспыхнув, ответил Люишем.

И он потратил бóльшую часть вечера и немало терпения на то, чтобы научиться завязывать этот галстук аккуратным бантом. Подобное занятие было ему в новинку: до сих пор он носил галстуки с уже готовым узлом.

Так Люишем провозгласил Социальную Революцию. Когда этот символ на шее у его владельца впервые покинул стены дома, по Бромтон-роуд шествовала орава

[1] Книга американского писателя Генри Джорджа (1839—1897).

[2] Официальный орган английской «Социалистической лиги», основанной в 1884 году.

дюжих полисменов. Люишем направился им навстречу. Он начал напевать. Приняв многозначительный вид, он прошел мимо полисменов с «Марсельезой» на устах...

Но с тех пор миновало уже несколько месяцев, и теперь красный галстук был просто привычным предметом туалета.

Он свернул с Эгсибишн-роуд в железные решетчатые ворота и вошел в вестибюль Нормальной школы. В вестибюле было полно студентов с книгами, портфелями и ящичками для инструментов в руках, студентов, которые стояли и разговаривали, студентов, которые читали вставленные в рамки объявления Дискуссионного клуба, студентов, которые покупали у продавца канцелярских принадлежностей тетради, карандаши, резинки и кнопки. Тут можно было видеть и новичков — студентов, платящих за свое обучение, юношей и молодых людей в черных сюртуках и цилиндрах или костюмах из твида, и бывалых школяров — однокурсников Люишема, разномастных, нескладных, жалких, плохо одетых и охваченных благоговейным страхом; на одном Люишем заметил морскую фуражку с золотым галуном, другой явился в митенках, а третий — в элегантных серых лайковых перчатках. Тут же в толпе крутился Граммет — бессменный библиотекарь.

— Der Zozalist! [1] — сострил кто-то.

Люишем сделал вид, будто не слышит, но краска разлилась у него по лицу. Хорошо бы отучиться от этой привычки краснеть, ведь ему уже двадцать один год. Он старательно не глядел на доску объявлений Дискуссионного клуба, которая извещала, что в следующую пятницу состоится доклад «Д. Э. Люишем о социализме», и пробирался через вестибюль туда, где должен был расписаться в книге прихода и ухода. Но его окликнули, потом еще раз. На какое-то время его задержали рукопожатия и неуклюжие дружеские шуточки его «коллег».

Один из студентов указал на него своему земляку — первокурснику:

— Эта скотина Люишем — ужасный зубрила. В прошлом году он был вторым. Долбит изо всех сил. Но все эти зубрилы — страшно ограниченные люди. Экзамены,

---

[1] Социалист *(испорч. нем.)*.

Дискуссионный клуб, снова экзамены. Они, наверное, и слыхом не слыхали, как живут люди. За целый год и близко-то к мюзик-холлу не подойдут.

Люишем услышал пронзительный свист, бросился к лифту и успел вскочить в кабину перед самым отправлением. Света в кабине не было, но зато полно черных теней; различить можно было только лифтера. Пока Люишем вглядывался в смутно белеющие перед ним лица, пытаясь догадаться, кто стоит рядом, женский голос назвал его имя.

— Это вы, мисс Хейдингер? — спросил он.— Я вас не разглядел. Надеюсь, вы хорошо провели каникулы?

ГЛАВА IX

ЭЛИС ХЕЙДИНГЕР

Когда лифт остановился на верхнем этаже, Люишем отступил в сторону, чтобы дать возможность выйти из кабины последнему оставшемуся там пассажиру. Это и была та самая мисс Хейдингер, которая окликнула его, она же владелица обернутой в коричневую бумагу книги с золотым обрезом. Больше никто не поднялся наверх. Все остальные пассажиры вышли на «астрономическом» и «химическом» этажах, лишь двое наших героев выбрали на третий год обучения курс зоологии, а зоология размещалась в чердачном помещении. Они вышли из кабины на свет, и ее щеки залил непривычный румянец. Люишем обратил внимание и на перемену в ее туалете. Впрочем, она, вероятно, и ожидала увидеть мелькнувшее на его лице удивление.

На предыдущем курсе — их дружба длилась уже почти год — Люишему и в голову не приходило, что она может быть хорошенькой. Во время каникул он более или менее отчетливо помнил о ней лишь одно: волосы ее не всегда бывали аккуратно причесаны, и даже когда они были в порядке, она все равно беспокоилась о своей прическе: она не доверяла своим волосам. Он запомнил, как, разговаривая, она то и дело ощупывает их и приглаживает — очень неприятная привычка. Мог бы он сказать и какого цвета они у нее: в общем, довольно свет-

лые, каштановые. Но вот какой у нее рот, он позабыл, забыл, и какие у нее глаза. Она, правда, носила очки. И платье ее ему не запомнилось — какое-то бесцветное и бесформенное.

А между тем они часто виделись. Сначала они слушали разные курсы и познакомились на заседании Дискуссионного клуба. Люишем тогда только открывал для себя социализм. Это послужило поводом для беседы, началом дружбы. Она, видимо, заинтересовалась его своеобразным взглядом на вещи, и по воле случая он частенько встречал ее в коридорах школы, в залах Педагогической библиотеки и в Музее искусств. Спустя некоторое время встречи эти перестали казаться случайными.

Впервые в жизни Люишем вообразил, что одарен талантом красноречия. Она решила подогреть его честолюбие — задача не из трудных. Она нашла, что у него исключительные способности и что она сумеет направлять их; в действительности ей удалось лишь разжечь его тщеславие. Она тоже числилась при Лондонском университете, и в июле они вместе держали переходный экзамен по естественным наукам — с ее стороны это был не совсем разумный шаг,— что послужило, как и всегда в подобных случаях, к их дальнейшему сближению. Она провалилась на экзамене, что, впрочем, никоим образом не уменьшило уважения к ней Люишема. В дни экзаменов они беседовали о дружбе вообще и прочих вещах, прогуливаясь во время перерыва по Берлингтонскому пассажу, а Берлингтонский пассаж откровенно потешался над ее ученой невзрачностью и его красным галстуком, и среди прочего она упрекнула его за то, что он не читает стихов. После окончания экзаменов, расставаясь на Пикадилли, они обещали во время каникул писать друг другу о поэзии и о себе, и она, чуть поколебавшись, одолжила ему томик стихов Россетти [1]. Он начал уже забывать то, что с первого раза было ему вполне очевидно, а именно: что она старше его на три-четыре года.

Люишем провел каникулы в обществе своего не очень-то любезного, но доброго дядюшки, который был водо-

---

[1] Россетти, Данте Габриэль (1828—1882) — английский поэт и художник, выразитель взглядов прерафаэлитов.

проводчиком и плотником. Дядюшка имел шестерых детей, старшему исполнилось одиннадцать; Люишем старался понравиться детям, но в то же время не забывал о своем педагогическом призвании. Кроме того, он усиленно готовился к третьему, заключительному году занятий (в течение которого задался целью свершить нечто великое) и сверх всего освоил еще искусство езды на велосипеде. Думал он и о мисс Хейдингер, и она, как можно судить, думала о нем.

Он спорил на социальные темы со своим дядюшкой, первым местным консерватором. Дискуссионные приемы его дядюшки были чрезвычайно вульгарны. Все социалисты, заявлял он,— воры. Их цель—забрать у человека то, что он заработал, и отдать это «наглым лентяям». А без богачей не обойтись, утверждал он.

— Не будь людей состоятельных, откуда бы я, потвоему, мог добыть себе пропитание? А? И где ты был бы тогда?

Социализм, убеждал его дядюшка, придумали агитаторы. Они тянут деньги из подобных ему юнцов и тратят их на шампанское.

После этого разговора на все доводы мистера Люишема он отвечал одним словом: «Шампанское!»—и с издевательским смаком тянул губами воздух.

Люишем, естественно, чувствовал себя немного одиноко, что, возможно, он несколько подчеркивал в своих письмах к мисс Хейдингер. Выяснилось, что она тоже довольно одинока. Они обсудили вопрос об истинной дружбе в отличие от дружбы обыкновенной, а от него перешли к Гете и его «Родственным натурам». Он сообщил, что с нетерпением ждет ее писем, и они стали приходить чаще. Письма ее были, бесспорно, хорошо написаны. Будь он журналистом и знай людей лучше, он бы понял, что на сочинение каждого такого письма уходит целый день. После расспросов практичного водопроводчика о том, что он намерен делать со своей никчемной наукой, перечитывание ее писем было бальзамом для души. Ему понравился Россетти — изысканное ощущение разлуки в «Небесной подруге» тронуло его. Но в целом он был немного удивлен поэтическим вкусом мисс Хейдингер. Россетти писал так витиевато, так цветисто! Он совсем этого не ожидал.

А в общем, он вернулся в Лондон, несомненно, более заинтересованный ею, чем когда они расставались. И смутное воспоминание о ее внешности как о чем-то странно небрежном и неряшливом исчезло, как только она вышла на свет из кабины лифта. Прическа ее была в порядке, а когда луч света скользнул по ее волосам, они показались ему даже красивыми; одета она была в хорошо сшитое темно-зеленое с черным платье, падавшее по моде тех дней свободными складками; его темный тон придавал ее лицу нежный оттенок, которого ей недоставало. Шляпа ее тоже отличалась от бесформенных головных уборов прошлого года; женский взгляд тотчас заметил бы, что она подобрана к лицу и к платью. Шляпа ей шла, но эти подробности уже вне компетенции мужчины-романиста.

— Я принес вашу книгу, мисс Хейдингер,— сказал он.

— Я очень рада, что вы наконец подготовили реферат о социализме,— ответила она, беря у него обернутый в коричневую бумагу том.

Бок о бок они прошли маленьким коридором к биологической лаборатории, и она остановилась возле вешалки, чтобы снять шляпу. В Школе царили такие «ужасные» порядки: студентке приходилось у всех на виду снимать шляпу и у всех на виду надевать полотняный фартук, который должен предохранять ее платье на время работы в лаборатории. Даже нет зеркала!

— Я приду послушать ваш доклад,— сказала она.

— Надеюсь, он вам понравится,— отозвался Люишем уже в дверях лаборатории.

— Во время каникул я продолжала собирать доказательства существования духов,— помните наши споры? Хотя и не писала вам об этом в письмах.

— Жаль, что вы все продолжаете упорствовать,— сказал Люишем.— А я-то думал, что вы уже с этим покончили.

— Вы читали «Взгляд назад» [1]?

— Нет, но очень бы хотел.

— Эта книга у меня с собой. Если хотите, я вам ее

[1] «Взгляд назад» — утопический роман американского писателя Э. Беллами (1850—1898).

одолжу. Дайте только добраться до моего стола. У меня руки заняты.

Они вошли в лабораторию вместе, причем Люишем галантно распахнул перед ней дверь, а мисс Хейдингер на всякий случай поправила волосы. Возле двери стояли четыре студентки, к которым присоединилась и мисс Хейдингер, стараясь как можно незаметнее держать книгу в коричневой обертке. Трое из них учились вместе с ней и на предыдущих двух курсах, а потому, здороваясь, назвали ее по имени. Они уже успели обменяться многозначительными взглядами при ее появлении в обществе Люишема.

Угрюмый почтенного вида молодой ассистент при виде Люишема тотчас просветлел.

— Ну, один приличный студент у нас уже есть,— заметил этот угрюмый почтенного вида молодой ассистент, который, очевидно, вел учет приходящих, и снова просветлел, увидев нового студента: — А вот и Смизерс.

ГЛАВА X

В ГАЛЕРЕЕ СТАРИННОГО ЛИТЬЯ

Когда входишь с Бромтон-роуд в Южно-Кенсингтонский музей искусств, галерея старинного литья находится как раз над вестибюлем справа, но дорога туда чрезвычайно путаная, да и показывают ее далеко не каждому, поскольку постигающие там науки и искусства молодые люди ревниво охраняют уединенность этой галереи. Длинная, узкая и темная, галерея вся заполнена железными решетками, коваными сундуками, замками, щеколдами, засовами, чудовищно огромными ключами и тому подобными вещами, но зато, перегнувшись через балюстраду, там можно вести беседы о возвышенных чувствах и любоваться микеланджеловским рогатым Моисеем или Траяновой колонной (в гипсе), которая вздымается из нижнего зала и уходит выше галереи под самую крышу. Именно здесь оказались Люишем и мисс Хейдингер под вечер в среду, после того, как был прочитан доклад о социализме, о котором оповещала студентов доска объявлений при входе.

Доклад, весьма убедительный и прочитанный со сдержанным волнением, имел огромный успех. Грозный Смизерс был практически обращен, а ответы на вопросы во время обсуждения доклада отличались методичностью и обстоятельностью, хотя у докладчика, возможно, и наблюдались некоторые симптомы лихорадочного возбуждения, про которое в простонародье говорят: «В голову ударило».

Разглядывая Моисея, Люишем разглагольствовал о своем будущем. Мисс Хейдингер большей частью смотрела ему в лицо.

— А потом? — спросила мисс Хейдингер.

— Необходимо широко пропагандировать эти взгляды в народе. Я по-прежнему верю в памфлеты. Я думал...— Тут Люишем замолчал, надо надеяться, из скромности.

— О чем? — вопросительно отозвалась мисс Хейдингер.

— Я думал о Лютере. Мне кажется, социализму нужен новый Лютер.

— Да,— подтвердила мисс Хейдингер, обдумывая его мысль.— Да. Это было бы великое дело.

В те дни так казалось многим. Но вот уже больше семи лет выдающиеся реформаторы ходят вокруг стен социального Иерихона, дуют в свои трубы и кричат, а толку от всего этого, не считая вспышек злобы за стенами града, так немного, что трудно вернуть теперь радужные надежды тех ушедших дней.

— Да,— повторила мисс Хейдингер.— Это было бы великое дело.

Люишем почувствовал в ее голосе волнение. Он посмотрел ей в лицо и прочел нескрываемое восхищение в ее глазах.

— Это было бы подвигом,— сказал он и скромно добавил: — Если бы только удалось его осуществить.

— Вы могли бы это сделать.

— Вы так думаете?

Люишем вспыхнул от удовольствия.

— Да. Во всяком случае, вы могли бы начать это дело. Даже полная неудача и то будет подвигом. Бывают случаи...

Она остановилась в нерешительности. Он весь превратился в слух.

— По-моему, бывают случаи, когда неудача — еще больший подвиг, нежели успех.

— Не знаю,— ответил будущий Лютер, и взгляд его вновь обратился к Моисею.

Она хотела еще что-то сказать, но раздумала. Они молчали, размышляя.

— А что будет потом, когда людям станут известны ваши взгляды? — наконец спросила она.

— Тогда, мне кажется, мы должны будем образовать партию и... осуществить задуманное.

Снова молчание, полное, без сомнения, возвышенных дум.

— Знаете,— вдруг сказал Люишем,— у вас есть умение вселить в человека бодрость. Если бы не вы, я бы никогда не сумел написать этот реферат о социализме.— Он повернулся и, стоя спиной к Моисею, улыбнулся ей.— Да, вы умеете помочь человеку.

То был один из самых значительных моментов в жизни мисс Хейдингер. Краска сбежала с ее лица.

— Правда? — переспросила она, неловко выпрямившись и глядя ему в лицо.— Я очень... рада.

— Я еще не поблагодарил вас за письма,— сказал Люишем.— И я думаю...

— Да?

— Мы настоящие друзья, правда? Лучшие из лучших.

Она протянула ему руку и вздохнула.

— Да,— сказала она, отвечая на его рукопожатие.

Он был в нерешительности, не зная, задержать ли ее руку в своей. Он смотрел ей в глаза, и в эту минуту она отдала бы три четверти оставшихся ей лет за то, чтобы обладать чертами лица, способными выразить всю глубину ее души. Но нет, она чувствовала, лицо ее застыло, уголки рта начали невольно подергиваться, а глаза, наверное, от застенчивости приобрели лживое выражение.

— Я хочу сказать,— продолжал Люишем,— что это навечно. Мы всегда будем друзьями, всегда будем рядом.

— Всегда. Если я могу хоть чем-нибудь помочь вам, я готова это сделать. И пока в моих силах, я буду помогать вам.

— Мы будем действовать вдвоем! — воскликнул Люишем, еще раз пожимая ей руку.

Ее лицо светилось. А глаза от охватившего ее чувства на мгновение стали прекрасными.

— Вдвоем! — повторила она, губы ее задрожали, и комок подкатил к горлу.

Она вдруг вырвала у него свою руку и отвернулась. А потом чуть ли не бегом бросилась в противоположный конец галереи, и он увидел, как она роется в складках своего черно-зеленого платья, доставая носовой платок. Да она вот-вот расплачется!

Люишем только подивился такому совершенно неуместному проявлению чувств.

Он последовал за ней и стал рядом. Откуда слезы? Только бы никто не вошел в галерею до тех пор, пока она не уберет свой платок. Тем не менее он чувствовал себя немного польщенным. Наконец она овладела собой, вытерла слезы и храбро улыбнулась ему, глядя на него покрасневшими глазами.

— Извините меня,— сказала она, все еще всхлипывая.— Я так рада! — объяснила она.— Да, мы будем бороться вместе. Мы вдвоем. Я постараюсь вам помочь. Я знаю, что могу это сделать. А на свете столько работы!

— Вы очень добры ко мне,— произнес Люишем фразу, которая была подготовлена до того, как мисс Хейдингер расчувствовалась у него на глазах.

— О, нет!

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову,— вдруг спросила она,— как мало может сделать женщина, если она одна на свете?

— И мужчина,— ответил он, минуту подумав.

Так Люишем приобрел первого союзника по делу, символом которого служил красный галстук и которое в ближайшем будущем должно было принести ему Величие. Первого союзника, ибо до сих пор, если не считать не слишком скромных изречений на стенах его жилища, он никогда еще не открывал никому своих честолюбивых замыслов. Даже во время той, теперь уже полузабытой

любовной истории в Хортли, несмотря на всю возникшую тогда душевную близость, он и словом не обмолвился о своей карьере.

ГЛАВА XI

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Мисс Хейдингер склонна была верить в бессмертие души; это обстоятельство и вызвало острый спор, разгоревшийся в лаборатории во время чаепития. Студентки, которые в том году составляли большинство по сравнению с представителями сильного пола, в промежутке между окончанием занятий в четыре часа и приходом в пять сторожа организовывали общее чаепитие. Иногда на эти чаепития приглашались и студенты. Но одновременно за столом сидело не больше двух мужчин, потому что остались всего две лишние чашки после того, как противный Симмонс разбил третью.

Студент Смизерс, человек с квадратной головой и суровым взглядом серых глаз, отрицал существование духов с непримиримой убежденностью, в то время как Бледерли, отличительными чертами которого были оранжевый галстук и копна давно не стриженных прямых волос, рассуждал туманно и чистосердечно.

— Что такое любовь? — спрашивал Бледерли.— Уж она-то во всяком случае бессмертна.

Но его довод был сочтен неубедительным и отвергнут.

Люишем как самый многообещающий студент курса был арбитром: он взвешивал доказательства всесторонне и обстоятельно. Спиритические сеансы, заявил он,— это мошенничество.

— Глупость и жульничество!— громко подтвердил Смизерс, краем глаза поглядывая, достиг ли цели брошенный им вызов.

А мишенью его был седой старичок с большими серыми глазами на маленьком лице, который, пока его не захватил спор, стоял у одного из окон лаборатории с видом полнейшего равнодушия. Он носил коричневую бархатную куртку и был, по слухам, очень богат. Фамилия его была Лэгьюн. Он не был настоящим студентом, а принадлежал к тем вольнослушателям, что допускают-

ся в лаборатории при наличии там свободных мест. Он имел известность ярого сторонника спиритов, говорили даже, что он вызывал Хаксли на публичный диспут о материализме. Он посещал лекции по биологии и время от времени работал в лаборатории, для того чтобы, как он признавался, бороться с неверием его же собственным оружием. Он с жадностью клюнул на брошенную ему Смизерсом приманку спора.

— Нет, говорю я!—воскликнул он на всю узкую комнату и поспешил к столу вслед за своей репликой. Он чуть заметно шепелявил.— Извините, что перебиваю вас, сэр, но этот вопрос глубоко меня интересует. Надеюсь, вы простите мое вмешательство, сэр? Внесем в ваше утверждение некоторую субъективность. Скажем, я... дурак или жулик?

— Ну, знаете ли,— отозвался Смизерс с грубоватой прямотой кенсингтонского студента,— это уж чересчур лично.

— Вы допускаете, сэр, что я человек честный?

— Предположим.

— Я видел духов, слышал духов, чувствовал прикосновение духов.

И он широко раскрыл свои бесцветные глаза.

— Значит, дурак,— пробормотал Смизерс, но заключение его не достигло ушей спирита.

— Возможно, вы были обмануты,— несколько поиному изложил мысль Смизерса Люишем.

— Уверяю вас... И другие могут видеть, слышать и чувствовать. Я проверил это, сэр! Проверил! Я коечто понимаю в науке и сам ставил опыты. Абсолютно исчерпывающие опыты на научной основе. Всевозможные. Разрешите спросить вас, сэр: предоставляли ли вы духам возможность вступить с вами в общение?

— Вот еще! Платить деньги мошенникам! — сказал Смизерс.

— Вот видите! Вы предубеждены! Перед нами человек, который отрицает факты, не хочет их видеть, а поэтому и не видит.

— Уж не требуете ли вы от каждого, кто не верит в духов, чтобы он побывал на спиритическом сеансе, прежде чем вы признаете за ним право их отрицать?



«ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЮИШЕМ»



«ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЮИШЕМ»

— Именно так. Именно так. До тех же пор ему ничто не ведомо.

Спор накалялся. Маленький старичок вскоре разошелся вовсю. Он знает одного человека, наделенного необыкновенными способностями, одного медиума...

— Платного? — спросил Смизерс.

— Завязываешь ли ты рот быку, что жнет твои посевы? — быстро спросил Лэгьюн.

Смизерс откровенно смеялся.

— Неужели вы не доверяете показаниям весов только потому, что купили их? Приходите и посмотрите.— Лэгьюн был очень взволнован: он оживленно жестикулировал, и голос его звенел. И он не сходя с места пригласил всех присутствующих к себе на спиритический сеанс.— Разумеется, не все сразу: духи, знаете ли... новые влияния... Группами. Я должен предупредить: может, и ничего не получится. Но вполне возможно... Я был бы бесконечно рад...

Вот так и случилось, что Люишем согласился стать свидетелем вызывания духов. Вместе с ним на сеансе, как условились, должны были присутствовать мисс Хейдингер, непримиримый скептик Смизерс, Лэгьюн, его секретарша и сам медиум. А потом состоится еще один сеанс, для другой группы. Люишем был рад, что сможет воспользоваться моральной поддержкой Смизерса.

— Потерянный вечер,— сказал Смизерс, который принял отважное решение состязаться с Люишемом за медаль Форбса.— Но я им докажу. Увидите сами.

Им дали адрес в Челси.

Дом, когда его наконец разыскал Люишем, оказался большим и таким величаво-внушительным, что молодой человек пришел в замешательство. В просторном, богато убранном холле он повесил свою шляпу подле чьей-то соломенной шляпки с зеленой отделкой. Сквозь отворенную дверь он увидел роскошный кабинет — книжные полки, увенчанные гипсовыми бюстами, и заваленный бумагами огромный письменный стол, на котором стояла электрическая лампа с зеленым абажуром. Горничная, как показалось ему, с бесконечным презрением взглянула на его порыжевший траурный костюм, украшенный пла-

менным галстуком, и, устремившись вперед, повела его вверх по лестнице.

Она постучала в дверь, из-за которой доносились голоса спорящих.

— Наверное, уже начали,— шепнула она Люишему.— Мистеру Лэгьюну всегда не терпится.

Послышался звук передвигаемых стульев, затем громкий голос Смизерса, что-то предлагающего, и его нервный смех. Дверь отворилась, и появился Лэгьюн. Его старческое личико казалось меньше обычного, а большие серые глаза стали совсем огромными.

— А мы уж собирались начинать без вас,— прошептал он.— Проходите.

Комната, куда вошел Люишем, была еще роскошнее, чем приемная Хортлийской школы, красивее которой (не считая королевских покоев в Виндзорском дворце) он до сих пор не видел. Ее мебель удивительно напоминала ему мебель, выставленную в Южно-Кенсингтонском музее. Прежде всего в глаза бросались величавые, невыносимо надменные кресла: куда там сесть на такое— это казалось просто дерзостью. Он заметил, что Смизерс стоит, прислонившись к книжной полке, с выражением одновременно враждебности и робости на лице. Затем он услышал, что Лэгьюн приглашает всех садиться. За столом уже расположился медиум Чеффери, снисходительный, слегка потрепанный джентльмен с густыми седоватыми бакенбардами, широким тонкогубым ртом, сжатым в глубокие складки по углам, и тяжелым квадратным подбородком. Он бросил на Люишема строгий взгляд поверх своих золоченых очков, и Люишем смутился. Мисс Хейдингер чувствовала себя совершенно непринужденно. Она сразу же затеяла с Люишемом разговор, но он отвечал менее уверенно, чем во время их беседы в галерее старинного литья; сейчас они словно поменялись ролями. Она рассуждала, а он пребывал в замешательстве, смутно чувствуя, что она берет над ним верх. Справа от себя он заметил еще одну девичью фигуру в темном платье.

Все подошли к стоявшему посредине комнаты круглому столу, на котором лежали тамбурин и маленькая зеленая шкатулка. Когда Лэгьюн рассаживал гостей, указывая им их места, оказалось, что у него удивительной

длины узловатое запястье и костлявые пальцы. Люишему выпало сидеть рядом с хозяином, между ним и медиумом. Справа от медиума расположился Смизерс, за ним мисс Хейдингер, и, наконец, круг замыкала секретарша, которая сидела возле Лэгьюна. Таким образом, скептики расположились по обе стороны от медиума. Присутствующие уже расселись по местам, когда Люишем, скользнув взглядом мимо Лэгьюна, встретился глазами с девушкой, сидевшей рядом с этим джентльменом. Это была Этель! Узкое зеленое платье, отсутствие шляпы и некоторая бледность в лице немного меняли ее внешность, но он все равно ее узнал в тот же миг. И по глазам ее было видно, что она тоже узнала его.

Она тотчас отвела взгляд. Сначала он почувствовал только удивление. Он хотел было заговорить с нею, но ему помешало одно незначительное обстоятельство: он не мог вспомнить ее фамилию. И необычность всей обстановки смущала его. Он не знал, как нужно обратиться к ней,— он все еще придерживался предрассудков этикета. И потом, заговорить с ней значило объяснять всем этим людям...

— Убавьте, пожалуйста, газ, мистер Смизерс,— сказал Лэгьюн, и, как только единственная оставшаяся зажженной горелка газового рожка была прикручена, они очутились в темноте. Теперь уже поздно было затевать разговор.

Тщательно проверили, как составлена цепь,— все должны были сидеть, сцепившись мизинцами. При этом Люишем получил от Смизерса выговор за свою рассеянность. Медиум приветливо разъяснил, что он ничего не обещает, ибо не обладает властью «указывать» духам, когда появиться. Затем наступило молчание...

Некоторое время Люишем оставался совершенно невосприимчив к тому, что было вокруг.

Он сидел в насыщенной дыханием тьме, не сводя глаз со смутного пятна, каким представлялось ему теперь ее такое знакомое лицо. А в мыслях его удивление сменялось досадой. Ведь он давно решил, что эта девушка навсегда для него потеряна. Ему уже перестали грезиться былые дни, полные страстной тоски, и грустные вечера, которые после своего приезда в Лондон он проводил в скитаниях по Клэпхему, все меньше и меньше на-

деясь встретиться с нею. Но сейчас ему было стыдно своего глупого молчания, его раздражало неловкое положение, в котором он оказался. Была минута, когда он уже готов был нарушить тишину и окликнуть ее через стол: «Мисс Хендерсон!»

Как мог он забыть, что ее фамилия — Хендерсон? Он был еще так молод, что удивлялся человеческой способности забывать.

Смизерс кашлянул, словно призывая к вниманию.

Люишем, с трудом вспомнив о своих разоблачительных обязанностях, огляделся по сторонам, но в комнате царила полная тьма. Тишину нарушали лишь глубокие вздохи да шорохи медиума, который все время ерзал на своем месте. Но даже в этой сумятице мыслей первым в Люишеме заговорило тщеславие. Что она подумала о нем? Смотрит ли она в темноте на него, как он смотрит на нее? Сделать ли вид, когда зажгут свет, что он впервые ее видит? Шли минуты, и тишина становилась все более и более глубокой. Огонь в камине не горел, и в комнате из-за этого казалось холодно. Неожиданно в душе его возникло странное сомнение: действительно ли он видел Этель или принял за нее кого-то еще? Ему не терпелось, чтобы сеанс поскорее закончился, он хотел еще раз взглянуть на нее. Память его с удивительной отчетливостью и со столь же удивительной бесстрастностью рисовала ему былые дни в Хортли...

По спине у него пробежал холодок, который он попытался объяснить сквозняком...

Внезапно в лицо ему и в самом деле пахнуло ветром, и он невольно вздрогнул. Хорошо бы она ничего не заметила. Не рассмеяться ли потихоньку, подумал он, чтобы показать, что он нисколько не испугался? Вздрогнул еще кто-то рядом, и он вдруг услышал необычайно резкий запах фиалок. Мизинец Лэгьюна почему-то стал вибрировать.

Что происходит?

Музыкальная шкатулка где-то на столе начала наигрывать незнакомую ему простенькую и заунывную мелодию. От этого тишина стала еще более глубокой, она превратилась в безмолвное ожидание, словно тонкая нить дребезжащей мелодии протянулась над пропастью.

И здесь Люишему удалось взять себя в руки. Что

происходит? Нужно быть внимательным. Хорошо ли он наблюдает за происходящим? Витает, как всегда, где-то в облаках. Никаких духов не существует, медиумы — просто обманщики, и он находится здесь, чтобы доказать эту святую истину. Нельзя отвлекаться, он может что-нибудь прозевать. Что означает этот запах фиалок? И кто завел музыкальную шкатулку? Конечно, медиум. Но каким образом? Не слышно ли было шороха перед тем, как заиграла музыка, пытался он припомнить, не было ли заметно какого-либо движения? Но память не шла на помощь. Внимание! Следует напрячь внимание!

Ему вдруг ужасно захотелось выступить разоблачителем шарлатанства. Он представил себе эффектную сцену, в которой главная роль будет принадлежать ему со Смизерсом: все это на глазах у Этель. И принялся настороженно вглядываться во мрак.

Кто-то опять вздрогнул, на этот раз прямо напротив него. Он почувствовал, что мизинец Лэгьюна завибрировал больше прежнего, и вдруг со всех сторон послышался стук. Тук! — и Люишем сам вздрогнул. Быстрый стук — тук-тук, тук-тук — под столом, под стулом, в воздухе, вдоль карнизов. Медиум вновь застонал, задрожал, и овладевшее им нервное возбуждение передалось всем по цепи. Музыка, которая, казалось, вот-вот стихнет, внезапно опять ожила.

Как это делается?

Он услышал рядом голос Лэгьюна, который, затаив дыхание, с благоговейной почтительностью вопрошал:

— Алфавит? Должны ли мы... Должны ли мы воспользоваться алфавитом?

Громкий стук из-под стола.

— Нет! — истолковал ответ медиум.

Стук раздавался повсюду.

Разумеется, это обман. Нужно только разобраться в его механизме. Люишем удостоверился, что действительно держится за мизинец медиума. Он сосредоточенно вглядывался в сидевшую рядом темную фигуру. Где-то сзади раздался стук, такой сильный, что у него был почти металлический резонанс. Затем стук повсеместно прекратился, и в глубоком молчании была слышна тихая мелодия, лившаяся из музыкальной шкатулки. Но через секунду и она исчезла...

Воцарилось полное безмолвие. Нервы мистера Люишема были теперь взвинчены до предела. Внезапно его охватило сомнение, затем им овладело чувство страха, ощущение нависшей над ним опасности. Тьма давила на него...

Он вздрогнул. На столе что-то зашевелилось. Чем-то звонко ударили по металлу. Послышался какой-то шелест, как при разглаживании бумаги, и шум ветра, хотя воздух в комнате не колыхнулся. Казалось, будто над столом что-то парит.

Лэгьюн от волнения судорожно подергивался; рука медиума трепетала. В темноте на столе появилось какое-то светящееся зеленовато-белое пятно, которое шевелилось и медленно подпрыгивало среди черных теней.

Предмет этот, что бы он собой ни представлял, вдруг подпрыгнул выше и, увеличиваясь в размерах, стал подниматься в воздух. Люишем, как заколдованный, следил за ним. Это было странно, необъяснимо, чудесно. На мгновение он позабыл даже про Этель. Все выше и выше над головой поднимался тускло светящийся предмет, как вдруг он увидел, что это призрачная рука. Она медленно проплыла над столом, казалось, прикоснулась к Лэгьюну—тот весь задрожал. Потом медленно повернулась и дотронулась до Люишема. Он заскрежетал зубами.

Он ощутил — он не сомневался — плотное и в то же время мягкое прикосновение пальцев. Почти в то же мгновение мисс Хейдингер вскрикнула и поспешила объяснить, что ее погладили по волосам, а музыкальная шкатулка внезапно снова заиграла свою мелодию. Еле видный овал тамбурина поднялся в воздух, зазвенел, стукнулся о голову Смизерса, а потом будто проплыл над головами сидевших. И тотчас же за спиной медиума начал со скрипом вращаться на своих колесиках маленький столик.

Невозможно представить, чтобы медиум, сидевший столь неподвижно рядом, мог проделывать все эти штуки, как бы абсурдно нелепы они ни были. Вообще-то говоря...

Призрачная рука парила почти перед самыми глазами мистера Люишема. Она чуть трепетала в воздухе. Ее пальцы то бессильно опускались, то снова сжимались.

Шум! Раздался громкий шум. Что-то двигается? А он? Что он сейчас должен делать?

Люишем вдруг спохватился, что мизинец медиума больше не прикасается к его руке. Он попробовал отыскать его, но не смог. Шаря в темноте, он уцепился за чью-то руку, потом выпустил и ее. Послышалось восклицание. Треск. Совсем рядом кто-то хотел было выругаться, но сдержался на полуслове. Пшш! Зашипев, снова ярко вспыхнул закрученный газовый огонек.

И Люишем увидел круг мигающих от этого шипящего света лиц, обращенных к двум стоящим фигурам. Главной из них был Смизерс; он возвышался торжествующий — одна рука на кране от газового рожка, вторая сжимала руку медиума, в которой тот держал злополучный тамбурин.

— Ну как, Люишем? — вскричал Смизерс. Пламя трепетало, и тени метались по его лицу.

— Попался! — громко сказал Люишем, вставая и избегая глядеть на Этель.

— В чем дело? — закричал медиум.

— В обмане,— выдохнул Смизерс.

— Ничего подобного,— возмутился медиум.— Когда вы зажгли газ... я поднял руку... и поймал тамбурин... он бы упал мне на голову.

— Мистер Смизерс,— воскликнул Лэгьюн,— мистер Смизерс, вам не следовало этого делать. Такое потрясение...

Тамбурин со звоном упал на пол. Медиум изменился в лице, как-то странно застонал и пошатнулся. Лэгьюн крикнул, чтобы принесли стакан воды. На медиума, ожидая, что он вот-вот упадет, смотрели все, за исключением Люишема. Им снова завладела мысль об Этель. Он повернулся, чтобы взглянуть, какое впечатление произвела на нее вся эта сцена разоблачения, в которой он играл далеко не последнюю роль, и увидел, что она перегнулась через стол, стараясь достать какую-то вещь. Она не смотрела на него, она смотрела на медиума. Ее лицо было испуганным и бледным. Затем, почувствовав на себе его взгляд, она подняла голову, и глаза их встретились.

Она вздрогнула, выпрямилась и посмотрела на него со странной враждебностью.

В этот момент Люишем еще ничего не понял. Ему хотелось лишь показать, что он участвовал в разоблачении на равных правах со Смизерсом. Ее жест просто привлек его внимание к предмету, который она пыталась достать; на столе лежала какая-то съежившаяся оболочка— резиновая, надувная перчатка. Как видно, это тоже входило в оборудование спиритического сеанса. Люишем бросился к столу и схватил перчатку.

— Смотрите! — крикнул он, протягивая ее Смизерсу.— Вот еще! Что это такое?

Он заметил, что девушка вздрогнула, и увидел, как Чеффери, медиум, бросил на нее из-за плеча Смизерса укоряющий взгляд. И тут Люишем все понял: она сообщница медиума. А он стоит в торжествующей позе, держа в руке доказательство ее вины! Торжества его как не бывало.

— Ага! — воскликнул Смизерс, перегибаясь через стол и беря у Люишема перчатку.— Молодец старик Люишем! Теперь он у нас в руках. Это еще почище, чем тамбурин.— Его глаза сверкали от восторга.— Видите, мистер Лэгьюн? — спросил Смизерс.— Медиум держал ее в зубах и надувал. Отрицать бессмысленно. Это не падало вам на голову, мистер медиум, а? Это... это светящаяся рука!

ГЛАВА XII

ЛЮИШЕМ ВЕДЕТ СЕБЯ СТРАННО

В тот вечер, направляясь вместе с Люишемом к Челси-стейшн, мисс Хейдингер заметила, что он пребывает в весьма необычном состоянии духа. Сцена, очевидцами которой они оба только что были, оказала на нее глубокое воздействие; некоторое время она искренне верила в существование духов, и состоявшееся разоблачение произвело переворот в ее взглядах. Подробности же случившегося несколько смешались у нее в голове. Люишем, по ее мнению, в этот вечер оказал не меньшую, чем Смизерс, услугу торжеству науки. В общем, настроение у нее было приподнятое. Она не возражала бы против насмешек Люишема, но не могла не сердиться на медиума.

— Ужасно жить ложью! — говорила она.— Как может улучшиться мир, если разумные, образованные люди используют свой разум и знания на то, чтобы вводить в заблуждение других? Ужасно!

— Страшный человек,— продолжала она,— и какой у него вкрадчивый, какой лживый голос! И эта девушка. Так жаль ее! Ей, должно быть, стало ужасно стыдно, иначе с чего бы она расплакалась? Это меня очень расстроило. Представьте, так расплакаться! Это было неподдельное — да! — неподдельное отчаяние. Но чем можно ей помочь?

Она замолчала. Люишем шагал рядом, глядя прямо перед собой и погрузившись в мрачное раздумье.

— Все это напоминает мне «Медиума Сладжа»,— сказала мисс Хейдингер.

Он ничего не ответил.

Она быстро взглянула на него.

— Вы читали «Медиума Сладжа»?

— А? — переспросил он, приходя в себя.— Что? Извините. Медиума Сладжа? А мне кажется, его фамилия — Чеффери.

Он взглянул на нее, очень озабоченный этим вопросом.

— Я говорю о «Сладже» Броунинга. Вы знаете эту поэму?

— Нет, к сожалению, не знаю,— ответил Люишем.

— Надо будет дать вам ее почитать,— сказала она.— Это великолепная вещь. Там разбирается самая суть вопроса.

— Вот как?

— Мне раньше это и в голову не приходило. А теперь я все поняла. Если людям, бедным людям, платят деньги за то, чтобы происходили чудеса, они не в силах устоять. Они вынуждены обманывать. Это подкуп! Это безнравственность!

Она говорила короткими фразами, задыхаясь, потому что Люишем, не заботясь о ней, огромными шагами шел вперед.

— Интересно знать, сколько такие люди могут заработать честным путем?

Этот вопрос медленно дошел до сознания Люишема. Он с трудом отрешился от своих мыслей.

— Сколько они могут заработать честным путем? Понятия не имею.— Он помолчал.— Эта история мне не совсем ясна,— добавил он.— Я должен подумать.

— Все ужасно сложно, не правда ли? — спросила она чуть удивленно.

Остальную часть пути к станции оба молчали. На прощание они обменялись рукопожатием, которым весьма гордились. Люишем, правда, на сей раз был несколько небрежен. Когда поезд двинулся, она еще раз пытливо взглянула на него, стараясь разгадать причину подобного настроения. Он напряженно вглядывался куда-то вдаль, словно уже забыл о ее существовании.

Он должен подумать! Но ведь в таких случаях, полагала она, ум хорошо, а два лучше. Беда, что ей совершенно неведомы его мысли. «Как отгорожены мы друг от друга, как далеки наши души!» — прошептала она, глядя из окна на смутные тени, летевшие навстречу поезду.

Ей вдруг стало тоскливо. Она почувствовала себя одинокой, совсем одинокой в этом огромном мире.

Но вскоре ее мысли вернулись к окружающей действительности. Она заметила, что двое пассажиров из соседнего купе рассматривают ее критически. И рука ее невольно поднялась, чтобы пригладить волосы.

ГЛАВА XIII

ЛЮИШЕМ НАСТАИВАЕТ

Этель Хендерсон сидела за своей машинкой перед окном в кабинете мистера Лэгьюна и безучастно рассматривала серо-синие краски ноябрьских сумерек. Лицо ее было бледно, а веки красны от недавних слез, руки неподвижно лежали на коленях. За Лэгьюном только что захлопнулась дверь.

— Ох,— произнесла она,— хоть бы умереть и избавиться от всего этого!

И снова застыла в неподвижности.

— Интересно,— опять сказала она,— что я сделала дурного и почему должна так страдать?

Казалось бы, на кого-на кого, а на гонимое судьбой создание эта прелестная девушка вовсе не походила. Ее

изящная головка была увенчана темными вьющимися волосами, темными были и тонко вычерченные брови над карими глазами. Пухлые губы красивого рисунка выразительно изгибались, подбородок был маленький, белая шея — полная и красивая. Нет необходимости отдельно говорить о ее носе — он был как раз таким, каким нужно. Среднего роста, скорее плотная, чем худенькая, она была одета в платье с широкими рукавами, сшитое из приятного золотисто-коричневого материала по изящной моде тех времен. Она сидела за машинкой, мечтала умереть и, недоумевая, спрашивала себя, что она сделала дурного.

Все стены комнаты были уставлены книгами; среди них выделялся длинный ряд нелепых претенциозных «трудов» Лэгьюна — бездарного, путаного подражания философии, которому он посвящал свою жизнь. Под самым потолком стояли гипсовые бюсты Платона, Сократа и Ньютона. За спиной Этель находился освещенный электрической лампой под зеленым абажуром письменный стол этого «великого» человека; на столе в беспорядке лежали гранки и номера «Геспера»—«Газеты для сомневающихся», которую он с ее помощью составлял, писал, редактировал, издавал и которую он — уже без ее помощи — финансировал и сам же — без ее помощи — читал. Перо, вонзившись стальным концом в бювар, еще трепетало. Швырнул его сам мистер Лэгьюн.

Случившийся накануне скандал страшно его расстроил, и перед уходом он без конца изливал свой гнев в страстных монологах. Работа всей его жизни, да, всей жизни, погибла! Она, конечно, знала, что Чеффери — мошенник. Не знала? Молчание.

— После всего хорошего...

Она со слезами перебила его:

— О, я знаю, знаю!

Но Лэгьюн был беспощаден и утверждал, что она предала его, хуже того, выставила на посмешище! Как сможет он теперь продолжать «труд», начатый им в Южно-Кенсингтонской школе? Откуда ему взять силы, если его собственная секретарша принесла его в жертву мошенническим проделкам ее отчима? Мошенническим проделкам!

Он взволнованно жестикулировал, серые глаза его от возмущения вылезли из орбит, пронзительный дискант не умолкал ни на минуту.

— Не он, так кто-нибудь другой обманул бы вас,— тихо пробормотала в ответ Этель, но искатель сверхъестественного не услышал ее слов.

Такая кара была, возможно, все же лучше, чем увольнение, зато и продолжалась она дольше. А дома ждал мрачный Чеффери, который злился на нее за то, что она не сумела спрятать надувную перчатку. Он не был вправе возлагать вину на нее, это было несправедливо, но в злобе человеку свойственно пренебрегать справедливостью. То, что тамбурин оказался у него в руке, можно было, утверждал он, объяснить, сказав, что он поднял руку и поймал его у себя над головой, когда задвигался Смизерс. Но для надувной перчатки объяснения не находилось. Притворившись, будто ему стало плохо, он дал ей возможность убрать перчатку. Кто-то в этот момент смотрел на стол? Да чепуха все это!

Рядом с вонзенным в стол пером стояли маленькие дорожные часы в футляре, которые вдруг мелодичным звоном возвестили о том, что уже пять часов. Она повернулась и поглядела на часы. Потом скорбно улыбнулась уголками рта.

— Пора домой,— сказала она.— А там все начнется снова. И так без конца... Отсюда туда, оттуда сюда...

— Я поступила глупо...

— Наверное, я сама виновата. Мне следовало ее убрать. Можно было успеть...

— Мошенники... Обыкновенные жалкие мошенники...

— Мне и в голову не приходило, что я снова увижу его...

— Ему было, конечно, стыдно... Ведь он был со своими друзьями.

Некоторое время она сидела неподвижно, безучастно глядя перед собой. Потом вздохнула, потерла согнутым пальцем покрасневший глаз, встала.

Она прошла в холл, где над жакеткой висела ее шляпа, пронзенная двумя булавками; надела жакет и шляпу и вышла в холодный мрак.

Не успела она пройти от дома Лэгьюна и двадцати ярдов, как почувствовала, что какой-то человек догнал

ее и шагает рядом. Такие вещи не в диковинку для лондонских девушек, ежедневно шагающих на работу и с работы, и ей волей-неволей многому пришлось научиться со времени своих хортлийских подвигов. Она напряженно глядела перед собой. Тогда мужчина обогнал ее и загородил дорогу, и ей пришлось остановиться. Она с возмущением подняла глаза. Перед ней стоял Люишем. Он был бледен. С минуту он неуклюже топтался на месте, затем молча подал ей руку. Она машинально протянула ему свою. Наконец он обрел голос.

— Мисс Хендерсон! — сказал он.

— Что вам угодно? — чуть слышно спросила она.

— Не знаю,— ответил он.— Я хотел поговорить с вами.

— Да? — Ее сердце учащенно забилось.

Он вдруг почувствовал, что ему трудно говорить.

— Разрешите мне... Вы ждете омнибус?.. Вам далеко идти? Мне хотелось бы поговорить с вами. Есть много...

— Я хожу в Клэпхем пешком,— ответила она.— Если хотите... пройти часть пути...

Она не знала, как себя вести. Люишем пристроился сбоку, и некоторое время, взволнованные, они неловко шагали рядом; им надо было так много сказать друг другу, но они не могли подыскать слов, чтобы начать разговор.

— Вы забыли Хортли? — внезапно спросил он.

— Нет.

Он взглянул на нее. Она шла, опустив голову.

— Почему вы ни разу не написали? — с горечью спросил он.

— Я написала.

— Еще раз, хочу я сказать.

— Я написала, в июле.

— Я не получил письма...

— Оно пришло обратно.

— Но миссис Манди...

— Я забыла ее фамилию и послала письмо на школу.

Люишем едва удержался от восклицания.

— Мне очень жаль,— сказала она.

Они снова шли молча.

— Вчера вечером...— наконец заговорил Люишем.— Я не имею права спрашивать. Но...

Она глубоко вздохнула.

— Мистер Люишем,— сказала она, — человек, которого вы видели... медиум... мой отчим.

— И что же?

— Разве этого не достаточно?

Люишем помедлил.

— Нет,— наконец ответил он.

Снова наступило напряженное молчание.

— Нет,— повторил он, на этот раз более уверенно.— Мне совершенно безразлично, что делает ваш отчим. Вы сами принимали участие в обмане?

Она побледнела. Ее рот открылся, потом снова закрылся.

— Мистер Люишем,— медленно начала она,— можете мне не верить, это кажется невероятным, но, клянусь честью... Я не знала, то есть наверняка не знала... что мой отчим...

— Ага! — вскричал Люишем, сразу загоревшись.— Значит, я был прав...

Секунду она смотрела на него.

— Я знала.— Она вдруг заплакала.— Как мне вам объяснить? Это неправда. Я знала. Я знала все время.

Он уставился на нее в крайнем изумлении, даже отстал на шаг, но тотчас снова догнал. Наступило молчание, молчание, которому, казалось, не будет конца. Вся превратившись в ожидание, не смея даже взглянуть ему в лицо, она больше не плакала.

— Пусть, — наконец медленно сказал он. — Пусть даже так. Мне все равно.

Они свернули на Кингс-роуд, шумную от беспрерывного движения экипажей, от быстрого потока пешеходов, и тотчас набежавшая ватага мальчишек, волочивших растрепанное чучело Гая Фокса [1], разлучила их. На оживленной вечерней улице всегда приходится переговариваться отрывистыми выкриками или просто молчать. Он посмотрел на нее и увидел, что лицо ее снова приняло суровое выражение. Но вот из шумной толкотни она

---

[1] Фокс, Гай — один из участников Порохового заговора в Лондоне в 1605 году. День открытия Порохового заговора, 5 ноября, долго был в Англии народным праздником, во время которого сжигались чучела Гая Фокса.

свернула на темную улицу, где на окнах домов были спущены шторы, и они смогли продолжить свой разговор.

— Я понимаю, что вы хотели сказать,— начал Люишем.— Я уверен, что понял вас, вы знали, но не хотели знать. Что-то в этом роде.

Но она успела принять решение.

— В конце этой улицы,— сказала она, глотая слезы,— вам придется повернуть обратно. Спасибо за то, что вы пришли, мистер Люишем. Но вам было стыдно, конечно, вам стыдно. Мой хозяин занимается спиритизмом, мой отчим — профессиональный медиум, и моя мать занимается спиритизмом. Вы были совершенно правы, не заговорив со мной вчера вечером. Совершенно. Спасибо, что вы пришли, но теперь вам придется уйти. Жизнь и так достаточно жестока... В конце улицы вы должны повернуть обратно. В конце улицы...

Добрую сотню ярдов Люишем не отвечал.

— Я иду с вами в Клэпхем,— сказал он.

До конца улицы они дошли молча. На углу она повернулась и посмотрела на него.

— Уходите,— шепнула она.

— Нет,— упрямо сказал он. Они стояли лицом к лицу; это была решительная минута в их жизни.

— Выслушайте меня,— продолжал Люишем.— Мне трудно объяснить, что́ я чувствую. Я сам не знаю... Но я не согласен вот так потерять вас. Я не хочу, чтобы вы снова ускользнули от меня. Я всю ночь не спал из-за этого. Мне безразлично, где вы живете, кто ваши родные и принимали или не принимали вы участие в этом спиритическом мошенничестве. Даже это мне безразлично. Больше, во всяком случае, вы этого делать не будете. Что бы там ни было. Я думал всю ночь и весь день. Я должен был прийти и разыскать вас. И я вас нашел. Я никогда вас не забывал. Никогда. И, пожалуйста, не думайте, что я вас послушаюсь и уйду.

— Ни мне, ни вам это ни к чему,— сказала она не менее решительно, чем он.

— Я вас не покину.

— Но это бесполезно...

— Я иду,— заявил Люишем.

И он пошел.

Он весьма категорически задал ей вопрос, она же не ответила ему, и некоторое время они шли в угрюмом молчании. Наконец она заговорила, и губы ее дрожали.

— Лучше бы вам оставить меня,— сказала она.— Мы с вами совсем разные люди. Вы почувствовали это вчера вечером. Вы помогли вывести нас на чистую воду...

— Когда я только приехал в Лондон, я целыми неделями бродил по Клэпхему, разыскивая вас,—сказал Люишем.

Они перешли через мост и заговорили только, когда очутились на узкой улочке с убогими лавчонками, что находится возле Клэпхемской станции. Она шла, отвернувшись, лицо ее было безучастным.

— Мне очень жаль,— начал Люишем с какой-то церемонной вежливостью,— если вы считаете мое поведение навязчивым. Я не хочу вмешиваться в ваши дела, если вы этого не желаете. При виде вас мне почему-то многое пришло на память... Я не могу этого объяснить. Возможно, я просто не мог не прийти и не разыскать вас, я все время вспоминал ваше лицо, вашу улыбку, и как вы спрыгнули тогда с калитки у шлюза, и как мы пили с вами чай... И многое-многое другое.

Он снова замолчал.

— И многое-многое другое.

— Если вы позволите, я пойду с вами дальше,— добавил он и продолжал путь, не получив ответа.

Они пересекли широкую улицу и свернули к пустырю.

— Я живу в этом переулке,— сказала она, неожиданно останавливаясь на углу.— Я предпочла бы...

— Но я еще ничего не сказал.

Она смотрела на него, лицо ее побледнело, с минуту она не могла произнести ни слова.

— Это ни к чему,— проговорила она.— Я связана со всем этим...

Она замолчала.

— Я приду,— выразительно сказал он,— завтра вечером.

— Нет,— возразила она.

— Я приду.

— Нет,— прошептала она.

— Я приду.

Она больше не могла таить от себя охватившую ее сердце радость. Она была напугана его приходом, но рада и знала, что ему известна ее радость. Она больше не возражала и молча протянула ему руку. А на следующий день он, как и сказал, ждал ее у подъезда.

ГЛАВА XIV

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИСТЕРА ЛЭГЬЮНА

Три дня Лэгьюна не было видно в лаборатории Южно-Кенсингтонской школы. Наконец он пришел, и пришел еще более речистым и самоуверенным, чем прежде. Все думали, что он откажется от старых взглядов, он же только укрепился в своей вере и продолжал беззастенчиво ее проповедовать. Из какого-то никому не ведомого источника он почерпнул новые силы и убежденность. Даже красноречие Смизерса оказалось перед ним бессильным. За чаем, для которого, как всегда, не хватило чашек, опять разгорелась жаркая битва. Ею заинтересовался даже почтенного вида молодой ассистент профессора, наслаждаясь, по-видимому, затруднительным положением Смизерса. Ибо сначала Смизерс был самоуверен и снисходителен, но под конец уши его горели, а от хороших манер не осталось и следа.

Люишем, как заметила мисс Хейдингер, играл в этой дискуссии весьма незавидную роль. Раза два он как будто намеревался что-то сказать, обращаясь к Лэгьюну, но тут же отказывался от своего намерения, и слова замирали у него на губах.

К скандальному разоблачению Лэгьюн относился довольно спокойно и громогласно выступил в защиту медиума.

— Этот Чеффери,— заявил он,— чистосердечно во всем признался. Его точка зрения...

— Факты остаются фактами,— перебил его Смизерс.

— Факт есть синтез впечатлений,— отпарировал Лэгьюн,— но это вам станет понятно только с возрастом. Все дело в том, что мы с ним действовали несогласованно. Я сказал Чеффери, что вы новички. Он и обошелся с вами, как с новичками: устроил показательный сеанс.

— Весьма показательный,— заметил Смизерс.

— Вот именно. И если бы не ваше вмешательство...

— А!

— Он подстроил только самые элементарные эффекты...

— Подстроил. Этого вы не можете не признать.

— Я и не пытаюсь отрицать. Но, как он объяснил, это было необходимо и вполне оправдано. Спиритические явления трудноуловимы, для них требуется определенный навык в умении наблюдать. Медиум — более тонкий инструмент, чем весы или шарик буры, а сколько проходит времени, прежде чем вы научитесь получать точные результаты анализа с применением буры? В начальной стадии, во вступительной фазе условия слишком незрелы...

— Для честности.

— Подождите секунду. Разве не честно заранее подстроить демонстрацию опыта?

— Разумеется, нечестно.

— Но ваши профессора это делают.

— Я отрицаю это in toto [1],— заявил Смизерс и с довольным видом повторил: — In toto.

— Ну, хорошо,— сказал Лэгьюн,— но я располагаю фактами. Ваши преподаватели химии — можете пойти вниз и спросить, если не верите мне,— всегда подделывают опыты, связанные с законом сохранения вещества. Или возьмем другое — географию. Знаете ли этот опыт? Демонстрацию вращения Земли. Они используют... Они используют...

— Маятник Фуко,— подсказал Люишем.— Берут резиновый мяч с дырочкой и, сдавливая его в руке, придают маятнику нужное направление.

— Это совсем другое,— возразил Смизерс.

— Подождите секунду,— повторил Лэгьюн и достал из кармана сложенный листок бумаги, на котором был напечатан какой-то текст.— Вот статья из журнала «Природа» о работе самого профессора Гринхилла. Видите, в аппарате есть специальный стержень для наглядной демонстрации принципа возможных перемещений! Прочтите сами, если не верите мне. Вы ведь, кажется, мне не верите?

---

[1] Полностью *(лат.)*.

Смизерс решил отказаться от своего отрицания in toto.

— Я говорю совсем не об этом, мистер Лэгьюн, совсем не об этом,— сказал он.— Назначение опытов во время лекций состоит не в доказательстве фактов, а в том, чтобы внушить новые понятия.

— Это же преследовалось и на нашем сеансе,— заявил Лэгьюн.

— Нам все это представилось несколько иначе.

— Обычному слушателю лекции по естествознанию тоже все представляется иначе. Он убежден, что видит явление собственными глазами.

— Все равно,— сказал Смизерс,— злом зла не поправишь. А фальсификация опытов — зло.

— В этом я с вами согласен. Я откровенно поговорил с Чеффери. Он ведь не настоящий профессор, не высокооплачиваемое светило истинной науки, как здешние фальсификаторы опытов — профессора, поэтому с ним можно говорить откровенно: он не обидится. Он придерживается того же мнения, что и они. Я более строг. Я настаиваю, чтобы этого больше не было...

— В следующий раз,— насмешливо подсказал Смизерс.

— Следующего раза не будет. Я покончил с элементарными демонстрациями. Вы должны поверить слову тренированного наблюдателя, как верите преподавателю на занятиях по химическому анализу.

— Вы хотите сказать, что станете продолжать опыты с этим субъектом, хотя его и поймали с поличным под самым вашим носом?

— Разумеется. А почему бы и нет?

Смизерс принялся объяснять, почему нет, и запутался.

— Я все же верю, что у этого человека есть особые способности,— сказал Лэгьюн.

— Обманывать,— добавил Смизерс.

— А это придется исключать,— сказал Лэгьюн.—Вы можете с таким же успехом отказаться от изучения электричества только потому, что его нельзя подержать в руках. Всякая новая наука неуловима. Ни один здравомыслящий исследователь не откажется исследовать какое-либо соединение только потому, что получаются неожиданные результаты. Или это вещество

растворяется в кислоте, или мне нет до него никакого дела, так? Прекрасное исследование!

И вот тут-то исчезли последние остатки вежливости Смизерса.

— Мне плевать на то, что вы говорите! — закричал он.— Все это ерунда, сплошная ерунда. Доказывайте, если хотите, но разве вы кого-нибудь убедили? Поставить на голосование?

— Чрезвычайно демократично,— заметил Лэгьюн.— Всеобщие выборы истины в полгода раз, а?

— Не увиливайте,— сказал Смизерс.— Демократия тут ни при чем.

Раскрасневшийся, но веселый Лэгьюн спускался уже вниз, когда его догнал Люишем. Люишем был бледен и запыхался, но поскольку лестница всегда утомляла Лэгьюна, то он не заметил волнения молодого человека.

— Интересный разговор,— выдохнул Люишем.— Очень интересный разговор, сэр.

— Искренне рад, что вам понравилось,— ответил Лэгьюн.

Наступило молчание, а затем Люишем решился на отчаянный шаг.

— Там у вас была молодая леди... Ваша секретарша...

Он остановился, ибо у него окончательно перехватило дыхание.

— Да? — удивился Лэгьюн.

— Она тоже медиум или что-нибудь в этом роде?

— Видите ли,— задумался Лэгьюн,— нет, она не медиум. Но... Почему вы спрашиваете?

— О!.. Мне просто интересно.

— Вы, наверное, заметили ее глаза. Она падчерица этого Чеффери, странная натура, но, бесспорно, одаренная медиумической силой. Удивительно, что вы обратили на это внимание. Признаться, я и сам подумывал, что, судя по ее лицу, она обладает даром духовидения.

— Чего?

— Духовидения — неразвитым, конечно. Мне это неоднократно приходило в голову. Вот только недавно я говорил о ней с Чеффери.

— Вот как?

— Да. Ему бы, естественно, хотелось видеть всякий скрытый талант развитым. Но начать, знаете ли, немного трудно.

— Она не желает, хотите вы сказать?

— Пока нет. Она хорошая девушка, но в этом отношении несколько робка. В ней замечается некоторое сопротивление — какое-то странное свойство,— можно его назвать, пожалуй, скромностью.

— Понятно,— сказал Люишем.

— Его обычно удается преодолеть. Я не теряю надежды.

— Да,— коротко согласился Люишем. Они были уже у подножия лестницы, и Люишем остановился в нерешительности.— Вы дали мне пищу для размышлений,— сказал он, стараясь казаться спокойным.— То, о чем вы говорили наверху...—И хотел отойти, чтобы расписаться в книге.

— Я рад, что вы не заняли такой непримиримой позиции, как мистер Смизерс,— сказал Лэгьюн,— очень рад. Я должен дать вам кое-что почитать. Если, конечно, у вас остается свободное время от всей этой зубрежки.

— Спасибо,— коротко поблагодарил Люишем и отошел.

Его замысловатая, с росчерком подпись на сей раз дрогнула и полезла куда-то вбок.

— Будь я проклят, если ему удастся это преодолеть,— сквозь зубы процедил Люишем.

ГЛАВА XV

ЛЮБОВЬ НА УЛИЦАХ

Люишем не совсем ясно представлял себе, какой план действий избрать в борьбе против замыслов Лэгьюна, да и вообще особой ясности в голове у него не было. Его логика, его чувства и воображение словно на смех тянули его в разные стороны. Казалось, должно было произойти что-то очень важное, а на самом деле все свелось лишь к тому, что он ежевечерне, а точнее, в течение шестидесяти семи вечеров кряду провожал Этель домой. Весь ноябрь и декабрь, каждый вечер, за исключением

одного, когда ему пришлось отправиться на окраину Ист-Энда купить себе пальто, он ждал ее у подъезда, чтобы потом проводить домой. То были странные, какие-то незавершенные прогулки, на которые он торопился изо дня в день, полный смутных надежд, а они неизменно оставляли у него в душе странный осадок разочарования. Начинались они ровно в пять у дома Лэгьюна и таинственно заканчивались на углу одного из Клэпхемских переулков, по которому она уходила одна между двумя рядами желтых домишек с глубокими подвалами и уродливыми каменными розетками на фасадах. Каждый вечер она уходила в серый туман и исчезала во мраке, позади тусклого газового фонаря, а он смотрел ей вслед, вздыхал и возвращался к себе домой.

Они говорили о разных мелочах, обменивались пустяковыми, незначительными фразами о себе, о своей жизни и своих вкусах, но всегда в этих беседах оставалось нечто недоговоренное, невысказанное, что делало все остальное нереальным и неискренним.

Тем не менее из этих разговоров он начал смутно представлять себе дом, в котором она жила. Прислуги у них, разумеется, не было, а мать ее была каким-то жалким, запуганным существом, способным лишь пасовать перед неприятностями. Иногда она вдруг становилась словоохотлива: «Мама порой любит поговорить». Она редко выходила из дому. Чеффери вставал поздно и, случалось, пропадал по целым дням. Он был скуп, выдавал на хозяйство всего двадцать пять шиллингов в неделю, поэтому частенько им было трудно свести концы с концами. Мать и дочь, по-видимому, были не слишком дружны; во время своего вдовства мать обнаружила некоторую ветреность, отчего репутация ее частично пострадала, а брак с Чеффери, который много лет жил у нее и столовался, вызвал немало пересудов. Чтобы ей легче было выйти замуж, она и отправила Этель в Хортли — и тем как бы соблюла приличия. Но вся эта жизнь шла где-то далеко, в самом конце того длинного, плохо освещенного переулка на окраине, ежевечерне поглощавшего Этель, и потому представлялась Люишему нереальной. Прогулка, дыхание Этель, блеск ее глаз, легкие ее шаги рядом, ее ясный голосок и прикосновение ее руки — вот это была реальность.

Однако на всем этом лежала тень Чеффери и его мошенничества, порой чуть заметная, порой же густая и упорно напоминающая о себе. Тогда Люишем становился настойчивым, сентиментальные воспоминания прекращались, и он задавал вопросы, подводившие его к самой бездне сомнений. Помогала ли она когда-нибудь Чеффери? Нет, отвечала она. Но дома она два раза садилась за стол «пополнить цепь». Она больше никогда не будет этого делать. Это она обещает твердо, если комунибудь нужны ее обещания. Дома уже был страшный скандал из-за разоблачения у Лэгьюна. Мать стала на сторону отчима и вместе с ним бранила Этель. Но за что было ее бранить?

— Разумеется, не за что,— отвечал Люишем.

Лэгьюн, как узнал он от нее, три дня после сеанса терзался сомнениями и угрызениями совести, отводя душу в бесконечных монологах, единственной слушательницей которых (за двадцать один шиллинг в неделю) была Этель. Затем он решил как следует отчитать Чеффери за обман, приведший к столь горестным последствиям. Но в результате Чеффери отчитал Лэгьюна. Смизерс, сам того не ведая, в сущности, потерпел поражение от человека более умного, нежели Лэгьюн, хотя мысли этого человека и были выражены дискантом Лэгьюна.

Этель не по душе были разговоры о Чеффери и обо всех этих делах.

— Если бы вы знали, как бы мне хотелось забыть про это,— часто говорила она, — и просто погулять вдвоем с вами.— Или: — Что толку продолжать эти разговоры? — когда Люишем становился особенно настойчив.

Люишему иногда очень хотелось продолжать эти разговоры, но объяснить, какой от них толк, было несколько затруднительно. Поэтому ситуация так и оставалась до конца не выясненной, а недели шли одна за другой.

Удивительно разнообразными казались ему эти шестьдесят семь вечеров, когда он впоследствии их припоминал. Порой бывало сыро, моросил дождь, сменявшийся густым туманом, который дивной серо-белой пеленой повисал вокруг, словно стеной огораживая их на каждом шагу. Поистине нельзя было не радоваться чудесным этим туманам, ибо за ними исчезали презрительные взгляды,

бросаемые прохожими на шедшую под руку молодую пару, и можно было позволить себе тысячу многозначительных дерзостей, то пожимая, то ласково поглаживая маленькую руку в штопанной-перештопанной перчатке из дешевой лайки. И тогда совсем близко ощущалось неуловимое нечто, связывавшее воедино все, что с ними происходило. И опасности, подстерегающие на перекрестках: внезапно возникающие из мрака прямо над ними лошадиные головы с фонариками на дугах, и высокие фургоны, и уличные фонари — расплывшиеся дымчато-оранжевые пятна, если смотреть на них вблизи, и исчезающие в туманной мгле, стоит лишь отойти на двадцать шагов,— все это настоятельно говорило о том, как нуждается в защите эта хрупкая молоденькая девушка, уже третью зиму вынужденная в одиночку шагать сквозь туманы и опасности. Мало того, в туман можно было пройти по тихому переулку, в котором она жила, и, затаив дыхание, приблизиться чуть ли не к самому ее крыльцу.

Но туманы вскоре сменились суровыми морозами, когда ночи высвечены звездами или залиты сиянием луны, когда уличные фонари сверкают, словно цепочки желтых самоцветов, а от их льдистых отражений и блеска магазинных витрин режет глаза и когда даже звезды, суровые и яркие, уже не мерцают, а словно бы потрескивают на морозе. Летнее пальто Этель сменил жакет, опушенный искусственным каракулем, а ее шляпу — круглая каракулевая шапочка, из-под которой сурово и ярко сияли ее глаза и белел лоб, широкий и гладкий. Чудесными были эти прогулки по морозу, но они слишком быстро кончались, поэтому путь от Челси до Клэпхема пришлось удлинить петлей по боковым улочкам, а потом, когда первые мелкие снежинки возвестили о приближении рождества, наши молодые люди стали ходить еще дальше по Кингс-роуд, а раз даже по Бромтон-роуд и Слоан-стрит, где магазины полны елочных украшений и разных занимательных вещей.

Из остатков своего капитала в сто фунтов мистер Льюишем тайком истратил двадцать три шиллинга. Он купил Этель золотое с жемчужинками колечко и при обстоятельствах, крайне торжественных, вручил его ей. Для этого требуется особый церемониал, и потому на краю заснеженного, окутанного туманом пустыря она сняла

перчатку, и кольцо было надето на палец, после чего Люишем наклонился и поцеловал ее замерзший пальчик с испачканным чернилами ногтем.

— Мы ведем себя глупо,— сказала она.— Что с нами будет?

— Подождите,— ответил он, и в голосе его звучало обещание.

Затем он серьезно поразмыслил надо всем этим и както вечером снова заговорил на ту же тему, подробно описывая ей все блестящие перспективы, которые открываются перед выпускником Южно-Кенсингтонской школы,— можно стать директором школы, преподавать гденибудь в колледже на севере Англии, можно получить должность инспектора, ассистента, даже профессора. А потом, а потом... Все это она слушала недоверчиво, но охотно, мечты одновременно и пугали и восхищали ее.

Жемчужное колечко было надето на палец, разумеется, всего лишь ради обряда; она не могла показаться с ним ни у Лэгьюна, ни дома, поэтому ей пришлось продеть сквозь него шелковую ленточку и носить его на шее, «возле сердца». Люишему приятно было думать о том, что колечку «тепло возле ее сердца».

Покупая это кольцо, он имел намерение подарить ей его на рождество. Но желание видеть, как она обрадуется, оказалось слишком сильным.

Весь сочельник — трудно сказать, как ей удалось обмануть своих,— молодые люди провели вместе. Лэгьюн лежал с бронхитом, поэтому у его секретарши день оказался незанятым. Возможно, она просто позабыла упомянуть об этом дома. В Королевском колледже уже начались каникулы, и Люишем был свободен. Он отклонил приглашение дяди-водопроводчика: «работа» вынуждает его остаться в Лондоне, сказал он, хотя пребывание в городе означало фунт, а то и более лишних расходов. В сочельник эти неразумные молодые люди прошли пешком шестнадцать миль и расстались разогревшиеся, с пылающими щеками. В тот день стоял крепкий мороз, сыпал легкий снежок, небо было тускло-серым, на уличных фонарях висели сосульки, а на тротуары легли ветвистые морозные узоры, которые к вечеру под ногами прохожих превратились в ледяные дорожки. Они знали, что Темза под рождество являет собой удивительное

зрелище, но ее они приберегли на потом. Сначала они отправились по Бромтон-роуд...

Представьте же себе их на улицах Лондона. Люишем был в пальто из магазина готового платья — синем с бархатным воротником, в грязных кожаных перчатках, с красным галстуком и в котелке; а Этель — в жакете, который она уже носит два года, и каракулевой шапочке; разрумянившиеся на морозе, они идут все дальше, ни за что не желая пропускать ни одного интересного зрелища, и иногда он, немного смущаясь, берет ее под руку. На Бромтон-роуд много магазинов, но разве можно их сравнить с теми, что на Пикадилли? На Пикадилли были витрины, настолько забитые всевозможными дорогими безделушками, что перед ними приходилось простаивать не меньше пятнадцати минут; лавки, где продавались рождественские открытки, и мануфактурные магазины, и всюду в окнах эти смешные забавы. Даже Люишем, несмотря на свою прежнюю вражду к классу покупателей, оттаял; Этель же была искренне увлечена всеми этими пустяками.

Затем они пошли по Риджент-стрит, мимо магазинов с поддельными бриллиантами, мимо парикмахерских, где выставляют напоказ длинные волосы, мимо витрины, в которой бегают крошечные цыплята, потом по Оксфорд-стрит, Холборну, Ледгейт-хиллу, мимо кладбища при соборе святого Павла к Лиденхоллу и рынкам, где в тысячу рядов были развешаны индейки, гуси, утки и цыплята, но преимущественно индейки.

— Я должен вам что-нибудь купить,— сказал Люишем, возобновляя разговор.

— Нет, нет,— отказывалась Этель, не сводя глаз с бесчисленных рядов битой птицы.

— Но я должен,— настаивал Люишем.— Лучше выберите сами, иначе я куплю что-нибудь не то.

В уме у него были броши и фермуары.

— Не нужно тратить деньги, и, кроме того, у меня уже есть то кольцо.

Но Люишем был неумолим.

— Тогда... Если уж вам непременно хочется... Я умираю с голоду... Купите мне что-нибудь поесть.

Вот смешно-то! Люишем, не колеблясь, щедрым жестом халифа распахнул перед нею дверь в ресторан, где

стояла благоговейная тишина и на столиках возвышались белые конусы салфеток. Они съели отбивные котлеты — обглодали их до косточки — с мелко нарезанным хрустящим картофелем и выпили вдвоем целых полбутылки какого-то столового вина, наугад выбранного Люишемом по карте. Ни он, ни она никогда раньше не обедали с вином. Вино обошлось ему ни много ни мало в шиллинг девять пенсов, и называлось оно не как-нибудь, а «Капри»! Это было довольно сносное «Капри», несомненно, крепленое, но согревающее и ароматное. Этель была поражена этой роскошью и выпила целых полтора стакана.

Затем, согревшись, в наилучшем расположении духа, они прошли мимо Тауэра, и Тауэрский мост с его снежным гребнем, огромными ледяными сосульками и застрявшими в боковых пролетах глыбами льда являл собой поистине рождественское зрелище. И поскольку они уже вдоволь нагляделись на магазины и толпу, то решительно зашагали вдоль набережной по направлению к дому.

Действительно, в том году Темза была великолепна! Обледеневшая по берегам, с плавучими льдинами посредине, в которых отражались алые отблески огромного заходящего солнца, она медленно, неуклонно плыла к морю. Над рекой металась стая чаек, а заодно с ними голуби и вороны. Окутанные туманом здания на Саррейской стороне казались серыми и таинственными, пришвартованные к берегу, обросшие льдом баржи молчаливы и пустынны, лишь изредка можно было увидеть освещенное теплом окошко. Солнце, опустившись, погрузилось прямо в синеву, и Саррейский берег совсем растаял в тумане, если не считать нескольких непокорных пятнышек желтого света, которых с каждой секундой становилось все больше. А после того как наши влюбленные прошли под мостом у Черинг-кросс, перед ними в конце большого полумесяца из золотистых фонарей, где-то посредине между небом и землей, предстали еле различимые в голубоватой дымке здания Парламента. И часы на Тауэре были похожи на ноябрьское солнце.

Это был день без единого пятнышка, ну разве что с пятнышком самым крохотным. И то появилось оно в конце.

— До свидания, дорогой,— сказала она.— Я была очень счастлива сегодня.

Его лицо приблизилось к ее лицу.

— До свидания,— ответил он, пожимая ей руку и заглядывая в глаза.

Она оглянулась и прижалась к нему.

— Любимый,— шепнула она одними губами, а потом добавила: — До свидания.

Внезапно Люишем неведомо отчего вспыхнул и выпустил ее руку.

— Вот всегда так. Мы счастливы. Я счастлив. А потом... потом вам нужно уходить...

Наступило молчание, полное немых вопросов.

— Милый,— шепнула она,— мы должны ждать.

Минутное молчание.

— Ждать? — повторил он и замолчал. Он был в нерешительности.— До свидания,— сказал он, вновь обрывая нить, которая связывала их воедино.

ГЛАВА XVI

ТАЙНЫЕ МЫСЛИ МИСС ХЕЙДИНГЕР

Дороги из Челси в Клэпхем и из Южного Кенсингтона в Баттерси, особенно если первая специально идет в обход, чтобы быть немного подлиннее, пролегают очень близко друг от друга. Однажды вечером, незадолго до рождества, две сокурсницы Люишема встретили его вместе с Этель. Люишем их не заметил, потому что смотрел только на Этель.

— Видали? — не без тайного умысла спросила одна у другой.

— Как будто мистер Люишем? — отозвалась мисс Хейдингер тоном полнейшего равнодушия.

Мисс Хейдингер сидела в комнате, которую ее младшие сестры называли «святая святых». Эта комната представляла собой не что иное, как интеллектуальную спальню, в которой серебряные розы на дешевых обоях кокетливо переглядывались из-за спинок мягких кресел. Предметами особой гордости владелицы сей обители слу-

жили стоявший посредине комнаты письменный стол и установленный на шатком восьмиугольном столике возле окна микроскоп. На стенах размещались книжные полки — изделия явно женских рук, судя по их украшениям и шаткости конструкций, а на них — множество томиков с золотыми корешками: стихи Шелли, Россетти, Китса и Броунинга, а также разрозненные тома сочинений Рёскина, сборник проповедей, социалистические брошюры в рваных бумажных обложках и, кроме того, подавляющее изобилие учебников и тетрадей. Развешанные на стенах автотипии красноречиво свидетельствовали об эстетических устремлениях их владелицы и о некоторой ее слепоте к внутреннему смыслу произведений искусства. Среди них были «Зеркало Венеры» Бёрн-Джонса, «Благовещение» Россети, «Благовещение» Липпи и «Иллюзии жизни» и «Любовь и смерть» Уотса[1]. Среди фотографий был и снимок комитета Дискуссионного клуба, на котором в центре тускловато улыбался Люишем, а мисс Хейдингер с правой стороны получилась не в фокусе. Мисс Хейдингер сидела спиной ко всем этим сокровищам в черном кожаном кресле и, опершись подбородком на руку, воспаленными глазами смотрела в огонь.

— Могла бы догадаться раньше,— говорила она.— После того сеанса все стало по-другому...

Она горько улыбнулась.

— Какая-нибудь продавщица...

— Все они одинаковы,— размышляла она.— Потом возвращаются чуточку подпорченными, как говорит та женщина из «Веера леди Уиндермир». Быть может, вернется и он. Кто знает...

— Но почему он так хитрит со мной? Почему он скрывает?

— Хорошенькая, хорошенькая, хорошенькая — вот все, что им надо. Какой мужчина усомнится в выборе? Он идет своим путем, думает по-своему, делает по-своему...

— Он отстал по анатомии. Разумеется, ведь он ничего не записывает...

[1] Картины художников-прерафаэлитов XIX века.

Долгое время она молчала. Ее лицо стало еще более сосредоточенным. Она начала кусать большой палец, сначала медленно, потом быстрее. И наконец разразилась новой тирадой:

— А сколько он мог бы сделать! Он способный, настойчивый, сильный. И вот появляется смазливое личико! О боже! Почему ты даровал мне сердце и разум?

Она вскочила, стиснула руки, лицо ее исказилось. Но слез не было.

И тут же она поникла. Одна рука безвольно опустилась, другая облокотилась на каминную доску, и она снова устремила взгляд в яркое пламя.

— Подумать только, сколько мы могли бы сделать! Это сводит меня с ума!

— Нужно работать, думать и учиться. Надеяться и ждать. Презирать мелочные ухищрения,.к которым прибегают женщины, верить в здравый смысл мужчины...

— И проснуться одураченной старой девой,— добавила она,— убедившись, что жизнь прошла!

Теперь ее лицо, ее поза выражали жалость к самой себе.

— Все напрасно...

— Все бесполезно...— Голос ее сорвался.

— Я никогда не буду счастлива...

Картина того величественного будущего, которую она лелеяла, отодвинулась и исчезла, все более и более прекрасная по мере удаления, как сон в минуту пробуждения. А на смену ей пришло видение неизбежного одиночества, ясное и четкое. Она видела себя бесконечно жалкой, одинокой и маленькой в огромной пустыне и Люишема, который уходил все дальше и дальше, не обращая на нее никакого внимания. «С какой-то продавщицей». Хлынули слезы, быстрее, быстрее, они залили все лицо. Она повернулась, словно чего-то ища, потом упала на колени перед маленьким креслом и, всхлипывая, принялась бессвязно шептать молитву, прося у бога жалости и утешения.

На следующий день одна из студенток биологического курса заметила своей приятельнице, что «Хейдингер снова растрепана». Ее подружка оглядела лабораторию.

— Плохой признак,— согласилась она.— Честное слово... Я не могла бы... ходить с такой прической.

Она продолжала критическим оком рассматривать мисс Хейдингер. Это было нетрудно, потому что мисс Хейдингер стояла, задумавшись, и глядела в окно на декабрьский туман.

— Какая она бледная! — сказала первая девица.— Наверное, много работает.

— А что от этого толку? — сказала ее приятельница.— Вчера я спросила у нее, какие кости составляют теменную часть черепа, и она не знала. Ни одной.

На следующий день место мисс Хейдингер оказалось свободным. Она заболела — от переутомления, и болезнь ее продолжалась до тех пор, пока до экзаменов не осталось всего три недели. Тогда она вернулась, бледная, полная деятельной, но бесплодной энергии.

ГЛАВА XVII

В РАФАЭЛЕВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ

Еще не было трех, но в биологической лаборатории горели все лампы. Студенты работали вовсю, бритвами делая срезы с корня папоротника для исследования под микроскопом. Один молчаливый, чем-то напоминающий лягушку юноша, вольнослушатель, который в дальнейшем не будет играть никакой роли в нашем повествовании, трудился изо всех сил, и оттого в его сосредоточенном, скромном лице лягушачьего было еще больше, чем обычно. Место позади мисс Хейдингер, у которой снова, как и прежде, был неряшливый и небрежный вид, пустовало, стоял микроскоп, за которым никто не работал, в беспорядке валялись карандаши и тетради.

На двери висел список выдержавших экзамены за первый семестр. Во главе списка красовалась фамилия вышеупомянутого лягушкоподобного юноши, за ним, объединенные общей скобкой, шли Смизерс и одна из студенток. Люишем бесславно возглавлял тех, кто сдал по второму разряду, а фамилия мисс Хейдингер вообще не упоминалась, ибо, как извещал список, «один из студен-

тов не выдержал экзаменов». Так приходится расплачиваться за высокие чувства.

А в пустынных просторах музейной галереи, где экспонировались этюды Рафаэля, сидел погруженный в угрюмые размышления Люишем. Небрежной рукой он дергал себя за теперь уже явно заметные усы, особое внимание уделяя их концам, достаточно длинным, чтобы их кусать.

Он пытался отчетливо представить себе создавшееся положение. Но поскольку он остро переживал свою неудачу на экзаменах, то, естественно, разум его не в состоянии был работать ясно. Тень этой неудачи лежала на всем, она унижала его гордость, пятнала его честь, теперь все представлялось ему в новом свете. Любовь с ее неисчерпаемым очарованием отошла куда-то на задний план. Он испытывал дикую ненависть к лягушкоподобному юноше. И Смизерс тоже оказался предателем. Он не мог не злиться на тех «зубрил» и «долбил», которые все свое время посвящали подготовке к этим дурацким экзаменам, представлявшим собою не что иное, как лотерею. Устный экзамен никак нельзя было назвать справедливым, а один из вопросов, доставшихся ему на письменном, вовсе не входил в прочитанный на лекциях материал. Байвер, профессор Байвер, Люишем был убежден,— настоящий осел в своем огульном подходе к студентам, да и Уикс, его ассистент, не лучше. Но все эти рассуждения не могли заслонить от Люишема явной причины его провала — неразумной траты изо дня в день половины вечернего времени, лучшего времени для занятий из всех двадцати четырех часов в сутки. И эта утечка времени продолжается. Сегодня вечером он опять встретится с Этель, и с этого начнется для него подготовка к новому бесславному поражению — на этот раз по курсу ботаники. Таким образом, неохотно отказываясь от одного смутного оправдания за другим, он наконец ясно представил себе, насколько его отношения с Этель противоречат его честолюбивым устремлениям.

За последние два года ему так легко все давалось, что он уже считал свой успех в жизни обеспеченным. Ему и в голову не приходило, когда он отправился встретить Этель после того злополучного сеанса, что эта встреча будет иметь опасные для него последствия. Теперь же



«ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЮИШЕМ»



«ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЮИШЕМ»

он весьма остро ощутил их на себе. Он принялся рисовать себе лягушкоподобного юношу в домашней обстановке — этот молодой человек был из зажиточной буржуазной семьи: сидит, наверное, в уютном кабинете за письменным столом, вокруг книжные полки и лампа под абажуром — сам Люишем работал у комода вместо стола, накинув на плечи пальто, а ноги, засунув в нижний ящик, закутывал всем что ни попало — и в этом невероятном комфорте работает, работает, работает... А Люишем тем временем тащится по туманным улицам в направлении к Челси или, распрощавшись с нею, полный глупых фантазий, бредет домой.

Он попытался трезво и беспристрастно оценить свое отношение к Этель. Он старался быть объективным, он не хотел лгать самому себе. Он любит, ему нравится быть с нею, разговаривать с нею, делать ей приятное, но этим не ограничиваются его желания. Ему припомнились горькие слова одного оратора в Хэммерсмите, который жаловался, что современная цивилизация отказывает человеку в удовлетворении даже элементарной потребности иметь семью. Добродетель превратилась в порок, говорил этот оратор. «Мы женимся со страхом и трепетом, любовь у домашнего очага—удел только женщины, мужчина же осуществляет желание своего сердца лишь тогда, когда желание это уже мертво». Эти слова, которые показались ему тогда пустой риторикой, теперь предстали перед ним в виде устрашающей истины. Люишем понял, что стоит на распутье. С одной стороны — лестница к блестящей славе и власти, что было его мечтой чуть ли не с самого детства, с другой — Этель.

И выбери он Этель, получит ли он то, что выбрал? Чем это может обернуться? Несколькими прогулками больше или меньше! Она безнадежно бедна, безнадежно беден и он, а этот мошенник-медиум — ее отчим! Кроме того, она недостаточно образована, не понимает его работы и его устремлений...

Он вдруг совершенно отчетливо осознал, что после того сеанса ему нужно было пойти домой и забыть ее навсегда. Откуда у него появилась эта непреодолимая потребность ее разыскать? Зачем его воображение сплело вокруг нее такую странную сеть возможностей? Он запутался, глупо запутался... Все его будущее принесено

в жертву этому мимолетному уличному роману. Он злобно дернул себя за ус.

Люишему стало казаться, будто Этель, ее загадочная мамаша и ловкий мошенник Чеффери опутывают его невидимой сетью и тянут назад от блестящего и славного восхождения на вершину совершенства и славы. Дырявые башмаки и брызги грязи от проезжающих мимо экипажей — вот его удел! Можно считать, что и медаль Форбса — первый шаг на пути к славе — уже потеряна...

О чем он только думал? Всему виной его воспитание. В семьях, принадлежащих к крупной и средней буржуазии, родители вовремя предостерегают своих детей от подобного рода увлечений. Молодые люди знают, что любовь для них допустима только тогда, когда они по-настоящему станут самостоятельными. И так гораздо лучше...

Все рушится. Не только его работа, его научная карьера, но и участие в деятельности Дискуссионного клуба, в политическом движении, весь его труд на благо человечества... Почему не проявить решимость даже сейчас?.. Почему не объяснить ей все просто и ясно? Или написать? Если он сейчас же напишет, то сумеет еще нынче вечером посидеть в библиотеке. Он должен просить ее отказаться от совместных прогулок... по крайней мере до конца следующей экзаменационной сессии. Она поймет. Он сразу усомнился, поймет ли она... И рассердился на нее за это. Но к чему ходить вокруг да около? Раз уж он решил не думать о ней... Но почему он должен думать о ней так плохо? Да просто потому, что она неблагоразумна!

И снова чувство гнева на мгновение овладело им.

Тем не менее отказ от прогулок казался ему подлостью. И она сочтет это подлостью. Что было еще хуже. Но почему подлостью? Почему она должна счесть это подлостью? Он опять рассердился.

Дородный музейный служитель, который исподтишка наблюдал за ним, дивясь, чего ради студент сидит перед «Жертвоприношением Листры», кусает губы, ногти и усы и то хмурится, то пристально вглядывается в картину, вдруг увидел, как он решительно вскочил, круто повернулся на каблуках, быстрым шагом, не глядя по сторонам, вышел из галереи и скрылся из виду на лестнице.

— Побежал, наверное, раздобыть еще усов, эти уж все съел,— рассудил служитель.— Сорвался так, словно его кто ужалил.

Поразмыслив над этим еще несколько секунд, служитель тронулся вдоль по галерее и остановился перед картиной.

— Фигуры вроде бы великоваты по сравнению с домами,— заметил он, стараясь быть беспристрастным.— Да ведь на то и искусство. Сам-то он, небось, так не нарисовал бы, куда ему.

ГЛАВА XVIII

«ДРУЗЬЯ ПРОГРЕССА» ВСТРЕЧАЮТСЯ

И вот к вечеру через день после этих размышлений в мире воцарился новый порядок. Молодая леди, одетая в опушенный поддельным каракулем жакет, значительно погрустневшая, возвращалась из Челси домой в Клэпхем без спутника, а Люишем сидел в Педагогической библиотеке под мерцающим светом электрической лампочки и рассеянным взором смотрел куда-то в пространство поверх внушительной груды книг.

Этот новый порядок был введен не без трения, и разговор оказался не из легких. Она, по-видимому, недостаточно серьезно отнеслась к тому факту, что Люишем занял весьма невысокое место в списке студентов. «Но вы же сдали экзамены»,— сказала она. Не сумела она уловить и значения, придаваемого им вечерним занятиям. «Я, конечно, не знаю,— рассуждала она,— но мне казалось, что вы и так занимаетесь весь день». Она считала, что на прогулку уходит всего полчаса, «всего каких-то полчаса», забывая, что ему нужно сначала доехать в Челси, а потом из Клэпхема вернуться домой. Ее всегдашняя кротость сменилась явной обидой. Сначала на него, а потом, когда он принялся ее убеждать, на судьбу.

— Наверное, так уж суждено,— сказала она.— Да, наверное, не столь уж важно, если мы будем видеться реже,— добавила она побелевшими, дрожащими губами.

Расставшись с нею, он в тревожных думах вернулся домой и весь вечер сочинял письмо, которое должно

было ей все объяснить. Но от занятий наукой стиль у него стал «сухим», и то, что он способен был прошептать на ушко, написать был не в силах. Все его доводы казались неубедительными. И Этель, как видно, не очень-то воспринимала доводы разума. Сомнения продолжали его одолевать, и он сердился на нее за неумение смотреть на вещи так, как смотрит на них он. Он бродил по музею, ведя с нею воображаемые споры и бросая едкие замечания. Но бывали минуты, когда ему приходилось призывать на помощь всю свою дисциплинированность и припоминать все ее обидные возражения, чтобы не броситься со всех ног в Челси и не капитулировать самым недостойным образом.

Новый порядок длился две недели. Мисс Хейдингер с первых же дней обнаружила, что неудача на экзаменах произвела в Люишеме перемену. Она заметила также, что вечерние прогулки его прекратились. Сразу стало заметно, что он работает с каким-то новым, яростным упорством; он приходил рано, уходил поздно. Здоровый румянец на его щеках поблек. Ежевечерне допоздна его можно было видеть среди схем и учебников в одном из тех уголков Педагогической библиотеки, где поменьше сквозило, а куча тетрадей, куда он заносил нужные ему сведения, все росла. И ежевечерне, сидя в студенческом клубе, он писал письма, адресованные в лавку канцелярских принадлежностей в Клэпхеме, но этого мисс Хейдингер видеть уже не могла. Письма эти большей частью были короткие, ибо Люишем по обычаю студентов Южно-Кенсингтонского колледжа гордился отсутствием у себя дара к «сочинительству», и эти сугубо деловые послания ранили сердце, жаждавшее нежных слов.

Попытки мисс Хейдингер возобновить дружбу он встретил не слишком благожелательно. Тем не менее кое-какие отношения восстановились. Временами он заводил с нею любезные беседы, но вдруг обрывал себя на полуслове. Однако она снова стала снабжать его книгами, упорствуя в изобретенном ею способе утонченного эстетического воспитания.

— Вот книга, которую я вам обещала,— как-то сказала она, и ему пришлось припомнить ее обещание.

Это был сборник стихов Броунинга, в число которых входил и «Сладж». Случайно в этом сборнике оказалась

и «Статуя и бюст» — это вдохновенное рассуждение о запретах, налагаемых на себя против велений сердца. «Сладж» не заинтересовал Люишема, он вовсе не соответствовал его представлению о медиуме, но «Статую и бюст» Люишем читал и перечитывал. Эти стихи произвели на него глубочайшее впечатление. Он заснул — обычно он читал в постели: так было теплее, а над художественной литературой не грех и вздремнуть немного, другое дело — наука,— со следующими строками в голове, которые сильно его взволновали:

Недели переходят в месяцы, годы; луч за лучом
Сиянье уходит из их юности и любви,
И оба поняли, что это был лишь сон.

И вот, вероятно, как плод посеянных таким образом семян, в ту ночь ему действительно приснился сон. Снилась ему Этель, наконец-то он стал ее мужем. Он привлекает ее в свои объятия, наклоняется поцеловать ее и вдруг видит, что губы ее ссохлись, глаза потускнели, а лицо изборождено морщинами! Она стала старой! Ужасно старой! Он проснулся в страхе и до самого рассвета лежал подавленный, не смыкая глаз, и думал об их разлуке и о том, как она в одиночестве пробирается по грязным улицам, о своем положении, об утраченном времени и о своих возможностях в жизненной борьбе. Он увидел истину без прикрас: Карьера для него почти недоступна, Карьера и Этель — это уж вовсе немыслимо. Совершенно очевидно, что надо выбирать одно из двух. Если же проявить нерешительность — значит потерять и то и другое. И тут на смену отчаянию пришел гнев, какой вызывают в человеке постоянно подавляемые желания...

А вечером на следующий день, после того, как ему приснился сон, он грубо оскорбил Парксона. Случилось это после заседания «Друзей прогресса», состоявшегося у Парксона на квартире.

В наши дни среди английских студентов нет таких, кто осуществлял бы благородный идеал простой жизни и возвышенных мыслей. Наша превосходная система экзаменов вообще почти не допускает мыслей, ни возвышенных, ни низменных. Но по крайней мере жизнь кен-

сингтонского студента от благополучия далека, и он по временам делает попытки постичь начала мироздания.

Подобного рода попыткой и были периодические встречи «Друзей прогресса» — общества, порожденного докладом Люишема о социализме. Цель общества состояла в ревностном служении делу совершенствования мира, но пока никаких решительных действий в этом направлении не предпринималось.

Встречи членов общества происходили в гостиной Парксона; только у него и была гостиная, поскольку он получал Уитуортскую стипендию в сто фунтов в год. «Друзья» были разного возраста, в основном совсем юные. Одни курили, иные держали в руках погасшие трубки, но пили все только кофе, ибо на другие напитки у них не было средств. На этих сборищах присутствовал и Данкерли, ныне младший учитель в одной из пригородных школ Лондона и бывший коллега Люишема по Хортли, которого к Парксону и привел Люишем. Красные галстуки носили все члены общества, за исключением Бледерли — на нем был оранжевый галстук, символ причастности его владельца к искусству; галстук же Данкерли был черный с синими крапинками, потому что учителям небольших частных школ приходится строго блюсти правила приличия. Немудреный порядок их собрания сводился к тому, что каждый говорил столько, сколько ему позволяли другие.

Обычно самозванный «Лютер социализма» — чудак этот Люишем! — выступал с каким-нибудь сообщением, но в тот вечер он был подавлен и рассеян. Он сидел, перекинув ноги через ручку кресла, что некоторым образом свидетельствовало о состоянии его духа. При нем была пачка алжирских сигарет (двадцать штук на пять пенсов), и он словно задался целью выкурить их все за вечер. Бледерли собирался выступить с докладом на тему «Женщины при социализме», а поэтому принес с собой огромный том американского издания Шелли и сборник стихов Теннисона с «Принцессой», щетинившиеся бумажными закладками в тех местах, откуда он собирался приводить цитаты. Он стоял целиком за уничтожение «монополии» брака и за замену семьи яслями. Говорил он настойчиво, убедительно, впадая в возвышен-

ный тон, но все равно его точку зрения, кажется, никто не разделял.

Парксон был уроженцем Ланкашира и благочестивым квакером; третья же и дополняющая его особенность состояла в увлечении Рёскином, чьими идеями и фразами он был пропитан насквозь. Он с явным неодобрением выслушал Бледерли и выступил с яростной защитой старинной традиции верности и семьи, которую Бледерли назвал монополистическим институтом брака.

— С меня достаточно старой теории, чистой и простой теории, любви и верности,— заявил Парксон.— Если мы будем марать наше политическое движение такого рода идеями...

— Оправдывает ли она себя? — вмешался Люишем, заговорив впервые за весь вечер.

— Что именно?

— Ваша чистая и простая старая теория. Я знаю теорию. Я верю в теорию. Бледерли просто начитался Шелли. Но это только теория. Вы встречаете девушку, предназначенную вам судьбой. По теории вы можете встретить ее когда угодно. Вы встречаете ее, когда вы еще слишком молоды. Вы влюбляетесь. Вы женитесь, несмотря на все препятствия. Любовь смеется над преградами. У вас появляются дети. Такова теория, но она хороша лишь для человека, которому отец оставит пятьсот фунтов в год. А как быть приказчику в магазине? Или младшему учителю вроде Данкерли? Или... мне?

— В подобных случаях рекомендуется воздержание,— ответил Парксон.— Наберитесь терпения. Если есть чего ждать, стоит подождать.

— И состариться в ожидании? — спросил Люишем.

— Человек должен бороться,— сказал Данкерли.— Мне не понятны ваши сомнения, Люишем. Борьба за существование, несомненно, сурова, страшна... и все же бороться следует. Нужно объединить силы и, действуя сообща, бороться за счастье вместе. Если бы я встретил девушку, которая бы мне так понравилась, что я захотел бы на ней жениться, я сделал бы это завтра же. А красная цена мне — семьдесят фунтов на месте приходящего учителя без содержания.

Люишем, оживившись, окинул его заинтересованным взглядом.

— Женились бы? — спросил он.

Данкерли чуть покраснел.

— Не задумываясь. А почему бы и нет?

— Но на что бы вы жили?

— Об этом потом. Если бы...

— Не могу согласиться с вами, мистер Данкерли,— вмешался Парксон.— Не знаю, довелось ли вам читать «Сезам и лилии» [1], но именно там обрисован — гораздо лучше, нежели сумею своими словами изложить я,— идеал назначения женщины...

— Чепуха этот ваш «Сезам и лилии»,— перебил его Данкерли.— Пробовал читать. До конца не мог добраться. Вообще не терплю Рёскина. Слишком много предлогов. Язык, разумеется, потрясающий, но не в моем вкусе. Такую вещь должна читать дочь оптового торговца бакалейными товарами: пусть развивает в себе тонкий вкус. Мы же не в состоянии позволить себе утонченность.

— Неужели вы действительно женились бы? — продолжал любопытствовать Люишем, глядя на Данкерли с небывалым восхищением.

— А почему бы и нет?

— На...— не решился продолжать Люишем.

— На сорок фунтов в год? Да! Глазом не моргнув.

Молчавший до сих пор юнец, прокашлявшись, изрек:

— Смотря какая девушка.

— Но почему непременно жениться? — настаивал забытый всеми Бледерли.

— Вы должны согласиться, что требуете слишком многого, когда хотите, чтобы девушка...— начал Парксон.

— Не так уж много. Если девушка остановила свой выбор на каком-то человеке и он тоже выбрал ее, место ее рядом с ним. Что пользы от пустых мечтаний? Да еще совместных? Боритесь вместе.

— Замечательно сказано! — воскликнул взволнованный Люишем.— Ваши слова — речь мужчины, Данкерли. Пусть меня повесят, если это не так.

— Место женщины,— настаивал Парксон,— у домашнего очага. А когда домашнего очага нет... Я убежден, что в случае необходимости мужчина должен, обуздывая свои страсти, трудиться в поте лица, как трудился

---

[1] «Сезам и лилии»—произведение Д. Рескина (1819—1900).

семь лет ради Рахили Иаков, и создать для женщины удобный и уютный дом...

— Клетку для красивой птички? — перебил его Данкерли.— Нет. Я говорю о женитьбе на женщине. Женщины всегда принимали участие в борьбе за существование — большой беды от этого пока не было — и всегда будут принимать. Потрясающая идея — это борьба за существование. Единственная разумная мысль из всего, что вы говорили, Люишем. Женщина, которая не борется по мере сил своих бок о бок с мужчиной, женщина, которую содержат, кормят и ласкают, это...— Он не решился докончить.

Юноша с прыщеватым лицом и короткой трубкой в зубах подсказал ему слово из библии.

— Это уж чересчур,— ответил Данкерли.— Я хотел сказать: «наложница в гареме».

Юноша на мгновение смутился.

— Лично я — курящий,— сказал он.

— От крепкого табака может стошнить,— возразил Данкерли.

— Чистоплюйство вульгарно,— последовал запоздалый ответ любителя крепкого табака.

Для Люишема эта часть вечера была по-настоящему интересна. Вскочив, Парксон принес «Сезам и лилии» и заставил всех выслушать длинный сладкозвучный отрывок, который, словно машиной для стрижки газонов, прошелся по спору, утихомирив страсти, а затем центром нового спора стал Бледерли, обруганный и оставшийся в одиночестве. Со стороны студентов Южно-Кенсингтонского колледжа, по крайней мере, институту брака непосредственная опасность не угрожала.

В половине одиннадцатого Парксон вышел вместе со всеми остальными, чтобы немного пройтись. Вечер для февраля был теплый, а молодая луна яркой. Парксон пристроился к Люишему и Данкерли, к великому неудовольствию Люишема, который намеревался в этот вечер обсудить кое-какие личные темы со своим решительным другом. Данкерли жил в северной части города, поэтому они втроем направились по Эгсибишн-роуд к Хай-стрит в Кенсингтоне. Там Люишем и Парксон расстались с Данкерли и пошли в Челси, где была квартира Люишема.

Парксон был одним из тех поборников добродетели, для которых разговоры об отношениях полов представляют собой непреодолимый соблазн. Во время дебатов в гостиной ему не удалось наговориться вволю. В споре с Данкерли он стремился затронуть самые деликатные вопросы, и теперь, оставшись с Люишемом наедине, изливал на него поток все более откровенного красноречия. Люишем был в отчаянии. Он не шел, а бежал и думал только о том, как бы ему отделаться от Парксона. Парксон же, в свою очередь, думал только о том, как бы рассказать Люишему побольше «интересных» секретов о себе и об одной особе с душой необыкновенной чистоты, о которой Люишем уже слыхал прежде.

Прошла, казалось, целая вечность.

Внезапно Люишем сообразил, что стоит под фонарем и ему показывают чью-то фотографию. На снимке было изображено лицо с неправильными и удивительно невыразительными чертами, верх весьма претенциозного туалета и завитая челка. При этом ему внушалось, что девушка на фотографии — образец чистоты и что она составляет неотъемлемую собственность Парксона. Парксон горделиво поглядывал на Люишема, видимо, ожидая приговора.

Люишем боролся с желанием сказать правду.

— Интересное лицо,— наконец вымолвил он.

— Поистине прекрасное лицо,— спокойно, но с убеждением заявил Парксон.— Вы заметили ее глаза, Люишем?

— О да,— ответил Люишем.— Да. Глаза я заметил.

— Они олицетворение... невинности. Это глаза младенца.

— Да, пожалуй. Очень славная девушка, старина. Поздравляю вас. Где она живет?

— Такого лица вы в Лондоне не видели,— сказал Парксон.

— Не видел,— решительно подтвердил Люишем.

— Эту фотографию я бы показал далеко не каждому,— сказал Парксон.— Вы вряд ли представляете себе, что значит для меня эта чистая сердцем, изумительная девушка!

Глядя на Люишема с видом человека, совершившего обряд побратимства, он торжественно вложил фотогра-

фию обратно в конверт. Затем по-дружески взяв его под руку — чего Люишем терпеть не мог,— пустился в многословные рассуждения о любви с эпизодами из жизни своего Идеала для иллюстрации. Это было довольно близко направлению мыслей самого Люишема, и потому он невольно прислушивался. Время от времени ему приходилось подавать реплики, и он испытывал нелепое желание — хотя ясно сознавал, что оно нелепо,— ответить откровенностью на откровенность. Необходимость бежать от Парксона становилась все очевиднее — Люишем терял самообладание от столь противоречивых желаний.

— Каждому человеку нужна путеводная звезда,— говорил Парксон, и Люишем выругался про себя.

Дом, где жил Парксон, теперь находился совсем близко слева от них, и Люишему пришло в голову, что если он проводит Парксона домой, то скорее сумеет от него отделаться. Парксон, продолжая свои излияния, машинально согласился.

— Я часто видел вас беседующим с мисс Хейдингер,— сказал он.— Извините меня за нескромность...

— Мы с ней большие друзья,— подтвердил Люишем.— Ну, вот мы и дошли до вашей берлоги.

Парксон воззрился на свою «берлогу».

— Но мне еще очень о многом нужно с вами поговорить. Я, пожалуй, провожу вас до Баттерси. Ваша мисс Хейдингер, хотел я сказать...

С этого места он все время делал случайные намеки на воображаемую близость Люишема к мисс Хейдингер, и каждый такой намек раздражал Люишема все больше и больше.

— Увидите, Люишем, пройдет немного времени, и вы тоже начнете познавать, как бесконечно очищает душу невинная любовь...

И тут, неизвестно почему, смутно надеясь, впрочем, приостановить таким образом неистощимую болтовню Парксона, Люишем пустился в откровенность.

— Я знаю,— сказал он.— Вы говорите со мной, словно... Уже три года, как судьба моя решена.

Как только он высказался, желание быть откровенным умерло.

— Неужели вы хотите сказать, что мисс Хейдингер...— спросил Парксон.

— К черту мисс Хейдингер! — вскричал Люишем и вдруг невежливо, ни с того, ни с сего повернулся к Парксону спиной и зашагал в противоположном направлении, бросив своего спутника на перекрестке с неоконченной фразой на устах.

Парксон изумленно поглядел ему вслед, а потом вприпрыжку бросился за ним, чтобы выяснить причину его странного поступка. Некоторое время Люишем молча шагал с ним рядом. Потом внезапно повернулся. Лицо у него было совершенно белое.

— Парксон,— усталым голосом сказал он,— вы дурак!.. У вас не лицо, а морда овцы, манеры буйвола, а говорить с вами — сплошная тоска. Чистота!.. У девушки, фотографию которой вы мне показали, просто косоглазие. И сама она совершенная уродина, впрочем, иного от вас и не приходится ожидать... Я не шучу... Уходите!

Дальше Люишем шагал в южном направлении один. Он не пошел прямо к себе домой в Челси, а провел несколько часов на улице в Баттерси, разгуливая взад и вперед перед одним домом. Он уже больше не бесился, но испытывал тоску и нежность. Если бы он мог нынче же вечером увидеть ее! Теперь он знал, чего хочет. Завтра же он плюнет на занятия и выйдет встретить ее. Слова Данкерли придали его мыслям удивительно новое направление. Если бы только увидеть ее сейчас!

Его желание исполнилось. На углу улицы его обогнали две фигуры. Высокий мужчина в очках и шляпе, похожей на головной убор священника, с воротником, поднятым до седых бакенбард, был сам Чеффери, его спутница тоже была хорошо известна Люишему. Пара прошла мимо, не заметив его, но на мгновение свет уличного фонаря осветил ее лицо, и оно показалось ему бледным и усталым.

Люишем замер на углу, в немом изумлении глядя вслед этим двум фигурам, удалявшимся под тусклым светом фонарей. Он был ошеломлен. Часы медленно пробили полночь. Издалека донесся стук захлопнувшейся за ними двери.

Еще долго после того, как замерло эхо, стоял он там. «Она была на сеансе, она нарушила обещание. Она была на сеансе, она нарушила обещание»,— бесконечно повторяясь, стучало у него в мозгу.

Объяснение не заставило себя ждать: «Она поступила так, потому что я ее бросил. Мне следовало бы это понять из ее писем. Она поступила так, потому что считает, что я отношусь к ней несерьезно, что моя любовь — всего лишь ребячество...

Я знал, что она никогда меня не поймет!»

ГЛАВА XIX

ЛЮИШЕМ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

На следующее утро Лэгьюн подтвердил догадку Люишема о том, что Этель, уступив уговорам, согласилась наконец испробовать свои силы в угадывании мыслей.

— Начало есть,— рассказывал Лэгьюн, потирая руки.— Мы с ней поладим, я уверен. У нее определенно имеются способности. Я всегда чувствовал это по ее лицу. У нее есть способности.

— И долго ее пришлось... уговаривать? — с трудом выговорил Люишем.

— Да, признаться, нам было нелегко. Нелегко. Однако я дал ей понять, что едва ли она сможет остаться у меня в должности секретарши, если откажется проявить интерес к моим исследованиям.

— Вы так и сказали?

— Пришлось. К счастью, Чеффери — это была его мысль, должен признаться...

От удивления Лэгьюн запнулся на полуслове. Люишем как-то нелепо взмахнул руками, повернулся и побежал прочь. Лэгьюн вытаращил глаза, впервые столкнувшись с таким психическим явлением, которое выходило за пределы его понимания.

— Странно! — пробормотал он и начал распаковывать свой портфель. Время от времени он останавливался и озирался на Люишема, который сидел на своем месте и барабанил по столу пальцами.

В это время из препаратной вышла мисс Хейдингер и обратилась к молодому человеку с каким-то замечанием. Он ответил, по-видимому, предельно коротко, затем встал, мгновение помешкал, выбирая между тремя дверями лаборатории, и, наконец, исчез за той, что вела на

лестницу черного хода. До вечера Лэгьюн больше его не видел.

В тот вечер Этель снова возвращалась в Клэпхем в сопровождении Люишема, и разговор их был, по-видимому, серьезным. Она не пошла прямо домой, а вместе с Люишемом мимо газовых фонарей направилась на темные просторы Клэпхемского пустыря, где можно было поговорить без помехи. И этот вечерний разговор явился решающим для них обоих.

— Почему вы нарушили свое обещание? — спросил Люишем.

Ее оправдания были путаными и неубедительными.

— Я думала, что вам теперь уж безразлично,— говорила она.— Когда вы перестали приходить на наши прогулки, мне показалось, что теперь уже все равно. Кроме того, это совсем не то, что спиритические сеансы...

Сначала Люишем был беспощаден в своем гневе. Злость на Лэгьюна и Чеффери ослепляла его, и он не видел, как она страдает. Все ее возражения он отвергал.

— Это обман,— говорил он.— Даже если то, что вы делаете, и не обман, все равно это — заблуждение, то есть бессознательный обман. Даже если в этом есть хоть частица истины, все равно это плохо. Правда или нет—все равно плохо. Почему они не читают мысли друг у друга? Зачем им нужны вы? Ваш разум принадлежит только вам. Он священен. Производить над вами опыты? Я этого не позволю! Я этого не позволю! На это, по крайней мере, я полагаю, у меня есть право. Подумать не могу, как вы там сидите... с завязанными глазами. И этот старый дурак кладет вам на затылок руку и задает вопросы. Я этого не позволю! Я лучше убью вас, чем допущу это!

— Ничего подобного они не делают!

— Все равно еще будут делать. Повязка на глаза — только начало. Нельзя зарабатывать на жизнь таким путем. Я много думал над этим. Пусть читают мысли своих дочерей, гипнотизируют своих тетушек, но оставят в покое своих секретарш.

— Но что же мне делать?

— Только не это. Есть вещи, которые, что бы ни было, нельзя позволять. Честь! Только потому, что мы бед-

ны... Пусть он уволит вас! Пусть он вас уволит! Вы найдете себе другое место...

— Но мне не будут платить гинею в неделю.

— Будете получать меньше.

— Но я же отдаю каждую неделю шестнадцать шиллингов.

— Это не имеет значения.

Она подавила рыдание.

— Покинуть Лондон... Нет, не могу. Не могу.

— Почему покинуть Лондон? — Люишем изменился в лице.

— О, жизнь так жестока! — всхлипнула она.— Не могу. Они... Они не позволят мне остаться в Лондоне.

— О чем вы говорите?

Она рассказала, что, если Лэгьюн ее уволит, ей придется уехать в деревню к тетке, сестре Чеффери, которой нужна компаньонка. На этом настаивает Чеффери.

— Ей нужна компаньонка, говорят они. Не компаньонка, а прислуга, у нее нет прислуги. Мама только плачет, когда я пытаюсь с ней поговорить. Она не хочет, чтобы я от нее уезжала. Но она его боится. «Почему ты не делаешь того, что он хочет?» — спрашивает она.

Этель смотрела прямо перед собой в сгущающуюся тьму.

— Мне очень бы не хотелось рассказывать вам об этом,— снова заговорила она бесцветным голосом.— Это все вы... Если бы вы не рассердились... Из-за вас все стало по-другому. Если бы не вы, я могла бы выполнить его желание. Я... Я помогала... Я пошла помочь, если у мистера Лэгьюна что-нибудь получится не так. Да... В тот вечер. Нет... не нужно! Слишком тяжело мне рассказывать вам. Но раньше, до того как увидела вас там, я этого не чувствовала. Тогда я вдруг сразу показалась себе жалкой и лживой.

— И что же? — спросил Люишем.

— Вот и все. Пусть я действительно занималась угадыванием мыслей, но с тех пор я больше не обманывала... ни разу... Если бы вы знали, как трудно...

— Вам следовало рассказать мне все это раньше.

— Я не могла. До вашего появления все было по-другому. Он потешался над людьми, передразнивал Лэгью-

на, и мне было смешно. Это казалось просто шуткой.— Она вдруг остановилась.— Зачем вы тогда пошли за мной? Я сказала вам, чтобы вы не ходили. Помните, я говорила?

Она готова была вот-вот зарыдать. С минуту она молчала.

— Я не могу поехать к его сестре! — выкрикнула она.— Пусть это трусость, но я не могу.

Молчание. И вдруг Люишем отчетливо и ясно представил себе, что ему надлежит делать. Его тайное желание внезапно превратилось в неотложный долг.

— Послушайте,— сказал он, не глядя на нее и дергая себя за усы,— я не желаю, чтобы вы продолжали заниматься этим проклятым мошенничеством. Вы больше не будете пятнать себя. И я не желаю, чтобы вы уезжали из Лондона.

— Но что же мне делать? — Она почти кричала.

— Есть одно, что можно сделать. Если вы решитесь.

— Что именно?

Несколько секунд он молчал. Затем повернулся и взглянул на нее. Глаза их встретились...

Мрак его души стал рассеиваться. Ее лицо было белым, как мел, она смотрела на него в страхе и замешательстве. В нем возникло новое, неведомое до тех пор чувство нежности к ней. Раньше его привлекала ее миловидность и живость — теперь же она была бледна, а глаза ее смотрели устало. Ему казалось, будто он забыл ее, а потом неожиданно вспомнил. Одна мысль овладела всем его существом.

— Что же еще я могу сделать?

Удивительно трудно было ответить. В горле появился какой-то комок, мышцы лица напряглись, ему хотелось одновременно и плакать и смеяться. Весь мир исчез перед его страстной мечтой. Он боялся, что Этель не решится, что она не примет всерьез его слов.

— Что же это такое? — переспросила она.

— Разве вы не понимаете, что мы можем пожениться? — сказал он под внезапным наплывом решимости.— Разве вы не понимаете, что это единственный для нас выход? Из тупика, в котором мы находимся! Вы должны отказаться от своего участия в обмане, а я — от своей зубрежки. И мы... мы должны пожениться.

Он помолчал, а потом вдруг стал небывало красноречив.

— Мир против нас, против... нас. Вам он предлагает деньги за обман, за бесчестные поступки. Ибо это — бесчестье! Он предлагает вам не честный труд, а грязную работу. И отнимает вас у меня. Меня же прельщают обещаниями успеха при условии, что я покину вас... Вам не все известно. Нам придется ждать, быть может, годы, целую вечность, если мы будем ждать обеспеченной жизни. Нас могут разлучить... Мы можем совсем потерять друг друга... Давайте бороться против этого. Почему мы должны разлучаться? Если только истинная любовь не пустые слова, как все остальное. Это единственный выход. Будем вместе, ибо мы принадлежим друг другу.

Она смотрела на него, смущенная этой новой для нее мыслью, а сердце ее рвалось из груди.

— Мы так молоды,— сказала она.— И на что мы будем жить? Ведь вы получаете всего одну гинею.

— Я буду получать больше, я сумею заработать деньги. Я все обдумал. Уже два дня, как я не перестаю об этом думать. О том, что мы могли бы предпринять. У меня есть деньги.

— Есть деньги?

— Почти сто фунтов.

— Но мы так молоды... И моя мать...

— Мы не станем ее спрашивать. Мы никого не будем спрашивать. Это наше личное дело, Этель! Это наше личное дело. Тут вопрос не в средствах... Еще раньше... Я думал... Дорогая, разве вы не любите меня?

Но она не поддалась его восторгу. Она смотрела на него смятенным взглядом, еще занятая практической стороной дела, еще сводя все к арифметическим подсчетам.

— Если бы у меня была машинка, я могла бы печатать. Я слышала...

— Вопрос не в средствах, Этель... Я мечтал...

Он замолчал. Она смотрела ему в лицо, в глаза, полные нетерпения, красноречиво говорящие обо всем том, что осталось невысказанным.

— Решитесь ли вы пойти со мной? — прошептал он.

Внезапно мир открылся перед ней наяву, как не раз открывался в заветных мечтах. И она дрогнула. Она отвела взгляд, опустила глаза. Она была готова вступить в заговор.

— Но как?..

— Я придумаю, как. Доверьтесь мне. Ведь мы теперь хорошо знаем друг друга. Подумайте! Мы вдвоем...

— Но я никогда не ожидала...

— Я сниму для нас квартиру. Это так легко. И только подумайте, только подумайте, какая это будет жизнь!

— Но как можно?..

— Вы пойдете?

Она в смятении смотрела на него.

— Вы же знаете,— сказала она,— вы не можете не знать, что мне хотелось бы... мне бы очень хотелось...

— Вы пойдете.

— Но, милый... Милый, если вы настаиваете...

— Да! — торжествующе вскричал Люишем.— Вы пойдете.— Он оглянулся и понизил голос.— О любимая! Моя любимая!

Голос его перешел в неразборчивый шепот. Но лицо красноречиво свидетельствовало о его чувствах. Мимо, как раз вовремя, чтобы напомнить ему, что он находится в общественном месте, направляясь домой и болтая между собой, прошли два клерка.

ГЛАВА XX

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ПРИОСТАНОВЛЕНО

В следующую среду днем — уже перед самым экзаменом по ботанике — Смизерс увидел Люишема в зале Педагогической библиотеки за чтением одного из томов Британской энциклопедии. Рядом лежали Уитекеровский ежегодник, открытая записная книжка, брошюра из серии «Современная наука» и справочник факультета Наук и Искусств. Смизерс, который с почтением относился к таланту Люишема отыскивать во время подготовки к экзамену интересные данные, несколько минут размышлял над тем, какие же это ценные сведения по ботанике можно почерпнуть из Уитекера, и, придя домой, потратил час-другой на просмотр экземпляра, имевшегося у

его квартирной хозяйки. В действительности же Люишем занимался вовсе не ботаникой; по самым авторитетным источникам он изучал искусство брака. (Брошюра из серии «Современная наука» была «Эволюцией брака» профессора Летурно, произведение, несомненно, интересное, но мало пригодное в данный момент.)

Из Уитекера Люишем узнал, что за 2 фунта 6 шиллингов и 1 пенс или за 2 фунта 7 шиллингов и 1 пенс, во всяком случае, не дороже, можно до конца недели проделать все формальности бракосочетания — в названную сумму не входили чаевые — в окружной регистрационной конторе. Он сделал в своей книжке кое-какие выкладки. Плата за венчание в церкви, как он обнаружил, колебалась в очень широких пределах, но церковного брака он не желал по личным мотивам. С другой стороны, заключение гражданского брака без лицензии связано с ненужной проволочкой. Итак, придется пойти на 2 фунта 7 шиллингов 1 пенс. Чаевые — ну, скажем, еще десять шиллингов.

Затем с совершенно излишним бахвальством он вытащил свои сберегательную и чековую книжки и приступил к дальнейшим подсчетам. Он убедился, что является владельцем 61 фунта 4 шиллингов 7 пенсов. Не ста фунтов, как он сказал, но довольно приятной кругленькой суммы — другим приходилось начинать дела и с меньшим капиталом. Когда-то это были действительно сто фунтов. Если он истратит пять фунтов на регистрацию брака и переезд, то у него останется около 56 фунтов. А это совсем не мало. Никаких расходов на цветы, карету и медовый месяц. Но придется купить пишущую машинку. Этель тоже будет вносить свою лепту...

— Да, это будет дьявольски трудно! — воскликнул Люишем, радуясь неизвестно чему. Ибо, как ни странно, вся эта затея стала приобретать для него вкус захватывающего приключения, отнюдь не лишенного приятности. Зажав в руке записную книжку, он откинулся на спинку стула...

В этот день ему предстояло еще немало дел. Прежде всего нужно поговорить с окружным чиновником-регистратором, а затем подыскать квартиру, куда он сможет привести Этель, квартиру для них обоих, где они будут жить вместе.

При мысли об этой новой жизни вместе, которая была уже так близка, ему представилась Этель, такая живая, такая близкая, такая ласковая...

Очнувшись от своих грез, он увидел, что один из служащих библиотеки, перегнувшись через свой стол и грызя кончик разрезального ножа — привычка всех служащих Южно-Кенсингтонской библиотеки,— с любопытством уставился на него. Угадывание мыслей, подумал Люишем, по-видимому, весьма распространенное явление. Он вспыхнул, неуклюже вскочил и поставил том Британской энциклопедии обратно на полку.

Ему пришлось убедиться, что подыскать квартиру вовсе не так легко. После первой же попытки он вообразил, что у него подозрительный вид, и это порядком мешало ему. Он выбрал район к югу от Бромтон-роуд. У этого района был один недостаток: там жило много сокурсников Люишема, и они могли оказаться соседями... Разумеется, большой роли это не играло. Дело просто в том, что семейные пары в Лондоне не имеют обыкновения постоянно проживать в меблированных комнатах. Те, кто слишком беден для того, чтобы арендовать целый дом или хотя бы этаж, обычно предпочитают брать внаем часть дома или необставленную квартиру. На сотню семейных пар, живущих в Лондоне в необставленных квартирах («с пользованием кухней»), приходится всего одна пара, обитающая в меблированных комнатах. Для осторожной квартирохозяйки отсутствие у жильцов собственной мебели является первым признаком их неплатежеспособности. Первая хозяйка, к которой обратился Люишем, заявила, что не любит держать у себя дам, потому что с ними, по ее выражению, хлопот не оберешься, вторая была такого же мнения, третья сказала мистеру Люишему, что он «слишком молоденький, чтобы жениться», четвертая объявила, что сдает комнаты только одиноким джентльменам. Пятая оказалась молодой особой с плутовскими ужимками, которой хотелось разузнать о своих жильцах все подробности, поэтому она подвергла Люишема перекрестному допросу. Но, уличив его в явной, по ее мнению, лжи, она выразила опасение, что ее комнаты ему «едва ли подойдут», и, любезно кланяясь, выпроводила его.

Погуляв по улице, пока не остыли уши и щеки, он затем предпринял новую попытку. На этот раз хозяйка оказалась страшным и жалким существом — такой серой и запыленной она выглядела, а на лице у нее лежали морщины и тени нужды и бед. Голова ее была украшена съехавшим набок грязным чепцом. Она провела Люишема в убогую комнату на втором этаже. «Можете пользоваться пианино»,—сказала она, указывая на инструмент под рваным чехлом зеленого шелка. Люишем открыл крышку, порванные струны при этом задребезжали. Он еще раз обвел взглядом мрачное помещение. «Восемнадцать шиллингов,— сказал он.— Благодарю вас... Я дам вам знать». Женщина скорбно улыбнулась и, не говоря ни слова, усталой походкой направилась к двери. Люишем подумал, что, наверное, у нее в семье какое-то несчастье, но любопытствовать не стал.

Следующая хозяйка оказалась вполне подходящей. Это была опрятного вида немка, довольно прилично одетая, с челкой из льняных кудряшек. Она была говорлива — из уст ее изливались бесконечные потоки слов, по большей части, безусловно, английских. На таком языке она и высказала все свои условия. Она просила пятнадцать шиллингов за крошечную спальню и маленькую гостиную, расположенные в первом этаже и разделенные между собой двухстворчатой дверью, «плюс обслуживание». Уголь стоит «шесть пенсов терка» — имелось в виду «ведерко». Выяснилось, что она не поняла Люишема, когда он сказал ей, что женат. Но, узнав, не колебалась ни минуты. «Токта фосемнатцать шиллинков,— невозмутимо заявила она.— И платить перфый тень кажтой недели... Да?» Мистер Люишем еще раз оглядел комнаты. Они казались чистыми, а китайские вазочки, полученные в виде премии из чайного магазина, потемневшие от времени олеографии в позолоченных рамках, два мешочка, предназначенные для туалетной комнаты, а теперь фигурировавшие в качестве украшений, и комод, передвинутый из спальни в гостиную, просто взывали к его чувству юмора.

— Я беру комнаты со следующей субботы,— объявил он.

Хозяйка не сомневалась, что комнаты понравятся, и незамедлительно предложила выдать ему квартир-

ную книжку. Мимоходом она упомянула, что предыдущий жилец, капитан, прожил у нее три года. (О жильцах, которые прожили бы меньше трех лет, никогда не услышишь.) Затем что-то произошло (тут она заговорила по-немецки), и теперь этот капитан имеет свой выезд, по-видимому, в результате постоя у нее на квартире. Она вернулась, держа в руках грошовую конторскую книгу, бутылочку чернил и отвратительное перо, написала на обложке книги фамилию Люишема, а на первой странице расписку в получении восемнадцати шиллингов. Она, по-видимому, была от природы наделена незаурядными деловыми способностями. Люишем отдал ей деньги, и на этом официальная часть была завершена.

— Уферена, што вам будет утобно,— этим утешительным напутствием она проводила его до дверей.

Затем он отправился в Челси, где в окружной регистрационной конторе подробно выспросил обо всем у одного старого джентльмена, круглолицего и в очках. Тот выслушал Люишема внимательно, но с чисто деловым видом.

У него была привычка повторять ответы просителя.

— Чем могу служить? Ага, вы хотите жениться. По церковной лицензии?

— По лицензии.

— По лицензии?

И так далее. Он открыл книгу и принялся аккуратно заносить в нее все данные.

— Сколько лет невесте?

— Двадцать один.

— Весьма подходящий возраст... для невесты.

Он посоветовал Люишему купить обручальное кольцо и сказал, что понадобятся два свидетеля.

— Видите ли...— нерешительно начал Люишем.

— Здесь всегда кто-нибудь найдется,— успокоил его чиновник-регистратор.— Для них это дело привычное.

Четверг и пятницу Люишем провел в чрезвычайно приподнятом состоянии духа. Никакие укоры совести по поводу крушения карьеры в эти дни его, по-видимому, не терзали. Все сомнения на время рассеялись. Ему хотелось пуститься в пляс по коридору. Он был настроен крайне легкомысленно и принялся даже подшучивать над окружающими, что, естественно, никому удоволь-

ствия не доставляло. Вдруг, неизвестно с чем, поздравил мисс Хейдингер, а в буфете бросил через весь зал булочкой в Смизерса, попав при этом в одного из служащих Художественной школы. Обе эти шутки были чрезвычайно неумными. В первом случае, нанеся обиду, он тотчас же раскаялся, но во втором усугубил оскорбление тем, что, пройдя через всю комнату, обидно-подозрительным тоном стал спрашивать, не видел ли кто его булочки. Он полез под стол и наконец отыскал ее, порядком запыленную, но вполне съедобную, под стулом одной из студенток Художественной школы. Усевшись рядом со Смизерсом, он съел эту булочку, не переставая препираться со служащим Художественной школы, который заявил, что поведение студентов Школы естественных наук становится невыносимым, и пригрозил, что поставит об этом вопрос перед комиссией, ведающей питанием студентов. Люишем ответил, что глупо поднимать шум из-за мелочей, и предложил служащему Художественной школы запустить в него, Люишема, весь свой завтрак — бифштекс и пирог с фасолью — и тем с ним расквитаться. Затем он извинился перед служащим, заметив в качестве оправдания, что попасть в него издали было вовсе не легко. Служащий глотнул пива или чего-то горячительного, и на этом ссора была закончена. Под вечер, однако, Люишем, к чести его будет сказано, испытывал острое чувство стыда за свои поступки. Мисс Хейдингер перестала с ним разговаривать.

В субботу утром он не пошел на занятия, послав по почте уведомление о том, что слегка нездоров, и, собрав все свои пожитки, отнес их в камеру хранения на Воксхолл-стейшн. Сестра Чеффери жила в Тонхеме, возле Фарнема, и Этель, неделю назад уволенная Лэгьюном, в то утро под плаксивым надзором своей матери отправилась в новое рабство. Согласно уговору, она должна была сойти или в Фарнеме, или в Уокинге, смотря по обстоятельствам, и, возвратившись в Воксхолл, встретиться с ним. А это означало, что Люишем понятия не имел, сколько ему придется простоять на платформе.

Сначала он испытывал только подъем чувств от небывалого приключения. Затем, несколько раз исходив длинную платформу взад и вперед, стал настраиваться фило-

софически, ощущая странную отрешенность от всего мира. Какой-то пассажир положил рядом со своим чемоданом садовые деревца с обвязанными корнями, и при виде их на ум Люишему пришло забавное сравнение. Его собственные корни, все, что ему в жизни принадлежало,— все это находилось сейчас здесь, внизу, на этом вокзале. До чего неосновательное он существо! Ящик с книгами, сундук с платьем, несколько аттестатов, какие-то клочки бумаги, записи да не очень крепкое тело — а вокруг такая толпа, и все против него, весь огромный мир, в котором он очутился! Если бы он вдруг перестал существовать, взволновало бы это кого-нибудь, кроме нее, Этель? Наверное, и она вдали от него тоже чувствует себя маленькой и одинокой...

Как бы не вышло у нее неприятностей с багажом! А вдруг тетка явится на станцию в Фарнем встретить ее? А вдруг у нее украдут кошелек? А вдруг она опоздает? Регистрация должна состояться в два... А вдруг она совсем не приедет? После того как три поезда подряд пришли без нее, смутный страх уступил место глубокому унынию...

Наконец она явилась. Было уже без двадцати трех минут два. Он быстро отнес ее багаж вниз, сдал его вместе со своим собственным, и через минуту они уже сидели на извозчике, впервые в жизни воспользовавшись этим средством передвижения, на пути к мэрии. Они не успели переброситься даже словом, если не считать торопливых указаний Люишема, но глаза их блестели от волнения, а руки под фартуком коляски были соединены.

Маленький старый джентльмен вел себя деловито, но ласково. Они произнесли свои обеты перед ним, чернобородым клерком и какой-то женщиной, которая перед тем, как принять участие в церемонии, сняла внизу свой фартук. Маленький старый джентльмен не говорил длинных речей.

— Вы люди молодые,— медленно сказал он,— а совместная жизнь нелегка... Будьте добры друг к другу.

Он чуть печально улыбнулся и по-дружески протянул им руку.

На глазах у Этель блестели слезы. Она чувствовала, что не может произнести ни слова.

ГЛАВА XXI

ДОМА!

Затем Люишем украдкой расплатился со свидетелями и наконец очутился возле нее. Лицо его сияло. По улице шла густая толпа рабочих, возвращавшихся домой на отдых после недели труда. На ступеньках перед нашими новобрачными лежало несколько зернышек риса, оставшихся от более торжественного бракосочетания.

Наблюдательная девчушка, с любопытством оглядев вышедшую из дверей пару, сказала что-то своему оборванному приятелю.

— Нет! — ответил оборвыш. — Они приходили лишь порасспросить кое о чем.

Оборвыш был не из хороших физиономистов.

По запруженным толпой улицам, почти не переговариваясь друг с другом, они дошли до Воксхолл-стейшн, и там Люишем, приняв как можно более равнодушный вид и предъявив две квитанции, взял из камеры хранения их пожитки и сложил на извозчика. Его багаж привязали сзади, а маленький коричневый чемодан, в котором находилось все приданое Этель, уместился на сиденье перед ними. Представьте себе видавшую виды извозчичью пролетку с тем самым желтым ящиком и обтрепанным сундуком на запятках, везущую мистера Люишема и все его достояние, представьте понурую лошадь, идущую неровным шагом, и богохульствующего себе под нос старика кучера, отчаянного самобичевателя, закутанного в ветхий плащ с капюшоном. Когда наши молодые очутились в кэбе, поведение их стало менее чопорным, пожатие рук — горячее. «Этель Люишем»,— несколько раз произнес вслух Люишем, а Этель, отзываясь в ответ: «Муженек» или «Муженек, милый»,— сняла с руки перчатку, чтобы еще раз полюбоваться кольцом. Она поцеловала кольцо.

Они решили никому не признаваться, что только-только поженились, и торжественно условились, что, когда приедут на квартиру, он будет обращаться с ней грубовато-бесцеремонно. Хозяйка-немка с любезной улыбкой встретила их в коридоре, выразила надежду, что они благополучно доехали, и рассыпалась в обещаниях удобств. Люишем помог грязнухе-служанке внести

багаж, с решительным видом дал извозчику флорин и последовал за дамами в гостиную.

Этель с восхитительным самообладанием ответила на расспросы мадам Гэдоу, вслед за ней прошла за двухстворчатую дверь и проявила разумный интерес к новому пружинному матрацу. Затем двухстворчатая дверь затворилась. Люишем ходил по гостиной, дергал себя за усы, делал вид, что восхищается олеографиями, и, к удивлению своему, заметил, что дрожит.

Грязнуха-служанка появилась опять, неся консервированную лососину и отбивные, которые он заранее попросил мадам Гэдоу для них приготовить. Он повернулся к окну и стал смотреть на улицу, потом услышал, как затворилась дверь за служанкой, и оглянулся лишь при звуке шагов Этель, которая вышла из-за двухстворчатой двери.

У нее был удивительно домашний вид. До сих пор ему лишь однажды, в драматический момент, да еще когда в комнате было полутемно, довелось видеть ее без шляпы и жакета. Теперь на ней была блузка из мягкой темно-красной ткани, отделанная белым кружевом у манжет и у ворота, открывающего ее красивую шею. А волосы ее оказались целым волшебным миром локонов и шелковистых прядей. Какой хрупкой и нежной предстала она перед ним в своей нерешительности. О, эти дивные минуты жизни! Он сделал шаг вперед и протянул руки. Она оглянулась на затворенную дверь и кинулась ему навстречу.

ГЛАВА XXII

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

В течение трех незабываемых дней существование Люишема представляло собой цепь самых чудесных ощущений, а жизнь казалась такой удивительной и прекрасной, что в ней не было места сомнениям или думам о будущем. Находиться рядом с Этель было нескончаемым удовольствием: она поражала этого выросшего без сестер юношу тысячью изысканных мелочей, свойственных лишь женщине. Возле нее ему было стыдно за свою силу и неуклюжесть. А свет, загоравшийся в ее глазах, и тепло ее сердца, зажигавшее этот свет!

Даже находиться вдали от нее тоже было чудесно и по-своему восхитительно. Теперь он перестал быть обычным студентом, он превратился в мужчину, в жизни которого есть тайна. В понедельник расстаться с нею возле Южно-Кенсингтонской станции и подняться по Эгсибишн-роуд вместе со всеми студентами, которые поодиночке ютились в убогих жилищах и были мальчиками в сравнении с ним, умудренным своим трехдневным опытом! А потом, позабыв о работе, сидеть и мечтать о том, как они увидятся вновь! И когда звон полдневного колокола пробудит к жизни большую лестницу — или даже чуть раньше,— ускользнуть на тенистый церковный двор позади часовни, увидеть улыбающееся лицо и услышать нежный голос, говорящий милые глупости! А после четырех новое свидание, и они идут домой — к себе домой.

Не было больше расставаний на углу, где горел газовый фонарь, и маленькая фигурка теперь не уходила от него, исчезая в туманной дали и унося с собой его любовь. Никогда больше этого не будет. Долгие часы, проводимые Люишемом в лаборатории, теперь в основном посвящены были мечтательным размышлениям и — честно говоря — придумыванию нелепых ласкательных словечек: «Милая жена», «Милая женушка», «Родненькая, миленькая моя женушка», «Лапушка моя». Прелестное занятие! И это отнюдь не преувеличение, а весьма красочный пример его глубокой оригинальности в те удивительные дни. Задумавшись обо всем этом, Люишем обнаружил в себе неведомое ему до сих пор сходство со Свифтом. Ибо, подобно Свифту и многим другим, ему пришлось обратиться к языку лилипутов. Да, поистине, то было преглупое время.

Сделанному им на третий день своей семейной жизни срезу для микроскопического анализа — а работал он в те дни предельно мало — нельзя было не изумиться. Биндон, профессор ботаники, будучи еще под свежим впечатлением, торжественно объявил в столовой одному из своих коллег, что еще никогда не было допущено более нелепой ошибки в переоценке способностей студента.

И Этель тоже переживала время, полное самых сладостных волнений. Она стала хозяйкой дома, их дома. Она делала покупки, и продавцы почтительно величали ее «мэм»; она придумывала обеды и переписывала счета,

чувствуя себя при этом нужной и полезной. Время от времени она откладывала перо и сидела, мечтая. Вот уже четыре раза она провожала и встречала Люишема, с жадностью ловя новые слова, рожденные его воображением.

Хозяйка комнат оказалась особой любезной и презанимательно повествовала о том, какие странные и беспутные служанки выпадали на ее долю. А Этель с помощью хитрых недомолвок старалась скрыть, что она лишь недавно замужем. В ту же субботу она написала письмо матери — Люишему пришлось ей помочь,— объявив причины своего героического бегства и обещая в самом скором времени приехать с визитом. Они отправили письмо с таким расчетом, чтобы его получили не раньше понедельника.

Этель разделяла мнение Люишема, что только необходимость избавить ее от участия в медиумическом шарлатанстве заставила их пожениться — взаимное влечение тут было совершенно ни при чем. Как видите, у них все было довольно возвышенно.

Люишем уговорил ее отложить визит к матери до вечера в понедельник. «Пусть хоть один день медового месяца,— настаивал он,— целиком принадлежит нам». В своих добрачных размышлениях он совершенно упустил из виду, что после женитьбы им придется поддерживать отношения с мистером и миссис Чеффери. Даже теперь ему не хотелось смириться с этой явной неизбежностью. Он предвидел, хотя твердо решился об этом не думать, тягостные сцены объяснений. Но все те же возвышенные чувства помогли ему отвлечься от неприятностей.

— Пусть по крайней мере это время принадлежит нам, — сказал он, и слова его, казалось, решили дело.

Если не считать краткости их медового месяца и предчувствия грядущих неприятностей, это было в самом деле чудесное время. Например, их совместный обед — правда, когда они наконец в ту памятную субботу приступили к нему, он оказался немного холодным,— но какое это было веселье! Нельзя сказать, чтобы они страдали отсутствием аппетита: оба ели чрезвычайно хорошо, несмотря на единение душ, передвижение стульев, пожатие рук и прочие помехи. Люишем впервые как следует рассмотрел ее руки, пухлые белые ручки с короткими пальчиками, и тут из своего укромного убежи-

ща появилось то самое колечко, которое он когда-то подарил ей в знак помолвки, и было надето поверх обручального. Взоры их скользили по комнате и вновь встречались в улыбке. Движения их были трепетны.

Этель призналась, что ей страшно нравятся и комнаты и их убранство, она восхищалась своим положением, а он был в восторге от ее восторга. В особенности ее забавляли комод в гостиной и остроты Люишема над туалетными мешочками и олеографиями.

Уничтожив отбивные, большую часть консервированной лососины и свежеиспеченную булку, они с новым аппетитом приступили к пудингу из тапиоки. Разговор велся отрывками.

— Ты слышал, она назвала меня «мадам»? «Мадам» — вот как.

— А сейчас мне придется выйти, сделать кое-какие покупки. Нужно купить все необходимое на воскресенье и на утро в понедельник. Я должна составить список. Нехорошо, если она заметит, как мало я смыслю в хозяйстве... Ах, если бы знать побольше!

В то время Люишем отнесся к ее признанию в хозяйственном невежестве только как к поводу для веселых шуток. А потом, заговорив на другую тему, он принялся выражать ей сочувствие по поводу того, как неторжественно была обставлена их свадьба.

— И подружек невесты не было,— говорил он,— и детишки не рассыпали цветы, ни карет, ни полицейских, чтобы охранять свадебные подарки,— словом, ничего того, что полагается. Не было даже белого платья. Только ты да я.

— Только ты да я. О!

— Все это чепуха,— помолчав, сказал Люишем.

— А скольких речей мы не услышали! — снова заговорил он.— Только представь себе: встает шафер и говорит: «Леди и джентльмены, за здоровье новобрачной!» Так, кажется, полагается говорит шаферу?

Вместо ответа она протянула ему руку.

— А знаешь ли ты,— продолжал он, уделив ее руке должное внимание,— что мы даже не были представлены друг другу?

— Не были! — подтвердила Этель.— Не были! Мы даже не были представлены!

По какой-то неведомой причине то обстоятельство, что они не были представлены друг другу, привело их в необыкновенный восторг...

К вечеру, после того, как Люишем распаковал кое-что из книг и прочих пожитков, его можно было видеть на улице, где он, не таясь и пребывая в превосходном настроении, нес вслед за Этель ее покупки. В руках у него были свертки и фунтики из синей бумаги, свертки из серой оберточной бумаги и пакет с кондитерскими изделиями, а из бокового кармана его ист-эндского пальто торчал хвост завернутой в бумагу пикши. С такими высокими чувствами и такими убогими средствами начали они свой медовый месяц.

В воскресенье вечером они долго гуляли по тихим улицам, пока не очутились наконец в Гайд-парке. Вечер ранней весны был мягким и ясным, в небе ласково светила луна. Они смотрели с моста на Серпентайн, на огоньки Паддингтона, желтые и далекие. Так они стояли, еле заметные маленькие фигурки, прижавшись друг к другу. Сначала они что-то шептали, потом совсем смолкли.

Потом им показалось, что мимо кто-то прошел, и Люишем поспешил заговорить в своей возвышенной манере. Он сравнил Серпентайн с жизнью и нашел символическое значение в темных берегах Кенсингтон-гарденс и далеких ярких огнях.

— Долгая борьба,— сказал он,— и в конце огни,— хотя, что он подразумевал под этими огнями в конце, он и сам не знал. Не знала этого и Этель, но восторженное чувство его вполне разделяла.— Мы боремся с миром,— добавил он, ощущая огромное удовольствие от этой мысли.— Весь мир против нас, и мы боремся с ним.

— И победить нас нельзя,— сказала Этель.

— Разве можно нас победить, когда мы вместе? — спросил Люишем.— Ради тебя я готов драться с десятком миров.

Под ласковым сиянием луны бороться с миром казалось приятно, благородно и даже легко, ибо отваги у них было хоть отбавляй.

— Ви, наверное, не ошень тавно замушем,— вкрадчиво улыбаясь, заметила мадам Гэдоу, когда отворила дверь Этель, проводившей Люишема до школы.

— Не очень,— призналась Этель.

— Ви ошень щастливи,— сказала мадам Гэдоу и вздохнула.— Я тоже била ошень щастлива.

ГЛАВА XXIII

МИСТЕР ЧЕФФЕРИ У СЕБЯ ДОМА

В понедельник, когда мистер и миссис Д. Э. Люишем отправились с визитом к миссис и мистеру Чеффери, позолоченная завеса сплошного восторга немного приподнялась. Миссис Люишем явно одолевали мрачные предчувствия, но сам Люишем еще продолжал парить в облаках и держался бесстрашным героем. На нем была бумажная сорочка с полотняным воротничком и очень красивый черный атласный галстук, который миссис Люишем в тот же день купила по собственной инициативе. Ей, естественно, хотелось, чтобы он выглядел как можно лучше.

Миссис Чеффери явилась ему в полуосвещенном коридоре в виде грязного чепца над плечом Этель и двух черных рукавов вокруг ее шеи. Она оказалась затем маленькой пожилой женщиной с тонким носом, торчащим из-под очков в серебряной оправе, бесхарактерным ртом и растерянными глазами — нелепое, неряшливое существо, странно похожее лицом на Этель. Она явно дрожала от нервного возбуждения.

Она помедлила в нерешительности, вглядываясь в Люишема, затем с энтузиазмом его расцеловала.

— Значит, это и есть мистер Люишем! — воскликнула она.

За всю жизнь Люишема, начиная с давно забытых дней младенчества, это была третья целовавшая его женщина.

— Я так боялась... Вот! — Она истерически рассмеялась.— Извините меня за мои слова, но так приятно убедиться, что вы... молоды и как будто порядочны. Не то, чтобы Этель... Он был просто ужасен,— добавила миссис Чеффери.— Тебе не следовало писать о гипнотизировании. И от Джейн такие письма... Вот! Впрочем, он ждет и слушает...

— Куда нам идти, мама? Вниз? — спросила Этель.

— Он ждет вас там,— ответила миссис Чеффери.

Она взяла тусклую керосиновую лампочку, и по мрачной винтовой лестнице они все вместе спустились в подвал, где находилась столовая, освещенная газом, который горел под матовым стеклянным абажуром со звездами. Этот спуск произвел на Люишема гнетущее впечатление. Он шел первым. У двери он остановился и глубоко вздохнул. Что, черт побери, собирается говорить этот Чеффери? Хотя ему-то, разумеется, все равно.

Чеффери стоял спиной к горящему камину, подрезая ногти перочинным ножичком. Его очки с позолоченными ободками были сдвинуты вниз, образуя пятно света на кончике его длинного носа; он оглядел мистера и миссис Люишем поверх очков с...— мистер Люишем на мгновение не поверил своим глазам: нет, определенно он улыбался — явно шутливой улыбкой.

— Итак, ты вернулась,— довольно весело обратился он к Этель через голову Люишема. Говорил он каким-то фальцетом.

— Она пришла навестить свою мать,— сказал Люишем.— Вы, полагаю, и есть мистер Чеффери?

— Хотелось бы знать, кто вы такой, черт побери? — воскликнул Чеффери, откидывая назад голову, чтобы можно было смотреть сквозь очки, а не поверх них, и смеясь от души.— Я склонен думать, что в наглости вы не имеете себе равных. Уж не тот ли вы самый мистер Люишем, о котором сия заблудшая девица упоминает в своем письме?

— Он самый.

— Мэгги,— обратился мистер Чеффери к миссис Чеффери, — бывают люди, с которыми деликатничать бесполезно, которые деликатности просто не понимают. У вашей дочери есть брачное свидетельство?

— Мистер Чеффери! — воскликнул Люишем, а миссис Чеффери вскричала:

— Джеймс! Как ты можешь?

Чеффери защелкнул перочинный нож и сунул его в карман жилета. Затем он поднял взгляд и снова заговорил тем же ровным голосом:

— Мне представляется, что мы цивилизованные люди и готовы решить наши дела цивилизованным путем. Моя падчерица проводит вне дома две ночи и возвра-

щается с так называемым мужем. Я по крайней мере не намерен оставаться в неведении относительно узаконенности ее положения.

— Вам бы следовало знать ее лучше...— начал было Люишем.

— К чему споры на этот счет,— весело спросил Чефферн, длинным пальцем указуя на невольный жест Этель,— когда свидетельство у нее в кармане? С таким же успехом, я полагаю, она может предъявить его. Вот видите. Не бойтесь вручить его мне. Всегда можно получить другое по номинальной стоимости в два шиллинга семь пенсов. Благодарю вас... Люишем Джордж Эдгар. Двадцать один год. И... Тебе тоже двадцать один! Я никогда точно не знал, сколько тебе лет, дорогая. Разве твоя мать скажет когда-нибудь? Студент! Благодарю вас. Весьма обязан. На душе у меня и вправду стало гораздо легче. А теперь — что вы желаете сказать в свое оправдание по поводу этого столь примечательного события?

— Вы получили письмо,— ответил Люишем.

— Я получил письмо с извинениями — выпады в мой адрес я игнорирую... Да, сэр, письмо с извинениями. Вам, молодые люди, захотелось пожениться, и вы использовали благоприятный момент. В вашем письме вы даже не упоминаете о том обстоятельстве, что вам просто захотелось пожениться. Какая скромность!

— Вы явились сюда, уже став мужем и женой. Это нарушает установленный в нашем доме порядок, это причиняет нам бесконечные волнения, но вам до этого нет дела! Я не порицаю вас. Порицать следует природу. Ни один из вас пока не знает, на что вы себя обрекли. Узнаете потом. Вы муж и жена, и сейчас это самое важное... (Этель, милочка, вынеси шляпу и палку твоего мужа за дверь.) А вы, сэр, значит, изволите не одобрять того способа, которым я зарабатываю себе на жизнь?

— Видите ли...— начал Люишем.— Да. Вынужден заявить, что это именно так.

— А вас, собственно, никто к подобному заявлению не вынуждает. Только отсутствие опыта служит вам извинением.

— Да, но это неправильно, это нечестно.

— Догма,— сказал Чеффери.— Догма!

— То есть как это догма? — спросил Люишем.

— Просто догма, и все. Но об этом стоит поспорить при более удобных обстоятельствах. В эту пору мы обычно ужинаем, а я не из тех, кто борется против свершившихся фактов. Мы породнились. От этого никуда не уйдешь. Оставайтесь ужинать, и мы с вами выясним все спорные вопросы. Мы связаны друг с другом, давайте же извлечем из нашего родства максимальную пользу. Наши жены — ваша и моя — накроют на стол, а мы тем временем продолжим беседу. Почему бы вам не сесть на стул вместо того, чтобы стоять, облокотившись о его спинку? Это семейный дом—domus,—а не дискуссионный клуб,—причем довольно скромный, несмотря на мое возмутительное мошенничество... Так-то лучше. Прежде всего, я надеюсь, надеюсь от души,— Чеффери вдруг заговорил внушительно,— что вы не диссидент.

— Что? — переспросил Люишем.— Нет, я не диссидент.

— Так-то лучше,— сказал мистер Чеффери.— Очень этому рад. А то я уж немного боялся... Что-то в вашем поведении... Не выношу диссидентов. Питаю к ним особое отвращение. На мой взгляд, это огромный недостаток нашего Клэпхема. Видите ли... Я ни разу не встречал среди диссидентов людей порядочных, ни разу.

Он сделал гримасу, очки свалились у него с носа и повисли, звякнув о пуговицы жилета.

— Очень рад,— повторил он, снова водружая их на место.— Терпеть не могу диссидентов, нонконформистов, пуритан, вегетарианцев, членов общества трезвенников и прочих. Мне по натуре чуждо лицемерие и формализм. По складу своему я истый эллин. Доводилось ли вам читать Мэтью Арнольда? [1]

— Кроме книг, нужных мне для занятий...

— А! Вам следует почитать Мэтью Арнольда. Удивительно ясный ум! У него вы можете отыскать то самое качество, которого порой недостает ученым. Они, пожалуй, слишком привержены к феноменализму, знаете ли, несколько склонны к объективизму. Я же ищу ноумен.

---

[1] Мэтью, Арнольд (1822—1888) — английский поэт, публицист и теоретик литературы.

Ноумен, мистер Люишем! Если вы следите за ходом моих мыслей...

Он умолк, а глаза его из-за очков мягко-вопросительно смотрели на Люишема. В комнату снова вошла Этель, уже без шляпы и жакета, и внесла звеневший у нее в руках квадратный черный поднос, белую скатерть, тарелки, ножи и стаканы и принялась накрывать на стол.

— Я слежу,— краснея, ответил Люишем. У него не хватило смелости признаться, что он не понимает значения этого необыкновенного слова.— Продолжайте, я слушаю.

— Я ищу ноумен,— с удовольствием повторил Чефферн и сделал рукой жест, означавший, что все остальное, кроме ноумена, он отметает прочь.— Я не могу довольствоваться поверхностным и внешним наблюдением. Я принадлежу к нимфолептам, знаете ли, к нимфолептам... Я должен докопаться до истины вещей. До их неуловимой основы... Я взял за правило никогда не лгать самому себе, никогда. Немного найдется людей, кто может этим похвастаться. Я считаю, что правда начинается в собственном доме. И большей частью только там она и остается. Так безопаснее и проще, знаете ли! У большинства людей, однако,— у всех этих типичных диссидентов par exellence[1] — правда только и таскается по улицам, нанося визиты соседям. Вам понятна моя точка зрения?

Он взглянул на Люишема, которому казалось, что в голове у него сплошной туман. «Нужно быть внимательным,— подумал Люишем,— по возможности более внимательным».

— Видите ли,— осторожно начал он,— для меня несколько неожиданно, если можно так выразиться, при всем том, что было, услышать, как вы...

— Рассуждаю о правде? Вовсе нет, если вы поймете мою точку зрения. Мою принципиальную позицию. Вот о чем я говорю. Вот что я, естественно, стараюсь объяснить вам, поскольку мы породнились и вы стали как бы моим пасынком. Вы молоды, очень молоды, а потому суровы и скоры в суждениях. Только годы учат правильно мыслить, смягчают глянец образования. Из вашего письма да и по вашему лицу мне ясно, что вы были в числе

[1] Преимущественно *(франц.)*.

присутствовавших во время того небольшого происшествия в доме Лэгьюна.

Он поднял палец, словно только что сообразив нечто новое.

— Кстати, это объясняет и поведение Этель! — воскликнул он.

Этель со стуком поставила на стол горчицу.

— Разумеется,— отозвалась она, но не очень громко.

— Но вы знали ее и раньше? — спросил Чеффери.

— По Хортли,— ответил Люишем.

— Понятно,— сказал Чеффери.

— Я участвовал... Я был в числе тех, кто способствовал разоблачению обмана,— сказал Люишем.— А теперь, поскольку вы затронули этот вопрос, я считаю своим долгом сказать...

— Я знаю,— перебил его Чеффери.— Но каким ударом это было для Лэгьюна! — Мгновение, поджав губы, он рассматривал носки своих ботинок.— А фокус с рукой, знаете ли, был недурной затеей,— добавил он со странной усмешкой в сторону.

Несколько секунд Люишем мучительно размышлял над последними словами Чеффери.

— Мне все это представляется в несколько ином свете,— наконец изрек он.

— Не можете отказаться от своего пристрастия к морали, а? Ну ничего. Об этом мы еще потолкуем. Но, если оставить в стороне вопрос о нравственности, просто как артистически выполненный фокус,— это было сделано недурно.

— Я не очень разбираюсь в фокусах...

— Как все, кто принимается за разоблачения. Признайтесь, что вы никогда не слыхали и не думали об этом прежде, я говорю о пузыре. А между тем ясно, как дважды два, что медиум, у которого руки заняты, может действовать только зубами, а что может быть лучше пузыря, запрятанного под лацкан пиджака? Что, я вас спрашиваю? Но, хотя я неплохо знаком с медиумической литературой, там нигде об этом даже не упоминается. Ни разу. Меня всегда удивляло, как много упускают исследователи. Право, они никогда не учитывают, на чьей стороне преимущество, и это с самого начала ставит их в не-

выгодное положение. Вот смотрите! Я по натуре своей человек ловкий. Все свободное время я придумываю разные фокусы и, стоя или сидя, практикуюсь в выполнении их, потому что это очень меня забавляет. Неплохое развлечение, а? И что же в результате? Возьмем хотя бы одно: мне известны сорок восемь способов производить стук, из которых десять по крайней мере являются оригинальными. Десять никому не известных способов производить стук.— Тон его был весьма выразителен.— Иные из них просто превосходны. Вот!

Как бы в подтверждение его слов раздался стук — где-то между Люишемом и Чеффери.

— Ну как? — спросил Чеффери.

Каминная доска открыла беглый огонь, а стол под самым носом у Люишема хлопал, как шутиха.

— Видите?—спросил Чеффери, закладывая руки под фалды сюртука.

Некоторое время Люишему казалось, что вся комната щелкает пальцами.

— Отлично, а теперь возьмем другое. Например, самый серьезный опыт, который я с честью выдержал. Два почтенных профессора физики — не Ньютоны, разумеется, но вполне достойные, почтенные, важные профессора физики,— затем дама, стремившаяся доказать, что загробная жизнь существует, и журналист, который нуждался в материале для статьи, то есть человек, который, как и я, зарабатывает на жизнь спиритизмом, решили подвергнуть меня испытанию. Испытывать меня!.. У них, разумеется, есть своя работа: преподавание физики, проповедование религии, организация опытов и так далее. Они и часа-то в день не уделяют моему ремеслу, большинство из них в жизни своей никого не обманывали и, хоть убей, неспособны трех миль проехать без билета, чтобы не быть пойманными. Ну, понятно вам теперь, на чьей стороне преимущество?

Он умолк. В Люишеме шла, казалось, какая-то внутренняя борьба.

— Знаете,— снова заговорил Чеффери,— поймали-то вы меня совершенно случайно. Просто надувная рука выскочила у меня изо рта. А иначе тому вашему приятелю с резким голосом никогда бы это не удалось. Решительно никогда.

С трудом, как человек, которому приходится поднимать тяжести, Люишем сказал:

— Видите ли, речь ведь не об этом. Я не сомневаюсь в ваших способностях. Дело в том, что это обман...

— Мы еще дойдем до этого,— пообещал Чеффери.

— Совершенно очевидно, что мы смотрим на вещи с разных точек зрения.

— Справедливо. И именно это нам придется обсудить. Именно это.

— Обман есть обман. От этого никуда не уйдешь. Это довольно просто.

— Подождите, пока я выскажусь,— с жаром заговорил Чеффери.— Необходимо, чтобы вы поняли мои доводы. А у меня они есть. После получения вашего письма я все время об этом думаю. Поистине есть высший смысл! Можно сказать, что у меня есть свое предназначение. Я что-то вроде пророка. Вы еще не поняли?

— Тьфу, пропасть! — не выдержал Люишем.

— А! Вы молоды, вы незрелы. Мой дорогой юноша, вы только начинаете жить. И согласитесь, что у человека вдвое старше вас могут быть более широкие взгляды. Но вот и ужин. На некоторое время, во всяком случае, заключим перемирие.

Снова вошла Этель, неся еще один стул, а за ней появилась и миссис Чеффери с кувшином слабого пива. Скатерть, как заметил Люишем, когда он повернулся к столу, была порвана в нескольких местах и не заштопана, да к тому же покрыта пятнами, а в центре стола красовался давно не чищенный судок с горчицей, перцем, уксусом и тремя неопределенного назначения пустыми бутылочками. Хлеб лежал на широкой дощечке с благочестивым изречением по ободку, а на маленькой тарелочке высилась непропорционально огромная гора сыра. Мистера и миссис Люишем усадили по разные стороны стола, а миссис Чеффери села на сломанный стул, потому что, как она заявила, только ей был известен его нрав.

— Сыр этот столь же питателен, неприглядеи и неудобоварим, сколь и наука,— заметил Чеффери, разрезая и раздавая ломтики сыра.— Но раздавите его — вот так — своей вилкой, добавьте немного доброго дорсетского масла, помажьте горчицей, посыпьте перцем — перец необходим,— полейте солодовым уксусом и все это

перемешайте. У вас получится сложная смесь под названием «сырный паштет», которую можно кушать не без приятности. Так же поступают мудрецы с жизненными фактами — не заглатывают целиком, но и не отвергают, а приспосабливают к своим нуждам.

— Но ведь перец и горчица — не факты,— отозвался Люишем, и это была его единственная за весь вечер удачная реплика.

Чеффери признался, что его сравнение оказалось не совсем уместным, и так рассыпался в комплиментах, что Люишем не мог отказать себе в удовольствии бросить через стол взгляд на Этель. Но он тут же припомнил, что Чеффери — ловкий негодяй, от которого лучше заслужить порицание, нежели похвалу.

Некоторое время Чеффери был увлечен «сырным паштетом», и разговор шел вяло. Миссис Чеффери расспрашивала Этель об их квартире, которую Этель расхваливала изо всех сил.

— Обязательно приходите как-нибудь к чаю,— пригласила она, не дожидаясь, что скажет Люишем,— и сами все посмотрите.

Чеффери удивил Люишема своей полной осведомленностью о материальном положении студента Южно-Кенсингтонского педагогического колледжа.

— У вас, вероятно, есть еще деньги, кроме той гинеи? — несколько напрямик спросил он.

— Достаточно для начала,— краснея, ответил Люишем.

— И вы рассчитываете, что они там в университете впоследствии позаботятся о вас — предоставят вам должность фунтов на сто в год?

— Да,—ответил Люишем несколько неохотно.—Фунтов на сто или около того. Пожалуй. Но, кроме Южного Кенсингтона, есть и другие места, если меня не захотят оставить здесь.

— Понятно,— сказал Чеффери.— Но на сотню фунтов особенно не разойдешься. Впрочем, немало достойных людей вынуждены существовать и на меньшие деньги.

Он помолчал, о чем-то размышляя, а потом попросил Люишема передать ему кувшин с пивом.

— А ваша матушка жива, мистер Люишем? — внезапно заинтересовалась миссис Чеффери и стала расспрашивать обо всех его родственниках подряд. Когда очередь дошла до водопроводчика, миссис Чеффери, вдруг приняв важный вид, заметила, что в каждой семье есть бедные родственники. Затем этот важный вид ушел в то самое прошлое, из которого он и возник.

Ужин кончился. Чеффери вылил остаток пива в свой стакан, вытащил длинную-предлинную глиняную трубку и пригласил Люишема закурить.

— Хорошо честно покурить,— сказал Чеффери, приминая табак в трубке, и добавил: — У нас, в Англии, честность и хорошие сигары вместе не встречаются.

Люишем нашарил у себя в кармане свои алжирские сигареты, и Чеффери, неодобрительно глянув на него сквозь очки, вернулся к самооправданию. Дамы удалились мыть посуду.

— Видите ли,— начал Чеффери сразу же после первой затяжки,— насчет обмана... Мне жизнь вовсе не кажется такой простой, как вам.

— И мне жизнь не кажется простой,— возразил Люишем,— но я считаю, что на свете существует и хорошее и дурное. И пока, мне представляется, вы еще ничем не доказали, что спиритический обман — это хорошо.

— Давайте обсудим этот вопрос,— сказал Чеффери, кладя ногу на ногу,— давайте его обсудим. Видите ли,— он сделал затяжку,— я думаю, вы несколько преуменьшаете значение иллюзии в жизни, истинную природу лжи и обмана в человеческом поведении. Вы склонны отрицать лишь одну форму обмана, потому что она не принята всеми и всюду и вызывает некоторое недоверие, а также — как свидетельствуют обтрепанные манжеты моих брюк и наш скромный ужин — малое вознаграждение.

— Дело не в этом,— ответил Люишем.

— Я же готов утверждать,— продолжал излагать свою теорию Чеффери,— что честность, по существу, является в обществе силой анархической и разрушающей, что общность людей держится, а прогресс цивилизации становится возможным только благодаря энергичной, а подчас даже агрессивной лжи, что Общественный Договор — это не что иное, как уговор людей между собой лгать друг другу и обманывать себя и других ради обще-

го блага. Ложь — тот цемент, что скрепляет союз дикаря-одиночки с обществом. На этом общеизвестном тезисе я основываю свои оправдания. Мой спиритизм, смею вас уверить,— лишь частный пример общего правила. Не будь я по натуре человеком ленивейшим из ленивых, лишенным терпения и склонным к авантюризму, питающим к тому же страшное отвращение к писанию, я сочинил бы великую книгу об этом и приобрел на всю жизнь уважение самых умных на свете фальсификаторов.

— Но как вы намерены это доказать?

— Доказать! Достаточно просто указать. И теперь уже есть люди — Бернард Шоу, Ибсен и им подобные,— которые кое-что постигли и проповедуют новое евангелие. Что есть человек? Вожделение и алчность, сдерживаемые лишь страхом да неразумным тщеславием.

— С этим я не могу согласиться,— возразил мистер Люишем.

— Согласитесь, когда будете постарше,— ответил Чеффери.— Есть истины, которыми овладевают с годами. Что же касается лжи, давайте рассмотрим устройство цивилизованного общества, возьмем для сравнения дикаря. Вы обнаружите только одно существенное различие между дикарем и человеком цивилизованным: первый еще не научился хитрить, второй же делает это с успехом. Возьмите самое явное отличие — одежду цивилизованного человека, придуманную им во имя сохранения пристойности. Что есть одежда? Сокрытие существующих фактов. Что есть приличие? Подавление естественных желаний! Я не против пристойности и приличия, имейте в виду, но ведь нельзя отрицать, что они неотъемлемые части цивилизации, а по существу, они — «suppressio veri»[1]. В карманах своей одежды наш гражданин носит деньги. У простодушного дикаря денег нет. Для него кусок металла — это кусок металла, годный, пожалуй, для украшения, не более того. И он прав. Так и для всякого здравомыслящего человека, все прочее — он понимает — от людской глупости. Но для простого цивилизованного человека всеобщая обменоспособность золота — это чудо и первооснова. Вдумайтесь-ка! Почему это так? Да ни почему! Я всю жизнь дивлюсь легковерию

---

[1] Сокрытие истины (*лат.*).

своих ближних. Порой по утрам, смею вас уверить, я лежу в постели, думаю, что, быть может, за ночь люди обнаружили обман, надеюсь, что вот-вот услышу внизу шум и увижу, как в комнату ворвется ваша теща, держа в руках шиллинг, который не пожелал взять молочник. «Что это? — скажет он.— Эту мерзость в обмен на молоко?» Но ничего подобного не происходит. Никогда. А если бы и произошло, если бы люди прозрели, разгадали обман с деньгами, что бы случилось? Тогда проявилась бы истинная натура человека. Я вскочил бы с постели, схватил первое попавшееся оружие и кинулся вслед за молочником. Конечно, в постели полежать приятно, но молоко тоже необходимо. Высыпали бы на улицу и соседи — им тоже нужно молоко. Молочник, внезапно поняв, что происходит, погнал бы свою лошадь изо всех сил. Держи его! Лови! Хватай! Тележку переворачивают! Деритесь сколько угодно, но не опрокиньте бидон! Разве вы не представляете себе эту сцену, где все разумно от начала до конца? Я возвращаюсь домой, окровавленный, в синяках, но зато с бидоном в охапку. Да, я захватил бидон, уж это я бы не прозевал... Но к чему продолжать? Вам лучше, чем остальным, должно быть известно, что жизнь — это борьба за существование, борьба за кусок хлеба. Деньги же — ложь, скрадывающая нашу дикость.

— Нет,— возразил Люишем.— Нет. Я не могу с этим согласиться.

— Что же такое, по-вашему, деньги?

— Договорите сначала вы,— постарался увильнуть от ответа мистер Люишем.— Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к мошенничеству на сеансе.

— На этом я строю свою защиту. Возьмите, к примеру, какого-нибудь ужасно уважаемого человека, скажем, епископа.

— Видите ли,— ответил Люишем,— я не очень-то уважаю епископов.

— Неважно. Возьмите обычного ученого профессора. Обратите внимание на его костюм, который делает из него приличного гражданина и скрывает тот факт, что физически он — вырождающийся тип с большим брюхом и вялой мускулатурой. Вот вам первая ложь этого человека. На манжетах его брюк бахромы нет, мой мальчик. Обра-

тите внимание на его волосы, тщательно причесанные и подстриженные, словно они от природы длиной в полдюйма, что тоже ложь, ибо в действительности по ветру должны были бы развеваться всего несколько десятков рыжевато-седых волосков длиною в добрый ярд. Обратите внимание и на сдержанно-самодовольное выражение его лица. Во рту у него ложь в виде вставных зубов. А где-то на земле трудятся бедняки, добывая ему мясо, хлеб и вино. Одежда его соткана из судеб вечно сгорбленных над работой ткачей, огонь ему дают фосфорные спички, отравляющие тех, кто их изготовляет, ест он с тарелок, покрытых свинцовой глазурью,— весь путь его устлан человеческими жизнями... Подумайте об этом круглолицем, благополучном существе! И, как сказал Свифт, подумать только, что этакое существо еще гордится собой!.. Он делает вид, что его необыкновенные открытия служат в некотором роде справедливым вознаграждением за труд других, за их страдания. Он делает вид, что он и его паразитическая карьера — плата за их подавленные желания. Представьте, как он бранит своего садовника за плохо пересаженную герань; какой густой туман лжи должен окутывать их, чтобы садовник ребром лопаты тут же не поверг наглеца во прах, из которого тот и поднялся... Его пример — это пример всякой благополучной жизни. Какой ложью и обманом оборачивается вся вежливость, все хорошее воспитание, вся культура и изысканность, пока хоть один оборванный бедняк влачит на земле голодное существование!

— Но это же социализм! — воскликнул Люишем.— Я...

— Никаких «измов»,— возразил Чеффери, повышая свой и без того звучный голос.— Одна только страшная правда, правда, заключающаяся в том, что основа человеческого общества — ложь. Тут не поможет ни социализм и никакой другой «изм». Таково положение вещей.

— Не могу согласиться...— начал было Люишем.

— ...с безнадежностью, потому что вы молоды, но с нарисованной картиной вы согласны.

— В известных пределах, пожалуй.

— Вы согласны, что общественное положение большинства уважаемых людей запятнано обманом, лежащим в основе наших социальных установлений. А без

этого и уважать бы их не стали. Даже ваше собственное положение... Кто дал вам право жениться и заниматься интересными научными изысканиями, в то время как другие молодые люди заживо гниют в рудниках?

— Я признаю...

— Вы и не можете не признать. А вот вам мое положение. Поскольку все в жизни запятнано обманом, поскольку жить и говорить правду свыше человеческих сил и мужества — как в этом нетрудно убедиться,— не лучше ли человеку заняться каким-нибудь откровенным и сравнительно безвредным мошенничеством, нежели рисковать своей душевной чистотой ради сомнительного благополучия и впасть в конце концов в самообман и фарисейство? Вот настоящая опасность. Вот против чего я всегда настороже. Берегитесь этого! Фарисейство — грех из грехов!

Мистер Люишем дергал себя за усы.

— Вы начинаете меня понимать. И, в сущности, эти достойные люди вовсе не так уж страдают. Если не я возьму у них деньги, заберет обманом кто-нибудь другой. Их безмерная уверенность в своих умственных способностях может вызвать к жизни и более гнусный обман, нежели мой шутливый стук. Так же рассуждают и наши неверующие епископы, а я чем хуже их? Эти деньги могли бы, например, достаться благотворительным учреждениям, или попасть в карман и без того разъевшегося секретаря, или пойти на уплату долгов блудного сынка. В сущности, на худой конец я нечто вроде современного Робин Гуда. Я взимаю подать с богатых соответственно их доходам. Разумеется, я не в состоянии оделять бедняков, ибо мне самому не хватает. Но зато я творю другие добрые дела. Немало слабых духом успокоил я своей ложью — стуком и разными глупостями — насчет загробной жизни. Сравните меня с этими негодяями, которые обогащаются за счет торговли фосфорными соединениями и свинцовыми ядами, сравните меня с миллионером, который содержит мюзик-холл, уделяя особое внимание актрисам, со страховщиком, с обычным биржевым маклером. Или с любым адвокатом...

— Есть епископы,— продолжал Чеффери,— которые верят в Дарвина и не верят в Моисея. Я, во всяком случае, считаю себя более достойным человеком, ибо, хотя

я, быть может, и похож на них, но я лучше, я по крайней мере сам придумываю свои фокусы, да, сам.

— Все это очень хорошо...— опять начал Люишем.

— Я мог бы простить им их нечестность,— перебил его Чефферн,— но не глупость, не дурацкое отречение от разума. Господи! Если стряпчий плутует не по правилам, не по их жалким священным правилам, его выбрасывают вон, обвиняя в недостойном поведении.

Он умолк, задумался и чуть приметно усмехнулся.

— Некоторые из моих фокусов,— поворачиваясь к Люишему и многозначительно похлопывая по скатерти рукой, сказал он вдруг совершенно другим голосом и улыбнулся поверх очков,— некоторые из моих фокусов дьявольски ловко придуманы, знаете ли, дьявольски ловко и стоят вдвое больше, вдвое больше, чем деньги, которые они мне приносят.

Он снова повернулся к огню, затягиваясь уже еле тлеющей трубкой и поглядывая на Люишема уголком глаза поверх очков.

— Кое-какие мои находки озадачили бы самого Маскилайна[1],— сказал он.— Его знаменитая шарманка, наверное, сама заиграла бы от удивления. Я обязательно должен некоторые из них вам объяснить, поскольку мы теперь породнились.

Мистеру Люишему не сразу удалось восстановить течение своих мыслей, ибо он окончательно был сбит с толку безудержной погоней за быстролетными аргументами Чеффери.

— Но если следовать вашим принципам, то можно делать все, что заблагорассудится! — возразил он.

— Совершенно верно! — подтвердил Чеффери.

— Но...

— Довольно странный метод,— сказал Чеффери,— судить о принципах человека, исходя в оценке его поступков из совершенно других принципов.

Люишем на минуту задумался.

— Пожалуй,— наконец сказал он с видом человека, убежденного против своей воли.

Он сознавал, что его логика недостаточно сильна. И тогда решил отказаться от тонкостей вежливого спора. Ему пришло на ум несколько сентенций, приготовлен-

[1] Маскилайн — известный лондонский фокусник тех лет.

ных им заранее, и он в несколько резкой форме поспешил их изложить.

— Во всяком случае,—заключил он,—с обманом я не согласен. Что бы вы ни говорили, я придерживаюсь мнения, высказанного в моем письме. Со всеми этими делами Этель покончила. Я не намерен ничего предпринимать специально, чтобы разоблачить вас, но, если мне придется, я не стану скрывать того, что думаю о спиритических явлениях. Пусть вам это будет ясно раз и навсегда.

— Мне и так ясно, мой дорогой зятек,— сказал Чеффери.— Однако в данный момент мы ведем разговор не об этом.

— Но Этель...

— Этель ваша,— ответил Чеффери.— Этель ваша,— повторил он секунду спустя и задумчиво добавил: — Содержать ее будете вы.

— Но возвратимся к иллюзии,— снова заговорил он, с явным облегчением отказываясь от столь прозаической темы.— Подчас я согласен с епископом Беркли, что весь опыт есть, вероятно, нечто совершенно отличное от действительности. Что знание по существу своему иллюзорно. Я, вы и наш с вами разговор — все это лишь иллюзия. Что такое я, согласно вашей науке? Облако бессчетных атомов, бесконечное сочетание клеточек. Рука, которую я протягиваю,— это я? А голова? Разве поверхность моей кожи — не сугубо приблизительная, не грубо условная грань? Вы скажете, я — это мой разум? Но вспомните борьбу стремлений. Предположим, у меня появляется какое-нибудь желание, которое я сдерживаю,— это я его сдерживаю — значит, желание вне меня, оно не я, так? Но предположим, оно пересиливает меня и я ему подчиняюсь — тогда, значит, это желание — часть меня самого, не так ли? А! У меня голова идет кругом от всех этих загадок! Боже! Какие мы легковесные, неустойчивые существа: то одно, то другое, мысль, желание, поступок, забвение,— и все время мы до нелепости уверены, что мы — это мы! Что же касается вас, то вы, всего каких-нибудь пять-шесть лет назад научившись мыслить, сидите здесь в уверенности, что вам все понятно, сидите во всем вашем унаследованном первородном грехе — начиненная галлюцинациями соломинка — и судите и осуждаете. Вы, видите ли, умеете различать добро

и зло! Мой мальчик, это умели делать и Адам с Евой... как только познакомились с отцом лжи!

В конце вечера появились виски и горячая вода, и Чеффери, проникнувшись величайшей учтивостью, заявил, что редко получал столько удовольствия, как от разговора с Люишемом, и настоял, чтобы все присутствующие выпили виски. Миссис Чеффери и Этель добавили себе сахар и лимон. Люишем немного удивился, увидев, как Этель пьет грог.

У дверей миссис Чеффери снова с энтузиазмом расцеловала на прощание Люишема. Она искренне верит, сказала она Этель, что все к лучшему.

По дороге домой Люишем был задумчив и озабочен. Проблема Чеффери приняла гигантские размеры. Временами даже философский автопортрет этого мошенника, довольно остроумно и художественно живописавшего себя выразителем духа истины, представлялся ему не лишенным убедительности. Лэгьюн, бесспорно, осел, а своими спиритическими изысканиями он, вероятно, просто сам напрашивается на жульничество. Затем он припомнил, что все это имеет непосредственное отношение к Этель...

— За ходом рассуждений твоего отчима довольно трудно следить,— сказал он, уже сидя на кровати и снимая ботинки.— Он хитер, чертовски хитер. Не разберешь, где и поймать-то его. Он столько наговорил, что начисто сбил меня с толку.

Люишем подумал немного, потом снял ботинок и так и остался сидеть, держа его на коленях.

— Все, что он наговорил, разумеется, сплошная чепуха. Правда есть правда, а обман есть обман, что бы там ни рассказывали.

— Вот и я так думаю,— ответила Этель, глядясь в зеркало.— Именно так и я считаю.

ГЛАВА XXIV

ПОДГОТОВКА КАМПАНИИ

В субботу Люишем первым появился из-за створчатой двери. Через секунду он снова очутился в спальне, держа что-то в руке. Миссис Люишем так и застыла с юбкой на весу, изумленная тем изумлением, которое было написано на лице ее мужа.

— Посмотри-ка,— сказал Люишем.

Она взглянула в книгу, которую он держал раскрытой, и увидела длинный перечень предметов на неразборчивой смеси английского и немецкого языков, а рядом вертикальный столбец цифр, исполненный мрачного смысла. «1 терка угля — 6 п.» — такая строчка то и дело повторялась в этом зловещем списке, начиная и завершая его. Это был первый счет от мадам Гэдоу. Этель взяла его из рук мужа, чтобы рассмотреть поближе. Но и вблизи итог не сделался меньше. Их нагло обсчитывали! Им как-то сразу перестало казаться смешным, что хозяйка путает ведерко с теркой.

Этот документ, насколько я понимаю, положил конец неофициальному медовому месяцу мистера Люишема. Появление его было похоже на историю с бриллиантовой подвеской принца Руперта: мгновение — и все обратилось в прах. Целую неделю Люишем жил в блаженном убеждении, что жизнь соткана из любви и тайны, а теперь ему с удивительной ясностью напомнили, что она складывается из борьбы за существование и из воли к победе. «Возмутительная наглость!» — кипятился мистер Люишем, и завтрак на сей раз проходил в необычной, насыщенной грозой атмосфере: с одной стороны — гневное ворчание, с другой — испуг и оцепенение.

— Придется сегодня же после обеда поговорить с нею,— взглянув на часы, сказал Люишем.

Он запихал свои книги в блестящий черный портфель и поцеловал Этель — то был первый их поцелуй, не ставший многозначительной и торжественной церемонией. Он был данью привычке, да к тому же еще поспешной, ибо Люишем опаздывал на занятия, и дверь за ним захлопнулась. Этель в то утро не должна была провожать его, потому что, во-первых, он особо просил ее об этом, а во-вторых, она хотела помочь ему и собиралась переписать для него кое-какие лекции по ботанике, в которой он сильно отстал.

По дороге в школу Люишем испытывал нечто подозрительно похожее на упадок духа. Рассудок его был занят в основном соображениями арифметического свойства. Мысль, владевшую им настолько, что исключалось появление любой другой мысли, лучше всего представить в общепринятой деловой форме:

	Приход			Расход			
	Ф.	Ш.	П.		Ф	Ш.	П.
Наличные деньги .				Проезд в омнибусе до Южного Кенсингтона (по случаю опоздания)			2
М-р Л.	13	10	4½	6 завтраков в студенческом клубе		5	2½
М-сс Л. . . .		11	7	2 пачки сигарет (курить после обеда)			6
В банке	45	0	0	Женитьба и переезд	4	18	10
Стипендия	1	1	0	Необходимые добавления к приданому невесты		16	1
				Расход по хозяйству	1	1	4½
				«Несколько мелочей», нужных для хозяйства		15	3½
				Мадам Гэдоу за уголь, квартиру и обслуживание (по счету)	1	15	0
				Утеряно			4
				Остаток	50	11	2
Итого . . .	60	3	11½		60	3	11½

Из этой записи даже самому неделовому человеку ясно, что, если не считать чрезвычайных трат на женитьбу и «нескольких мелочей», купленных Этель, расходы превысили доход на два с лишним фунта, а короткий экскурс в область арифметики продемонстрирует, что через двадцать пять недель «остаток» в правой колонке будет равен нулю.

А между тем гинею в неделю он будет получать совсем не двадцать пять недель, а всего лишь пятнадцать, и тогда издержки основного капитала составят более трех гиней, что уменьшает назначенный нашим молодым людям «законный срок» до двадцати двух недель. Утонченному вкусу читателя эти подробности, несомненно, утомительны и неприятны, но только представьте себе, насколько неприятнее они были мистеру Люишему, в задумчивости шагавшему на занятия. Вы поймете, поче-

му он ускользнул из лаборатории и укрылся в читальном зале, где наблюдательный Смизерс, который зубрил свои лекционные записи, готовясь к теперь уже близкому второму экзамену на медаль Форбса, снова был потрясен до глубины души, когда увидел Люишема, лихорадочно листающего страницы целой кипы периодических изданий: «Образование», «Педагогический журнал», «Школьный учитель», «Наука и ремесла», «Универсальный корреспондент,», «Природа», «Атенеум», «Академия» и «Автор».

Заметив, что Люишем достал из кармана записную книжку и принялся делать в ней какие-то пометки, Смизерс протиснулся в проход возле его стола и, вынырнув с фланга, пошел в атаку.

— Что вы разыскиваете? — громким шепотом обратился он к Люишему, в то же время бросая внимательный взгляд на журналы.

Он убедился, что Люишем изучает колонку объявлений, и его недоумение еще больше возросло.

— Так, ничего,— тихо ответил Люишем, прикрывая рукой свои записи.— А вы чем теперь заняты?

— Ничем особенным,— ответил Смизерс,— просто слоняюсь по залу. Вы не были на собрании в прошлую пятницу?

Он повернул стул, встал на него коленями и, облокотясь на спинку, принялся шепотом повествовать о делах Дискуссионного клуба. Люишем слушал его невнимательно и отвечал предельно кратко. Что ему до всех этих ребячеств! Наконец Смизерс, совсем сбитый с толку, удалился, столкнувшись в дверях с Парксоном. Парксон, между прочим, не разговаривал с Люишемом после происшедшей между ними тягостной размолвки. Пробираясь к своему месту в конце стола, он кружным путем обошел Люишема, а усевшись, горделиво вскинул голову и принял исполненный достоинства вид, давая тем самым понять, как оскорбительно для него присутствие Люишема.

Люишем рылся в журналах, преследуя сразу две цели. Он хотел изыскать какой-нибудь способ самому зарабатывать деньги в дополнение к той гинее, что получал еженедельно, и, кроме того, желал изучить спрос на переписку на пишущей машинке. Что касается его

лично, то у него была смутная надежда, от которой сразу же пришлось отказаться, что, быть может, ему удастся на март заполучить какие-нибудь вечерние уроки. Но состав преподавателей в вечерних классах Лондона сохраняется в неизменности с сентября по июль — вакансия может появиться разве только по причине скоропостижной смерти одного из педагогов. Частные уроки были еще более привлекательны, но спроса на них он не обнаружил. О своих собственных способностях представление у него было еще по-юношески наивным, иначе он не тратил бы понапрасну столько времени, отмечая у себя в книжке наличие вакантной должности профессора физики в Мельбурнском университете. Он учел также возможность занять место редактора ежемесячника, посвященного социальным проблемам. Он бы вовсе не отказался от такого рода работы, хотя владелец журнала, возможно, и отказался бы от его услуг. Было еще вакантное место хранителя музея при Итонском колледже.

Что до переписки на машинке, то здесь такого разнообразия не было, зато все выглядело куда определеннее. В те дни жестокая конкуренция между людьми полуобразованными еще не довела цену за переписку на машинке до страшной цифры в десять пенсов за тысячу слов, и обычная цена составляла тогда один шиллинг шесть пенсов. Исходя из того, что Этель могла печатать тысячу слов в час и что она была способна работать пять-шесть часов в день, он пришел к выводу, что ее вкладом в семейный капитал никоим образом не следует пренебрегать. Она может заработать тридцать шиллингов в неделю. Сделав это открытие, Люишем, естественно, повеселел. Правда, на страницах журналов ему не попалось ни одного объявления о том, что литератору или кому-нибудь еще нужна машинистка, зато машинистки во множестве предлагали свои услуги. Очевидно, и Этель придется дать объявление. Нужно будет вставить слова: «Специальность — научная фразеология»,— решил Люишем. Он вернулся домой окрыленный надеждами и сведениями о вакансиях. В тот день ему пришлось истратить на марки целых пять шиллингов.

Расправившись с обедом, Люишем — несколько взволнованный — попросил мадам Гэдоу зайти к ним. Она явилась в самом любезном расположении духа, ни-

чуть не похожая на столь обычный в Англии тип недовольной квартирохозяйки. Она так и сыпала словами, отчаянно жестикулировала, что-то объясняла, но, к несчастью, говорила на смеси английского с немецким и в особо критические минуты предпочитала немецкий. Природная учтивость удерживала мистера Люишема от перехода границ этих двух государственных языков. Получасовые переговоры привели наконец к полюбовному соглашению — счет был уменьшен на шесть пенсов,— и обе стороны объявили себя удовлетворенными этим результатом.

Мадам Гэдоу оставалась хладнокровной до самого конца спора. У мистера Люишема лицо пылало, горели уши, волосы слегка растрепались, но уступка шести пенсов, во всяком случае, свидетельствовала о справедливости его притязаний.

— Она, по-видимому, решила нас испытать,— чуть виноватым тоном разъяснил он Этель.— Во что бы то ни стало нужно было проявить твердость. Теперь у нас вряд ли возникнут подобные недоразумения...

— А то, что она говорила об угле для плиты, разумеется, справедливо.

Затем молодая пара отправилась на прогулку в Кенсингтон-гарденс, где по случаю столь прекрасной весенней погоды Люишем истратил два пенса за право посидеть на двух заманчивых зеленых стульях неподалеку от оркестра. Между ними состоялся, по выражению Этель, «серьезный разговор». Она проявила поистине удивительное благоразумие и рассуждала очень серьезно и толково. Особенно много говорила она о необходимости экономии в домашних расходах и от души сокрушалась полному своему хозяйственному невежеству. Было решено приобрести солидное пособие по домоводству, которое ей предстоит тщательно изучить. У миссис Чеффери был дома свой оракул в хозяйственных делах — «Всеобщий справочник», но Люишем счел это творение антинаучным.

Этель полагала, что многому можно научиться и из шестипенсовых дамских журналов — однопенсовых в те дни почти не существовало. Эти издания она покупала еще тогда, когда у нее водились деньги, но в основном — о чем она сейчас горько сожалела — для того, чтобы по-

черпнуть сведения о новых фасонах шляп и тому подобной ерунде. Чем скорее они купят пишущую машинку, тем лучше. И тут Люишем вдруг сообразил, что не учел покупку пишущей машинки, когда производил подсчеты их ресурсов. Тем самым «законный срок» сокращался до двенадцати-тринадцати недель.

Весь вечер они сочиняли и переписывали письма, надписывали адреса на конвертах и приклеивали марки. Это были минуты, полные надежд.

— Мельбурн — прекрасный город,— говорил Люишем,— и нас ожидает чудесное путешествие.

Он прочел ей вслух свою просьбу о предоставлении ему должности профессора в Мельбурнском университете, прочел просто для того, чтобы послушать, как это звучит, но на нее перечень всех его научных успехов произвел глубокое впечатление.

— А я и не подозревала, что ты столько знаешь! — воскликнула она, и ей стало грустно от сознания, что она рядом с ним просто невежда.

Совершенно естественно, что, встретив дома такую поддержку, он стал писать свои письма в учительские агентства еще более самоуверенным тоном.

Объявление о переписке на машинке для «Атенеума» вызвало у него небольшое угрызение совести. После того как он переписал свой черновик, особо выделив красивым шрифтом «Специальность — научная фразеология», ему на глаза попались записи лекций, которые она приготовила для него. Почерк у нее был по-прежнему помальчишески круглый, как и тогда на аллее в Хортли, но пунктуация ограничивалась лишь расставленными наобум запятыми и тире, а в правописании трудных слов замечалась склонность идти по линии наименьшего сопротивления. Однако он успокоил себя мыслью, что сможет перечитывать и выправлять ее работы перед отправкой. «Неплохо было бы,— подумал он, между прочим,— и самому проштудировать какое-нибудь толковое пособие по расстановке знаков препинания».

Они допоздна просидели за этим делом, совершенно позабыв о предстоящем завтра экзамене по ботанике. В их комнатке было светло и уютно, потому что пылал камин, горели газовые рожки и занавеси были задернуты, а то количество прошений, которое они состави-

ли, вселяло в их сердца надежду. Этель, раскрасневшаяся и возбужденная, то порхала по комнате, то наклонялась над Люишемом — посмотреть, что он уже сделал. По просьбе Люишема она достала из ящика комода конверты.

— Ты у меня настоящая помощница,— сказал Люишем, откидываясь на спинку стула.— Для такой девушки я готов сделать все, я это чувствую.

— Правда? — воскликнула она.— Правда? Я вправду помогаю тебе?

Лицом и жестом Люишем выразил полное подтверждение своим словам. Она тихонько вскрикнула от восторга, на мгновение замерла, а потом, словно демонстрируя на деле свою готовность неизменно ему помогать, обежала вокруг стола с протянутыми к нему руками.

— Какой ты милый! — воскликнула она.

Люишем, уже заключенный в объятия, свободной рукой отодвинул стул, чтобы она могла сесть к нему на колени...

Кто мог бы усомниться, что она действительно ему помогает?

ГЛАВА XXV

ПЕРВАЯ БИТВА

Учительство в вечерних классах и частные уроки интересовали Люишема только как временная мера. Мысли же его о более постоянных источниках дохода обнаруживали полную неспособность соразмерять свои желания и возможности. Профессорской должности в Мельбурнском университете, например, он никак не заслуживал, да и приглашению его вместе с женой в Итонский колледж также многое могло помешать. Сначала он был склонен считать выпускника Южного Кенсингтона интеллектуальной солью земли, изобилие свободных «приличных мест» с жалованьем от ста пятидесяти до трехсот фунтов в год — делом очевидным, а конкуренцию таких низкопробных заведений, как университеты Оксфорда и Кембриджа и колледжи Северной Англии,— несущественной. Но учительские агентства, к которым он обратился в следующую субботу, по-

старались довольно быстро вывести его из этого заблуждения.

Старший помощник мистера Блендершина в мрачной маленькой конторе на Оксфорд-стрит так красноречиво прояснил положение, что Люишем даже рассердился.

— Быть может, директором казенной школы? — спросил старший помощник мистера Блендершина.— Тогда почему бы уж не сразу епископом? Только послушайте,— обратился он к мистеру Блендершину, который в эту минуту с важным видом и сигарой в зубах вошел в комнату,— двадцать один год, ни степени, ни спортивных отличий, двухлетний стаж в качестве младшего учителя и желает быть директором казенной школы!

Он говорил так громко, что другие клиенты, ожидавшие в приемной, не могли его не слышать, и вдобавок выразительно тыкал пером в сторону Люишема.

— Но послушайте! — раздраженно перебил его Люишем.— Оттого я и обратился к вам, что не знаю, как взяться за дело самому.

С минуту мистер Блендершин пристально разглядывал Люишема

— Какие у него свидетельства об образовании? — спросил он у своего помощника.

Тот перечислил все «логии» и «графии».

— Красная вам цена — пятьдесят и жить при школе, шестьдесят — если повезет,— решительно объявил мистер Блендершин.

— Что? — воскликнул мистер Люишем.

— Вам этого недостаточно?

— И речи быть не может.

— За восемьдесят можно получить выпускника Кембриджа, и он еще будет благодарен,— сказал мистер Блендершин.

— Но мне не нужно жить при школе,— заявил мистер Люишем.

— А приходящих мест крайне мало,— сообщил мистер Блендершин.— Крайне мало. Они хотят, чтобы вы и по ночам присматривали за воспитанниками. Кроме того, они боятся, что, живя отдельно, вы будете вести себя не совсем благопристойно.

— Вы, случайно, не женаты? — вдруг спросил помощник, внимательно изучив лицо Люишема.

— Видите ли...— Люишем встретился взглядом с мистером Блендершином.— Да,— признался он.

Помощник произнес нечто непечатное.

— Боже! Придется это скрывать,— сказал мистер Блендершин.— Нелегкую задачку вы себе задали. На вашем месте я бы подождал до получения диплома, раз уж это не за горами. Тогда у вас будет больше возможностей.

Молчание.

— Дело в том,— медленно заговорил Люишем, не отрывая глаз от носков своих ботинок,— что мне обязательно нужно чем-нибудь зарабатывать и теперь, до того, как я получу диплом.

Помощник тихонько присвистнул.

— Быть может, какие-нибудь уроки и найдутся,— размышлял мистер Блендершин.— Ну-ка, Бинкс, прочтите мне еще раз его данные.— Он внимательно слушал.— Что? Против религиозного обучения? — Он жестом остановил чтение.— Чепуха. Это уж, знаете ли... Вычеркните. Вам никогда не получить места в школах Англии, если вы будете возражать против религиозного обучения. Когда мамаши... Боже сохрани! Забудьте об этом. Не верите, а кто верит? Таких, как вы, сотни, сотни! Даже священники есть. Забудьте об этом...

— А если спросят?

— Англиканской церкви. У нас всякий, кто не примкнул к диссидентам, принадлежит к англиканской церкви. И без того подыскать вам место будет довольно затруднительно.

— Но...— сомневался мистер Люишем,— это ведь ложь.

— Не ложь, а законный вымысел,— поправил его мистер Блендершин.— Это всякий понимает. Если же, мой дорогой юноша, вы этого не сделаете, мы ничем не сможем вам помочь. Остается журналистика или лондонские доки. Но, учитывая ваш малый опыт, вернее сказать, только доки.

Лицо Люишема покрылось пятнами. Он ничего не ответил, а лишь хмурился и дергал себя за все еще далеко не густые усы.

— Компромисс, ничего не поделаешь,— сказал мистер Блендершин, доброжелательно поглядывая на него.— Компромисс.

Впервые в жизни Люишем столкнулся с необходимостью сознательно лгать. Он сразу соскользнул с суровых высот собственного достоинства, и следующая его реплика прозвучала уже неискренне.

— Я не могу обещать, что солгу, если меня спросят,— громогласно заявил он,— я этого сделать не могу.

— Вычеркните этот пункт,— велел Блендершин клерку.— Незачем об этом упоминать. Кроме того, вы не написали, что умеете преподавать рисование.

— Я не умею,— ответил Люишем.

— Раздавайте переснятые копии,— сказал Блендершин,— да следите, чтобы они не увидели, как вы рисуете.

— Но так не учат рисованию...

— У нас учат так,— объяснил ему Блендершин.— Не забивайте себе голову разными педагогическими методами. Они только мешают учителям. Впишите рисование. Затем стенография...

— Постойте! — возмутился Люишем.

— Стенография, французский, бухгалтерия, коммерческая география, землемерное дело...

— Но я не умею преподавать эти предметы!

— Послушайте,— начал Блендершин, но остановился.— У вас или у вашей жены есть состояние?

— Нет,— ответил Люишем.

— Так в чем же дело?

Молчание — и снова головокружительный спуск с крутых моральных высот, пока — трах! — на пути не возникло препятствие.

— Но меня быстро разоблачат,— сказал он.

Блендершин улыбнулся.

— Видите ли, здесь речь идет не столько об умении, сколько о желании. И никто вас не разоблачит. Те директора школ, с которыми мы имеем дело, не способны кого-либо разоблачить. Они сами не умеют преподавать эти предметы и, следовательно, считают, что сие вообще невозможно. Толкуй с ними о педагогике — они будут ссылаться на практику. Но в свои программы они включают все эти предметы, а потому хотят иметь их и в расписании. Некоторые из этих предметов... Ну, скажем, ком-

мерческая география... Что такое коммерческая география?

— Болтовня,— пояснил помощник, кусая кончик пера, и задумчиво добавил: — И вранье.

— Сплошной вымысел,— сказал Блендершин,— чистый вымысел. Газеты мелют вздор о коммерческом образовании, герцог Девонширский его подхватывает и плетет еще большую чепуху, представляется, будто сам все это придумал,— очень ему надо! — родители же рады ухватиться, вот директора школ и вынуждены включить этот предмет в программу, а значит, и учителям его полагается знать. Вот вам и вся недолга!

— Ладно,— согласился Люишем, у которого от стыда перехватило дыхание.— Вставьте эти предметы. Только помните: место приходящего преподавателя.

— Быть может,— сказал Блендершин,— вам и сослужат службу ваши естественные науки. Но, предупреждаю, дело не из легких. Разве что на вас польстится какая-нибудь школа, зарабатывающая себе финансовую поддержку графства. Больше, я полагаю, рассчитывать не на что. Запишите адрес...

Помощник буркнул что-то, отдаленно напоминающее слово «гонорар». Блендершин глянул на Люишема и неуверенно кивнул головой.

— За занесение в список полкроны,— объявил помощник.— И полкроны вперед — на почтовые расходы.

Но тут Люишем припомнил совет, который дал ему Данкерли еще в Хортли. Он заколебался.

— Нет,— сказал он.— Платить я не буду. Если вы мне что-нибудь подыщете, я заплачу за комиссию... Если же нет...

— Мы несем потери,— подсказал помощник.

— Приходится,— сказал Люишем.— Игра должна быть честной.

— Живет в Лондоне? — спросил Блендершин.

— Да,— ответил клерк.

— Ладно,—согласился Блендершин,—в таком случае на почтовые расходы мы с вас не возьмем. Правда, сейчас неподходящее время, поэтому на многое рассчитывать не приходится. Но иногда на пасху бывают перемещения... Все. Будьте здоровы. Есть там еще кто-нибудь, Бинкс?

Господа Маскилайн, Смит и Трамс работали по более высокому разряду, нежели Блендершин, который специализировался на второсортных частных школах и казенных учебных заведениях победнее. Такими важными господами были Маскилайн, Смит и Трамс, что они привели Люишема в ярость, отказавшись сначала даже внести его фамилию в свои списки. Принимавший его молодой человек, одетый и говоривший с вызывающей безукоризненностью, не отрывал взора от его непромокаемого воротничка.

— Едва ли это по нашей части,— объявил он, бросив Люишему анкету, которую надлежало заполнить.— У нас в основном аристократические колледжи и начальные школы.

Пока Люишем заполнял анкету своими многочисленными «логиями» и «графиями», в комнату вошел, дружески поздоровавшись с безукоризненным молодым человеком, юноша с наружностью герцога. Склонившись над бумагой, Люишем успел заметить, что на его сопернике был длинный сюртук, лакированные ботинки и великолепнейшие серые брюки. Понятия Люишема о конкуренции сразу расширились. Безукоризненный молодой человек взглядом указал новоприбывшему на непромокаемый воротничок Люишема, и тот в ответ удивленно поднял брови и выразительно поджал губы.

— Этот субъект из Каслфорда мне ответил,— произнес новоприбывший приятным звучным голосом.— Что у него там, прилично?

Когда обсуждение субъекта из Каслфорда закончилось, Люишем подал заполненную анкету, и безукоризненный молодой человек, по-прежнему не спуская глаз с непромокаемого воротничка, взял ее с таким видом, словно протянул руку через пропасть.

— Сомневаюсь, чтобы мы сумели вам помочь,— заверил он Люишема.— Разве что представится место преподавателя английского языка. Естественные науки в наших школах не в большом почете. Классические языки и спорт — вот что у нас главное.

— Понятно,— отозвался Люишем.

— Спорт, хорошие манеры и тому подобное.

— Понятно,— повторил Люишем.

— Вы сами учились не в закрытой школе? — спросил безукоризненный молодой человек.

— Нет,— ответил Люишем.

— А где вы получили образование?

Лицо Люишема запылало.

— Какое это имеет значение? — спросил он, глядя на великолепные серые брюки.

— В наших школах большое. Это, знаете ли, вопрос хорошего тона.

— Понятно,— в третий раз повторил Люишем, обнаруживая в себе новые недостатки. Больше всего ему сейчас хотелось уйти, чтобы этот элегантно одетый учитель не мог его рассматривать.— Вы, я надеюсь, напишете, если у вас найдется что-либо для меня? — спросил он, и безукоризненный молодой человек поспешил, утвердительно кивнув, раскланяться с ним.

— Часто такие попадаются?—спросил элегантно одетый молодой человек после ухода Люишема.

— Довольно часто. Ну, не совсем такие, как этот. Вы заметили его непромокаемый воротничок? Уф! И его «понятно»? А хмурый взгляд и неуклюжесть? У него, конечно, нет приличного платья — он явится на новое место с одним обитым жестью сундучком! Но такие, как он, да еще учителя, живущие при школах, пролезают повсюду! Только на днях здесь был Роутон.

— Роутон из Пиннера?

— Он самый. И прямо заявил, что ему нужен живущий учитель. «Мне нужен человек, который умеет преподавать арифметику»,— сказал он.

Он рассмеялся. Элегантно одетый молодой человек задумчиво разглядывал набалдашник своей трости.

— Такой субъект все равно там не уживется,— сказал он.— Если он и попадет в приличную школу, все равно ни один порядочный человек не захочет с ним знаться.

— Слишком толстокож, я думаю, чтобы его трогали подобные вещи,— заметил агент.— Новый тип учителя. Южно-Кенсингтонский колледж и политехникумы пекут их сотнями.

Новое открытие, что учителю следует быть хорошо одетым, заставило Люишема забыть свое возмущение необходимостью лгать в вопросах религии. Теперь он

шел, не спуская глаз с витрин, в которых отражалась его фигура. Спорить не приходилось: брюки его стали совсем мешковатыми, они хлопали по ботинкам и пузырились на коленях, а ботинки были не только изношены до безобразия, но еще и прескверно почищены. Кисти рук уродливо торчали из рукавов пальто, воротник куртки заметно асимметричен, красный галстук плохо вывязан и перекошен, не говоря уж о непромокаемом воротничке. Воротничок лоснился, пожелтел, стал вдруг холодным и липким. Ну что из того, что он достаточно образован и может преподавать естествознание? Это еще ничего не значит. Он стал подсчитывать, во сколько обошелся бы ему полный гардероб. Такие серые брюки, какие он видел, не купить дешевле, чем за шестнадцать шиллингов, а сюртук стоит, самое меньшее, сорок, а то и больше. Он знал, что хорошая одежда дорога. У дверей Пула он постоял в нерешительности и повернул прочь. Нечего об этом и думать. Он пересек Лейстер-сквер и пошел по Бедфорд-стрит, ненавидя всех попадавшихся ему на пути хорошо одетых людей.

Господа Дэнкс и Уимборн размещались в похожем на банк здании возле Ченсери-лейн и без разговоров вручили ему анкету для заполнения. «Религия?» — гласил один из вопросов. Люишем помедлил и написал: «Англиканская церковь».

Отсюда он проследовал в Педагогический колледж в Холборне. Педагогический колледж предстал перед ним в образе длиннобородого, дородного, спокойного господина с тоненькой золотой цепочкой от часов и пухлыми руками. У него были очки в позолоченной оправе и ласковое обращение, которое послужило целительным бальзамом для оскорбленных чувств Люишема. Снова были выписаны все «логии» и «графии», вызвав любезное изумление своим количеством.

— Вам бы нужно получить один из наших дипломов,— заметил дородный господин.— Это не составило бы для вас труда. Никакой конкуренции. И есть премии, несколько денежных премий.

Люишем не знал, что его непромокаемый воротничок на сей раз встретил сочувствующего наблюдателя.

— Мы читаем курс лекций и принимаем экзамены по теории и практике обучения. У нас единственное в

стране учебное заведение, где проводятся экзамены по теории и практике обучения. Для преподавателей средних и старших классов. Не считая экзаменов на диплом учителя. Но у нас так мало слушателей — не более двухсот человек в год. В основном гувернантки. Мужчины, знаете ли, предпочитают преподавать кустарным способом. Это характерно для англичан — кустарный способ. Говорить об этом, правда, не полагается, но все равно придется, когда что-нибудь произойдет, а неприятности начнутся обязательно, если все будет продолжаться по-прежнему. Американские школы становятся лучше, да и немецкие тоже. Старые методы теперь не подходят. *Я говорю это только вам, а вообще-то говорить это* не полагается. Ничего нельзя сделать. Слишком многое приходится принимать во внимание. Однако... Но вам бы неплохо было получить наш диплом. Станете хорошим педагогом. Правда, тут уж я заглядываю вперед.

Он добродушно рассмеялся, как бы извиняясь за свою слабость, а затем, отставив в сторону все эти мудреные материи, объяснил Люишему возможности, которые дает диплом колледжа, после чего перешел и к другим возможностям.

— Можно давать частные уроки,— сказал он.— Вы бы не отказались позаниматься с отстающим учеником? Кроме того, иногда нас просят рекомендовать приходящего преподавателя. В основном в женские школы. Но им требуются люди постарше, женатые, знаете ли.

— Я женат,— сказал Люишем.

— Что? — переспросил пораженный до глубины души представитель Педагогического колледжа.

— Я женат,— повторил Люишем.

— Боже мой! — воскликнул представитель Педагогического колледжа и с головы до ног оглядел мистера Люишема поверх очков в позолоченной оправе.— Боже мой! А я старше вас более чем вдвое и не женат. Двадцать один год! Вы... Вы давно женаты?

— Несколько недель,— ответил Люишем.

— Удивительно,— сказал представитель Педагогического колледжа.— Очень интересно... В самом деле! Ваша жена, должно быть, очень храбрая молодая особа... Извините меня. Вы знаете... Вам действительно нелегко

будет найти себе место. Однако... Тем самым вы становитесь пригодным к преподаванию в женских школах; это во всяком случае. То есть в какой-то степени.

Явно возросшее уважение представителя Педагогического колледжа было приятно Люишему. Зато визит в медицинско-учительско-канцелярскую посредническую контору, расположенную за мостом Ватерлоо, вновь поверг его в уныние, и он решил повернуть домой. Еще задолго до дома он почувствовал усталость, а простодушная гордость тем, что он женат и активно борется с жестоким миром, исчезла. Уступка, сделанная им религии, оставила в душе горький осадок; а вопрос об обновлении гардероба был просто мучителен. Правда, он еще отнюдь не смирился с мыслью, что в лучшем случае может рассчитывать на сто фунтов в год, а вернее, и того меньше, однако постепенно эта истина проникала в его сознание.

День был серенький, с унылым, холодным ветром, в одном ботинке вылез гвоздь и отравлял существование. Нелепые промахи и глупейшие ошибки, допущенные им на недавнем экзамене по ботанике, о которых ему удалось некоторое время не думать, теперь не выходили у него из головы. Впервые со дня женитьбы его охватило предчувствие неудачи.

Придя домой, он хотел сразу устроиться в маленьком скрипучем кресле возле камина, но Этель выскочила из-за стола, на котором стояла недавно купленная машинка, и кинулась к нему с распростертыми объятиями.

— Как мне было скучно! — воскликнула она.

Но он не почувствовал себя польщенным.

— Я не так уж весело провел время, чтобы ты могла жаловаться на скуку,— возразил он совершенно новым для нее тоном.

Он освободился из ее объятий и сел. Потом, заметив выражение ее лица, виновато добавил:

— Я просто устал. И этот проклятый гвоздь в ботинке, его нужно забить. Ходить по агентствам довольно утомительно, но ничего не поделаешь. А как ты тут была без меня?

— Ничего,— ответила она, не сводя с него глаз.— Ты и вправду устал. Сейчас мы выпьем чаю. А пока... Позволь мне снять с тебя ботинки. Да, да, непременно.

Она позвонила, выбежала из комнаты, крикнула вниз, чтобы подали чай, прибежала обратно, принесла из спальни какую-то подушечку из запасов мадам Гэдоу и, встав на нее коленями, принялась расшнуровывать ему ботинки. Настроение у Люишема сразу изменилось.

— Ты молодец, Этель,— сказал он.— Пусть меня повесят, если это не так.

Она потянула шнурки, а он наклонился и поцеловал ее в ухо. После этого расшнуровка была приостановлена, уступив место взаимным изъявлениям нежности...

Наконец, обутый в домашние туфли, он сидел у камина с чашкой чая в руке, а Этель, стоя на коленях на коврике у его ног — блики огня играли на ее лице,— принялась рассказывать ему о том, что днем она получила письмо в ответ на свое объявление в «Атенеуме».

— Очень хорошо,— одобрил Люишем.

— От одного романиста,— продолжала она с огоньком гордости в глазах и подала ему письмо.— Лукас Холдернесс. автор «Горнила греха» и других вещей.

— Да это просто отлично,— не без зависти сказал Люишем и нагнулся, чтобы при свете камина прочесть письмо.

Письмо с обратным адресом «Джад-стрит, Юстон-роуд» было написано на хорошей бумаге красивым круглым почерком, каким, по представлению смертных, и должны писать романисты. «Уважаемая сударыня,— гласило письмо,— я намерен выслать вам заказной почтой рукопись трехтомного романа. В рукописи около 90 000 слов, но более точно вам придется подсчитать самой».

— Как это подсчитывают, я не знаю,—сказала Этель.

— Я покажу тебе,—ответил Люишем.—Ничего сложного. Пересчитаешь слова на трех-четырех страницах, найдешь среднюю цифру и умножишь на количество страниц.

«Но, разумеется, прежде чем выслать рукопись, я должен иметь достаточные гарантии в том, что вы не злоупотребите моим доверием и что качество работы будет удовлетворять самым высоким требованиям».

— Ах ты,— сказал Люишем,— какая досада!

«А потому прошу вас представить мне рекомендации».

— Вот это может быть настоящим препятствием,— сказал Люишем.— Этот осел Лэгьюн, наверное... Но что здесь за приписка? «Или, если таковых не имеется, в качестве залога...» Что ж, по-моему, это справедливо.

Залог требовался весьма умеренный — всего одна гинея. Даже если бы у Люишема и зародились сомнения, один лишь вид Этель, жаждущей помочь, стремящейся получить работу, заставил бы забыть их навсегда.

— Пошлем ему чек, пусть видит, что у нас есть счет в банке,— сказал Люишем (он до сих пор еще гордился своей банковской книжкой).— Пошлем ему чек. Это его успокоит.

В тот же вечер, после того как был отправлен чек на одну гинею, произошло еще одно приятное событие: прибыло письмо от господ Дэнкса и Уимборна. Оно было прескверно отпечатано на ротапринте и извещало об имевшихся вакансиях. Всюду требовались учителя, живущие при школе, что явно не подходило для Люишема, но все равно получение этого письма внушило бодрость и уверенность в том, что дела идут и что в обороне осажденного ими мира есть свои бреши и слабые места. После этого, отрываясь время от времени от работы, чтобы оказать Этель ласковое внимание, Люишем принялся просматривать свои прошлогодние тетради, ибо теперь, с окончанием курса ботаники, на очереди стоял повышенный курс зоологии — последний, так сказать, этап в состязании за медаль Форбса. Этель принесла из спальни свою лучшую шляпку, чтобы внести кое-какие усовершенствования в ее отделку, и села в маленькое кресло у камина, а Люишем, разложив перед собой записи, устроился за столом.

Расположив для пробы совсем по-новому васильки на своей шляпке, она подняла глаза и обнаружила, что Люишем больше не читает, а беспомощно смотрит в какую-то точку на застланном скатертью столе и взгляд у него очень несчастный. Позабыв о своих васильках, она глядела на него.

— О чем ты? — спросила она немного погодя.

Люишем вздрогнул и оторвал глаза от скатерти.

— Что?

— Отчего у тебя такой несчастный вид? — спросила она.

— У меня несчастный вид?

— Да. И злой!

— Я думал о том, что хорошо бы живьем окунуть в кипящее масло какого-нибудь епископа.

— О боже!

— Им прекрасно известны те положения, против которых они направляют свои проповеди, они знают, что не верить — это не значит быть безумцем или бандитом, это не значит причинять вред другим; им прекрасно известно, что человек может быть честным, как сама честность, искренним, да, искренним и порядочным во всех отношениях, и не верить в то, что они проповедуют. Им известно, что человеку нужно лишь немного поступиться честью, и он признает любую веру. Любую. Но они об этом молчат. Мне кажется, они хотят, чтобы все были бесчестными. Если человек достаточно состоятелен, они без конца раболепствуют перед ним, хоть он и смеется над всеми их проповедями. Они готовы принимать сосуды на алтарь от содержателей увеселительных заведений и ренту с трущоб. Но если человек беден и не заявляет во всеуслышание о своей вере в то, во что они сами едва ли верят, тогда они и мизинцем не шевельнут, чтобы помочь ему в борьбе с невежеством их последователей. В этом твой отчим прав. Они знают, что происходит. Они знают, что людей обманывают, что люди лгут, но их это ничуть не тревожит. Да и к чему им тревожиться? Они ведь убили в себе совесть. Они беспринципны, так почему же не быть беспринципными нам?

Избрав епископов в качестве козлов отпущения за свой позор, Люишем был склонен даже гвоздь в ботинке приписать их коварным проискам.

Миссис Люишем была озадачена. Она осознала смысл его речей.

— Неужели ты,— голос ее упал до шепота,— неверующий?

Люишем угрюмо кивнул.

— А ты нет? — спросил он.

— О нет! — вскричала миссис Люишем.

— Но ведь ты не ходишь в церковь, ты не...

— Не хожу,— согласилась миссис Люишем и добавила еще увереннее: — Но я верующая.

— Христианка?

— Наверное, да.

— Но христианство... Во что же ты веришь?

— Ну, в то, чтобы говорить правду и поступать честно, не обижать людей, не причинять им боли.

— Это еще не христианство. Христианин — это тот, кто верит.

— А я это понимаю под христианством,— заявила миссис Люишем.

— В таком случае, любой может считаться христианином,— возразил Люишем.— Все знают, что хорошо поступать хорошо, а плохо — плохо.

— Но не все так поступают,— сказала миссис Люишем, снова принявшись за свои васильки.

— Не все,— согласился Люишем, немного озадаченный женской логикой.— Разумеется, не все так поступают.

Минуту он смотрел на нее — она сидела, склонив чуть набок голову и опустив глаза на васильки,— и мысли его были полны странным открытием. Он хотел было что-то сказать, но вернулся к своим тетрадям.

Очень скоро он снова смотрел в какую-то точку на середине стола.

На следующий день мистер Лукас Холдернесс получил чек на одну гинею. К сожалению, больше в чек вписать было ничего нельзя: не оставалось места. Некоторое время Холдернесс раздумывал, а затем, взяв в руки перо и чернила, исправил небрежно написанное Люишемом слово «один» на «пять», а единицу соответственно на пятерку.

Это был, как вы могли бы убедиться, худощавый человек с красивым, но мертвенно-бледным лицом, обрамленным длинными черными волосами, в полудуховном одеянии, порыжевшем до крайности. Свои действия он производил со степенной старательностью. А затем отнес чек одному бакалейщику. Бакалейщик недоверчиво посмотрел на чек.

— Если сомневаетесь,— сказал мистер Лукас Холдернесс,— отнесите чек в банк. Отнесите его в банк. Я не знаком с этим человеком, не знаю, кто он. Быть может, он и мошенник. Я за него не отвечаю. Отнесите в банк

и проверьте. Сдачу оставьте пока у себя. Я могу подождать Я зайду через несколько дней.

— Все в порядке, не так ли? — осторожно спросил мистер Лукас Холдернесс через два дня.

— В полном порядке, сэр,— ответил бакалейщик с возросшим к покупателю уважением и вручил ему сдачу в четыре фунта, тринадцать шиллингов и шесть пенсов

Мистер Лукас Холдернесс, который с жадным вниманием взирал на товары бакалейщика, сразу оживился и купил банку лососины. Затем он вышел из лавки, зажав деньги в кулаке, ибо карманы его были порядком изношены и доверять им не приходилось. В булочной он купил свежую булку.

Выйдя из булочной, он тотчас откусил от булки огромный кусок и пошел дальше, жуя на ходу. Кусок был такой большой, что губы мистера Холдернесса безобразно растянулись Он с усилием глотал, каждый раз вытягивая шею. Взгляд его выражал животное удовлетворение. Он свернул за угол Джад-стрит, снова откусив от булки, и больше наш читатель, а заодно и Люишемы о нем никогда не услышат.

ГЛАВА XXVI

БЛЕСК ТУСКНЕЕТ

Вообще-то говоря, вся эта розовая пора влюбленности — ухаживание, свадьба и торжество любви — всего лишь заря, за которой следует долгий ясный трудовой день. Как бы мы ни пытались удержать эти восхитительные минуты, они уходят, неумолимо исчезают навсегда; им нет возврата, они неповторимы, и только глупцы силятся сохранить видимость, лицемерно выставляя на обозрение в затемненных закоулках восковые фигуры минувшего. Жизнь идет своим чередом: мы растем, мы старимся. Наша молодая пара, выбравшись наконец из предрассветного сумрака, расцвеченного звездами, впервые разглядела друг друга в ясном свете будничного дня и обнаружила, что над головой у них сгущаются тучи.

Будь Люишем человеком более тонкой душевной организации, отрезвление шло бы исподволь, не затрагивая

их достоинства; тогда речь велась бы о трогательных попытках скрыть разочарование и сохранить атмосферу доверия и порядочности. Но день наступил, и наша молодая пара оказалась слишком неподготовленной. Мы уже упомянули о первых едва ощутимых расхождениях во взглядах, и было бы утомительно и скучно повествовать обо всех мелочах, углублявших конфликт их индивидуальностей. Они ссорились, сударыня! Говорили друг другу резкие слова. Их постоянно тревожило то, что «капитал» на исходе, заботили поиски работы, которую никак не удавалось найти. Не прошли бесследно для Этель и те долгие, ничем не заполненные часы, которые она проводила в скучном и тоскливом одиночестве. Раздоры возникали по поводам, казалось, совершенно незначительным; как-то целую ночь Люишем пролежал без сна, до глубины души изумленный тем, что Этель, оказывается, абсолютно нет дела до благосостояния человечества, а его социалистические идеалы она назвала «неприличными фантазиями». Как-то под вечер в воскресенье они отправились гулять в самом благоприятном расположении духа, а вернулись злые и раскрасневшиеся, на ходу обмениваясь репликами самого ядовитого свойства, и все из-за романов, которыми зачитывалась Этель. По какой-то необъяснимой причине Люишем ненавидел эти романы жгучей ненавистью. Подобные семейные битвы были по большей части лишь кратковременными стычками, вслед за которыми после недолгого обиженного молчания наступало примирение с объяснениями или без оных, но иногда это примирение только вновь растравляло заживающую рану. И каждая такая размолвка оставляла новый рубец, затушевывая еще один оттенок в романтическом колорите их отношений.

Работы не было. Пять долгих месяцев поисков, и никакого заработка, если не считать двух пустяков. Один раз Люишем, участвуя в конкурсе, объявленном грошовым еженедельником, получил целых двенадцать шиллингов, и трижды прибывали совсем уже небольшие рукописи для перепечатки от одного поэта, которому, по-видимому, попалось на глаза объявление в «Атенеуме». Звали этого поэта Эдвин Пик Бэйнс; почерк у него был размашистый и еще не окончательно сформировавшийся. Он прислал несколько набросанных на клочках бумаги ко-

ротких лирических стихотворений с просьбой «красиво и по-разному перепечатать по три экземпляра каждое», добавив, что «их нельзя соединять металлическими скрепками, а следует прошить шелковой ниткой соответствующего цвета». Наши молодые люди были весьма озадачены подобными наставлениями. Одно стихотворение называлось «Птичья песнь», другое — «Тени облаков», а третье — «Эрингиум», но, по мнению Люишема, их можно было все объединить под общим названием «Вздор». В качестве оплаты этот поэт прислал в нарушение всех почтовых правил полсоверена в обычном конверте с указанием принять остаток денег в счет будущей работы. Довольно скоро поэт явился сам и принес исчерканные экземпляры своих стихов с непонятным наставлением поперек каждого листа: «В таком же духе, только еще получше».

Люишема дома не было, дверь отворила Этель, и таким образом это письменное пожелание оказалось излишним.

— Он совсем еще мальчик,— заметила Этель, пересказывая свой разговор с поэтом Люишему.

У них обоих было такое чувство, что юный возраст Эдвина Пика Бэйнса лишает надежности даже этот заработок.

Со дня женитьбы и до последнего экзамена в июне жизнь Люишема таила в себе какую-то двойственность. Дома была Этель, дома были мучительные поиски заработков и постоянное раздражение на мадам Гэдоу, всякими ухищрениями пытавшуюся побольше «содрать» с них по счету, и среди всего этого он чувствовал себя совершенно взрослым; но на занятиях в Кенсингтоне он превращался в зеленого юнца, недисциплинированного и обманувшего надежды студента со склонностью к зубоскальству. В колледже он, как и полагается студенту, носился с теориями и идеалами; в маленьких комнатах в Челси, где с наступлением лета стало особенно душно и повсюду валялись грошовые романы, которые накупала Этель, жизнь приобретала строгую конкретность, и идеалы уступали место реальности.

Он смутно сознавал, как узок был мир его зрелости. Единственными их гостями были супруги Чеффери. Сам Чеффери имел обыкновение являться к ужину и, несмот-

ря на свою беспринципность, завоевывал симпатии Люишема остроумными разглагольствованиями, а также почтительным, даже завистливым отношением к его научным занятиям. Более того, со временем Люишем заметил, что начал разделять ожесточение Чеффери против тех, кто правит миром. Приятно было слушать, как он расправляется с епископами и прочими власть имущими. Он говорил именно то, что хотел бы высказать сам Люишем. Миссис же Чеффери — существо невзрачное, нервное, неопрятное — частенько забегала к ним, но, как только Люишем возвращался домой, тотчас исчезала. Она являлась, потому что Этель, несмотря на святую свою убежденность в том, что любовь — «это все», находила свою замужнюю жизнь в отсутствие Люишема скучной и однообразной. Когда же Люишем появлялся, миссис Чеффери спешила уйти, дабы не усугублять той раздражительности, какую вызывала в нем борьба с окружающим миром. В Кенсингтоне он никому не рассказывал о своей женитьбе, сначала потому что это был такой восхитительный секрет, а потом по другим причинам. Поэтому те два мира, в которых он существовал, не соприкасались. Границей их служили железные решетчатые ворота колледжа. Но наступил день, когда Люишем прошел через эти ворота в последний раз, и на этом его юность закончилась навсегда.

Заключительный экзамен по курсу биологии, экзамен, который означал прекращение еженедельного дохода в одну гинею, он сдал плохо — он это понимал. Вечером в последний день лабораторных занятий он провозился допоздна, разгоряченный, измученный, со спутанными волосами и горящими ушами. Он сидел до конца, упрямо стараясь овладеть собой и препарировать для исследования под микроскопом реснитчатое волокно выделительного организма земляного червя. Но реснитчатые волокна не поддаются тем, кто в течение семестра пренебрегал лабораторными занятиями. Наконец Люишем встал, сдал свою письменную работу почтенного вида угрюмому молодому ассистенту профессора, который когда-то — восемь месяцев назад — так радушно приветствовал его появление, и направился к двери, возле которой толпились остальные студенты.

Смизерс громко разглагольствовал о том, как «зверс-

ки трудно отличить проклятое волокно», а его внимательно слушал лопоухий юноша.

— А вот и Люишем! Как у вас дела? — спросил Смизерс, не скрывая довольства собой.

— Плохо,— не останавливаясь, коротко бросил Люишем.

— Препарировали? — крикнул вдогонку Смизерс.

Люишем сделал вид, будто не слышит.

Мисс Хейдингер стояла со шляпой в руках и смотрела на разгоряченного Люишема. Он прошел было мимо, но что-то в ее лице заставило его, несмотря на собственное волнение, остановиться.

— Вам удалось отделить волокно? — спросил он со всей любезностью, на какую был способен.

Она отрицательно покачала головой и, в свою очередь, спросила:

— Вы идете вниз?

— Пожалуй,— ответил Люишем все еще обиженным голосом.

Он отворил стеклянную дверь, что вела из коридора на лестничную площадку. Один пролет крутой винтовой лестницы они миновали в полном молчании.

— Придете снова на будущий год? — спросила мисс Хейдингер.

— Нет,— ответил Люишем.— Больше я сюда не приду. Никогда.

Молчание.

— А чем вы будете заниматься? — спросила она.

— Не знаю. Мне нужно как-то зарабатывать на жизнь. Это и беспокоило меня всю сессию.

— Я думала...— начала было она, но остановилась.— Опять поедете к своему дяде? — спросила она.

— Нет. Я останусь в Лондоне. Поездка в деревню отвлекает от дела. И, кроме того... Я, можно сказать, поссорился с дядей.

— Чем же вы намерены заняться? Преподавать?

— Хотелось бы преподавать. Не знаю, найду ли уроки. Я готов взяться за все что угодно.

— Понятно,— сказала она.

Некоторое время они шли молча.

— А вы, наверное, продолжите занятия? — спросил он.

— Попытаюсь поступить на курс ботаники, если найдется для меня место. Я вот о чем думаю: иногда, бывает, кое-что случайно узнаешь... Дайте мне ваш адрес. Вдруг я услышу о чем-нибудь подходящем.

Люишем остановился на середине лестницы и задумался.

— Разумеется,— согласился он.

Но адреса ей так и не дал. Поэтому у подножия лестницы она спросила его об этом вторично.

— Проклятое волокно!..— сказал он.— У меня все из головы повылетало.

Они обменялись адресами, записав их на листочках, вырванных из блокнота мисс Хейдингер.

Она подождала, пока он расписался в книге. У железных ворот она сказала:

— Я иду через Кенсингтон-гарденс.

Но он уже злился на то, что дал ей свой адрес, и потому не заметил косвенно выраженного ею приглашения.

— А я в Челси.

Минуту она помедлила в нерешительности, озадаченно глядя на него.

— В таком случае прощайте,— сказала она.

— Прощайте,— ответил он, приподымая шляпу.

Медленно пересек он Эгсибишн-роуд, держа в руках свой битком набитый блестящий портфель, теперь уже во многих местах потрескавшийся, задумчиво дошел до угла Кромвель-роуд и свернул по ней направо. За парком Музея естественной истории величаво высилось кирпичное здание Школы естественных наук. Он с горечью оглянулся на него.

Он был совершенно уверен, что провалился на последнем экзамене. Теперь карьера ученого навсегда стала ему недоступна, подумал он и вспомнил, как по этой самой дороге шел к зданию школы впервые в жизни, вспомнил надежды и стремления, рождавшиеся в нем тогда с каждым шагом. Мечта о непрестанном, целеустремленном труде! Чего бы мог он достичь, если бы умел быть сосредоточенным в своих стремлениях!

Именно в этом парке он вместе со Смизерсом и Парксоном, усевшись на скамью под сенью многовекового дерева, обсуждал проблемы социализма еще до того, как был прочитан его доклад...

— Да,— сказал он вслух,— да, с этим покончено. Покончено навсегда.

Наконец его Alma Mater начала скрываться за углом Музея естественной истории. Он вздохнул и обратил свои думы к душным комнаткам в Челси и ко все еще не покоренному миру.

ГЛАВА XXVII

В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ССОРЕ

Ссора, о которой мы намерены рассказать, случилась в конце сентября. К этому времени от романтики не осталось почти и следа, ибо Люишемы были уже женаты целых шесть месяцев. Состояние их финансовых дел перестало быть бедственным, но оставалось довольно жалким. Люишем отыскал себе работу. Одному армейскому репетитору, капитану Вигорсу, понадобился энергичный человек для занятий с отстающими по математике и для преподавания геометрии, которую он называл «Сандхерстовской наукой». Платил он не менее двух шиллингов в час, но зато использовал время Люишема по своему усмотрению. Кроме того, в Уолэм-Грин открылся класс арифметики, где Люишему была предоставлена возможность проявить свое педагогическое мастерство. Тем самым можно было рассчитывать на пятьдесят или более шиллингов в неделю — на «более», впрочем, приходилось пока только уповать. Теперь нужно было лишь перебиться до первой выплаты денег Вигорсом. А тем временем блузки Этель утратили свою свежесть, и Люишему пришлось воздержаться от починки ботинок, у которых лопнул носок.

Начало их ссоры было довольно банальным. Но затем они перешли к обобщениям. Люишем с утра пребывал в дурном настроении после небольшой стычки накануне; кроме того, одно маловажное событие, казалось бы, ничего общего не имеющее с происшедшей ссорой, придало ей тем не менее горячность, никак не соответствующую существу разногласия. Когда Люишем утром появился изза створчатых дверей, он увидел на столе, кое-как накрытом к завтраку, какое-то письмо, а Этель, показалось ему, чересчур уж поспешно отпрянула от стола. Письмо упало. Их глаза встретились, и она вспыхнула. Он сел и

поднял письмо, сделав это, возможно, несколько неуклюже. Письмо было от мисс Хейдингер. Сначала он хотел было положить его в карман, но потом решил сию же минуту распечатать. Оно оказалось не из коротких, и он принялся читать. В общем-то, решил он, это было довольно скучное письмо, но он ничем не обнаружил этого. Когда письмо было прочитано, он аккуратно сложил его и спрятал в карман.

Формально это не имело никакого отношения к ссоре. Ссора началась, уже когда они кончили завтракать. У Люишема было свободное утро, и он намеревался использовать его для просмотра записей по «Сандхерстовской науке». К несчастью, в поисках тетради он натолкнулся на пачку обожаемых Этель романов.

— Повсюду валяются твои книги! — вспылил он, отбросив их в сторону.—Хоть иногда приводи их в порядок.

— Они и были в порядке, пока ты их не раскидал,— возразила Этель.

— Не книги, а мерзость! Годятся лишь на растопку,— воскликнул Люишем в сердцах и злобно пнул ногой один из романов так, что он отлетел в угол.

— Ты, кажется, тоже пробовал написать такую,— заметила Этель, имея в виду грандиозную кипу писчей бумаги, которая появилась в доме в те страшные дни, когда Люишем совсем отчаялся найти работу. Это воспоминание всегда его сердило.

— Ну и что? — резко спросил он.

— Ты сам пробовал написать такую,— повторила чуть нехотя Этель.

— Боишься, как бы я не забыл об этом?

— Ты сам напоминаешь.

Некоторое время он враждебно смотрел на нее.

— От этих книг в доме один мусор, не отыскать и чистого уголка. Всюду беспорядок.

— Ты всегда так говоришь.

— А разве у тебя есть где-нибудь порядок?

— Да, есть.

— Где?

Этель сделала вид, что не слышит. Но дьявол уже завладел Люишемом.

— Мне кажется, ты не слишком обременена делами,— заметил он, решаясь на запрещенный прием.

Этель резко обернулась.

— Если я их убираю,— сказала она, сделав особое ударение на слове «убираю»,— ты говоришь, что я их прячу. К чему же стараться угождать тебе?

Дух упрямства заговорил в Люишеме.

— По-видимому, не к чему.

Щеки Этель пылали, а в глазах, сверкая, стояли слезы. Внезапно она решила сама перейти в атаку и выпалила то, что так долго оставалось невысказанным между ними. Голос ее зазвучал нотками гнева.

— С тех пор, как у тебя завелась переписка с этой мисс Хейдингер, все, что бы я ни делала, тебе не нравится.

Наступило длительное молчание. Оба словно онемели. До сих пор считалось, что она не знает о мисс Хейдингер. Он прозрел.

— Откуда ты знаешь?..— начал было он, но вовремя спохватился и, приняв как можно более естественный вид, с отвращением произнес:—Фу!—А потом воскликнул: — *Глупости ты говоришь!* Придумать же такое! — с гневным упреком выкрикнул он.— Как будто ты когда-либо пыталась угодить мне! Как будто не было все наоборот!

Он замолчал, осознав несправедливость своих слов. И снова вернулся к тому, что хотел было сначала обойти.

— Откуда ты знаешь, что мисс Хейдингер...

— Я не должна была этого знать, да? — со слезами в голосе спросила Этель.

— Но откуда?

— Ты, наверное, думаешь, меня это не касается? Ты, наверное, думаешь, я из камня?

— Ты хочешь сказать... ты думаешь...

— Да, именно.

Несколько мгновений Люишем молчал, озадаченный этим новым поворотом событий. Он мучительно подыскивал какой-нибудь сокрушительный довод, какой-нибудь способ убедительно опровергнуть, перечеркнуть, закрыть это открытие. Но на ум ничего не приходило. Он попал в тупик. Волна неразумного гнева охватила его.

— Ревность! — закричал он.— Ревность! Как будто... Разве я не имею права получать письма о том, чего ты

не знаешь, не желаешь знать? Да если бы я попросил тебя их прочитать, ты бы отказалась... И вот из-за этого...

— Ты никогда не давал мне возможности узнать.

— Не давал?

— Нет!

— Вот как? Да я этим только и занимался. Социализм, религия и все эти вопросы.... Но ты и слышать не желала — тебе дела нет. Тебе бы хотелось, чтобы и я об этом не думал, чтобы и мне не было до всего этого никакого дела. И спорить с тобой было бесполезно. Ты любишь меня только с какой-то одной стороны, но то, что меня действительно интересует, тебя не касается! И только из-за того, что у меня есть друг...

— Друг?

— Да, друг!

— Зачем же ты прячешь ее письма?

— Потому что, говорю я тебе, ты все равно не поймешь, о чем она пишет. Хватит спорить. Хватит. Ты ревнуешь, вот и все.

— А кто не стал бы ревновать?

Он посмотрел на нее так, будто не понял вопроса. Рассуждать на эту тему было трудно, непреодолимо трудно. Он оглядел комнату, желая переменить разговор. На столе, напоминая ему о потраченном даром времени, лежала тетрадь, которую он разыскал среди ее романов. Гнев снова овладел им, и он опять вернулся к началу их ссоры.

— Так продолжаться не может! — яростно размахивая руками, выкрикнул он.— Так продолжаться не может! Разве я в состоянии здесь работать? Разве я в состоянии здесь что-нибудь делать?

Он сделал три шага и остановился там, где было побольше простора.

— Я этого не потерплю! Я не намерен этого терпеть! Ссоры, придирки, неприятности! Нынче утром я хотел работать. Хотел просмотреть старые записи. А ты затеяла ссору...

Подобная несправедливость заставила Этель тоже перейти на крик.

— Ссору затеяла не я...

В ответ на это можно было только завопить. И Люишем не преминул это сделать.

— Ты затеяла ссору! — орал он. — Подняла крик! Спорить!.. Ревновать меня! Подумать только! Ну разве я в состоянии здесь что-нибудь делать? Разве можно жить в таком доме? Я уйду. Слышишь, я ухожу! Пойду в Кенсингтон и буду там работать.

Тут слова его иссякли, а Этель, как видно, только собиралась с силами. Он воинственно огляделся в поисках последнего аргумента. Действовать следовало немедленно. На столике лежал толстый том «Позвоночных» Хаксли. Он схватил его, размахнулся и с силой запустил в пустой камин.

Мгновение, казалось, будто он ищет, что бы еще швырнуть. На комоде он заметил свою шляпу и, схватив ее, с трагическим видом зашагал к выходу.

У двери он минутку помедлил, потом распахнул ее и яростно захлопнул за собой. Оповестив таким образом весь мир о справедливости своего гнева, он с достоинством вышел на улицу.

Он шел, сам не ведая куда, по улицам, заполненным спешившим на работу деловым людом, пока наконец по привычке ноги его сами собой не свернули на Бромтон-роуд. Утреннее движение в сторону Ист-Энда увлекло туда и его. Некоторое время, несмотря на шевелившееся где-то в уголке разума удивление, гнев не оставлял его, не давал ему остыть.— Зачем он женился на ней? — не переставая, спрашивал он себя. Для какого черта он женился на ней? Но как бы то ни было, решительное слово сказано. Он этого не потерпит! Этому должен наступить конец. Положение просто невыносимо, и ему следует положить конец. Он придумывал уничтожающие слова, которые должен ей сказать в подтверждение своей решимости. Придется быть жестоким. Только так он сумеет внушить ей, что больше не потерпит ничего подобного. Чего именно он не потерпит, об этом он упорно не думал.

Как же так вышло, что он женился на ней? Окружающая обстановка была как нельзя более под стать его мыслям. Огромные, словно надутые от важности чугунные галереи Музея искусств (вот уж неподходящее помещение!) и усеченная башня часовни, стоящая боком к улице, казалось, тоже негодовали на судьбу. Как же так? После столь удачного начала!

Задумавшись, он прошел мимо ворот музея. Спохватившись, он вернулся, прошел через турникет, вошел в музей и, пройдя под галереей старинного литья, направился в Педагогическую библиотеку. Ряды свободных столов, полки книг — все это сулило убежище...

Таково было настроение Люишема утром. Но еще задолго до полудня весь гнев его остыл вместе со страстной уверенностью в никчемности Этель. Лицо его, выглядывавшее из-за груды книг по геологии, было унылым. Он вспоминал, как вел себя во время ссоры: шумел, кричал, был несправедлив. И из-за чего, собственно, все это вышло?

В два часа он отправился к Вигорсу, испытывая по дороге острые угрызения совести. Каким образом так изменилось его настроение, словами передать трудно, ибо мысли более неуловимы, нежели слова, а чувства несравненно более тонки. Но одна вещь по крайней мере не вызывает сомнений: в душе Люишема проснулось воспоминание.

Явилось оно откуда-то сверху, проникнув сквозь стеклянную крышу библиотеки. Сначала он даже не сообразил, что это — воспоминание, просто что-то мешало ему сосредоточиться. Он ударил ладонью по страницам лежавшей перед ним книги.

— Черт бы побрал эту проклятую шарманку! — прошептал он.

И раздраженно закрыл уши руками.

Затем он отбросил книги, встал и принялся ходить по залу. Музыка неожиданно оборвалась на полутакте, и отзвук ее замер в тишине.

Люишем, стоявший в нише окна, судорожно захлопнул книгу, которую держал в руках, и возвратился на место.

Он поймал себя на том, что, напевая какую-то грустную мелодию, опять думает о ссоре, о которой позабыл, казалось, навсегда. Из-за чего все это произошло? У него появилось странное ощущение, будто какая-то мысль, вырвавшись на свободу, не дает ему сосредоточиться. И словно в ответ возникло удивительно яркое видение Хортли. Плыла луна, и со склона холма виден был весь городок, залитый ее светом, и звучала музыка — какая-то очень грустная мелодия. Непонятно, почему ему чудились звуки шарманки, хотя он знал, что играет оркестр,

а кроме того, были и слова, протяжные и полные, как заклинание, тайного смысла:

Страна волшебных грез! Былые дни
Хоть на мгновенье памяти верни...

Звуки песенки не только нарисовали перед ним всю эту картину — такую четкую и ясную,— они принесли с собой огромное облако необъяснимого волнения, чувства, которое еще минуту назад казалось невозвратимо ушедшим из его жизни.

И он вспомнил! Он спускался с этого холма, и рядом была Этель...

Неужели он когда-то испытывал к ней подобные чувства?

— Проклятие! — буркнул он и вернулся к своим книгам.

Но мелодия и воспоминание окончательно завладели им, они не покидали его и за скудным завтраком из молока и ячменной лепешки — он еще с утра решил, что не пойдет домой обедать,— и по дороге к Вигорсу. Возможно, столь необильный завтрак сам по себе придает мыслям смягченный оборот. Теперь у него уже не было уверенности в своей правоте; он испытывал чувство бесконечной растерянности.

«Но в таком случае,— спрашивал он себя,— как же мы, черт побери, дошли до этого?»

Таков, как известно, коренной вопрос семейной жизни.

Утреннее бешенство уступило место почти олимпийскому спокойствию. Он мужественно взялся за решение коренного вопроса. Они поссорились — от этого никуда не уйдешь. И это не в первый раз за последнее время. Ссорились всерьез: стояли друг против друга, нанося чувствительные удары, выбирая самое уязвимое место. Он пытался восстановить в памяти, как все это было, припомнить, что сказал он, что ответила она. И не в силах был этого сделать. Он забыл, что̀ и в связи с чем было сказано, забыл, как все это произошло. В памяти у него сохранились только отдельные фразы, резкие, окончательные, как высеченная на камне надпись. А из всей сцены перед ним стояла лишь одна картина: Этель с пылающим лицом и глазами, в которых сверкали слезы.

На перекрестке он на время отвлекся от своих мыслей. Но на противоположной стороне им снова завладели думы о том, как разительно изменились их отношения. Он сделал еще одну попытку свалить всю вину на нее, доказать, что причина всех бедствий — она одна. Она затеяла с ним ссору, и притом умышленно, потому что вздумала ревновать. Она ревнует его к мисс Хейдингер, потому что глупа. Но теперь эти обвинения улетучивались, как дымок, одно за другим. А видение прошлого с двумя залитыми лунным светом фигурками не таяло. На узкой кенсингтонской Хай-стрит он отказался от своих обвинений. А миновав Таун-холл, пришел к совершенно новой мысли. Быть может, он сам в какой-то степени виноват?

И понял, что сознание этого не оставляло его все время.

Дальше все происходило очень быстро. Через каких-нибудь сто шагов внутренняя борьба в его душе завершилась, и он с головой окунулся в синюю пучину раскаяния. И все то неприятное и оскорбительное, что произошло, все злобное, что он наговорил, теперь уже казалось ему не высеченным на камне, а начертанным огненными буквами обвинением. Он пытался убедить себя, что не говорил такого, что это память сыграла с ним злую шутку, или, возможно, и говорил, но не так уж грубо. Точно так же не в силах он был и заглушить собственную боль. Только яснее открылась ему вся глубина его падения.

Теперь все воскресло у него в памяти. Он видел Этель на залитой солнцем аллее, видел ее бледную в лунном свете в минуту их прощания перед домом Фробишеров, видел, как она появляется из подъезда дома Лэгьюна, чтобы пойти вместе с ним гулять, видел ее после свадьбы, когда она, трепетная, сияющая в ореоле его восхищения, выходит навстречу ему из двухстворчатой двери. И наконец, видел Этель разгневанную, растрепанную и заплаканную в плохо освещенной, неприбранной комнатке. А в ушах у него, не переставая, звучала грустная шарманка. До чего он дошел! Как могло случиться, что вслед за такой радужной зарей наступил унылый, пасмурный день? Что ушло? Ведь это они так радостно шагали в его воспоминаниях, и вот теперь в последние злополучные недели они же так мучают друг друга!

Люишем едва не стонал от досады. Теперь он осуждал и ее и себя. «Что мы наделали! — твердил он.— Что мы натворили!»

Теперь он знал, что такое любовь, знал, что она сильнее рассудка и властвует над ним. Теперь он знал, что любит ее, и его недавний гнев, его враждебность, недовольство — все это казалось ему каким-то чуждым чувством, занесенным в его душу извне. Он с болью и сожалением вспоминал, как после первых дней взаимных восторгов стала угасать нежность, как он становился все суше с нею, как появились первые признаки раздражительности, как он работал по вечерам, упорно не желая замечать ее присутствия. «Нельзя все время думать только о любви»,— говорил он, и они все больше и больше отдалялись друг от друга. Как часто в мелочах он был несдержан, как часто был несправедлив! Он причинял ей боль своей резкостью, насмешками и прежде всего нелепой таинственностью, которой он окружал письма от мисс Хейдингер. Чего ради он скрывал от нее эти письма? Как будто в них было что скрывать! Что там надо было скрывать? Что в этих письмах могло бы ей не понравиться? А между тем все эти мелочи и привели к тому, что их любовь, словно оскверненная грубыми руками драгоценность, поцарапана, побита, потускнела, ей угрожает окончательная гибель. Этель тоже к нему изменилась. Пропасть разверзлась между ними, пропасть, которую он, возможно, никогда не сумеет преодолеть.

— Нет, этого не будет!—воскликнул он.— Не будет!

Но как вернуть былое? Как вычеркнуть сказанное, как стереть в памяти сделанное?

Можно ли вернуть прошлое?

Он попробовал представить себе другой исход. Что если они не сумеют вернуть прошлое? Что если зло непоправимо? Что если дверь, которую он захлопнул за собой, затворилась навсегда?

— Но это невозможно! — решил Люишем.— Этого нельзя допустить.

Он чувствовал, что извинения и рассуждения здесь не помогут. Нужно начать все сначала, нужно вернуться к чувствам, нужно стряхнуть с себя гнет повседневных забот и тревог, которые лишают их жизнь тепла и света. Но как это сделать? Как?

Он должен снова завоевать ее любовь. Но с чего начать? Как выразить ей эту перемену? Ведь и прежде у них бывали примирения, спрятанные обиды и взаимные уступки. Сейчас все должно быть по-другому. Что бы такое ей сказать, как к ней подойти? Но все, что приходило на ум, звучало либо холодно и бездушно, либо жалобно и недостойно, либо же наигранно и глупо. Что если дверь затворилась навсегда? Вдруг уже поздно? Со всех сторон подступали неприятные воспоминания. Он внезапно сообразил, что, наверное, очень изменился в глазах Этель, и эта мысль была нестерпимо мучительной. Ибо теперь он был уверен, что всем сердцем любит Этель.

И вдруг он увидел витрину цветочного магазина, в середине которой красовался великолепный букет роз.

Они попались ему на глаза, когда он проходил мимо. Перед ним были белые, девственные розы, чайные, розовые и алые розы, розы цвета живой плоти и цвета прохладного жемчуга, целое облако благоухающих красок, зримых ароматов, и в середине одно темно-красное пятно. То был как бы цвет его чувств. Он остановился. Вернувшись к витрине, он смотрел и смотрел, не отрывая глаз. Букет был великолепный — он это видел, но почему он так привлекает его внимание?

И тогда он понял, словно это было ясно само собой: да, именно это ему нужно. Именно это он и должен сделать. Вот оно, то новое, чем будет ознаменована перемена в их жизни,— между прочим, еще и потому, что так будет попран проклятый идол мелочной бережливости, заставлявший их отказывать себе во всем и угнетавший их день ото дня. Розы явятся ей как чистая неожиданность, они вспыхнут вокруг нее новым огнем.

А вслед за розами вернется он.

Серый туман его души рассеялся; перед ним вновь, блистая игрой красок, предстал мир. Он вообразил всю картину с ясной отчетливостью, увидел Этель не рассерженной и плачущей, а радостной, как прежде. Сердце у него учащенно забилось. Ему нужно было принести ей дар, и он его принесет.

Неуместное благоразумие сделало попытку вмешаться, но тотчас замолкло. У него в кармане — он знал — лежит соверен. Он вошел в магазин.

Перед ним предстала важная молодая леди в черном,

и он растерялся. Ему еще никогда не доводилось покупать цветов. Он огляделся, ища подходящие слова.

— Мне нужны эти розы,— указав на букет, проговорил он.

Когда он вышел из магазина, в кармане у него осталось лишь несколько мелких серебряных монет. Розы, соответствующим образом упакованные, должны были быть доставлены Этель, согласно его настоятельному предписанию, ровно в шесть часов.

— В шесть,— внушительно повторил Люишем.

— Не беспокойтесь,— ответила молодая леди в черном и сделала вид, будто не в силах скрыть улыбку.— Мы, право же, довольно часто доставляем цветы на дом.

ГЛАВА XXVIII

ПОЯВЛЕНИЕ РОЗ

Но розы не были доставлены!

Когда Люишем вернулся от Вигорса, было уже около семи. Он вошел в дом — сердце его билось учащенно. Он ждал, что Этель встретит его взволнованная, а розы будут стоять на самом видном месте. Но ее лицо по-прежнему было бледным и осунувшимся. Это его так поразило, что слова привета замерли у него на губах. Его обманули! Он вошел в гостиную, роз не было. Этель прошла в комнату и стала к нему спиной, глядя в окно. Он дольше не мог оставаться в неведении... Он был обязан спросить, хотя ответ знал наперед.

— Ничего не приносили?

Этель взглянула на него.

— А что, по-твоему, могли принести?

— Так, ничего.

Она снова принялась смотреть в окно.

— Нет,— медленно сказала она,— ничего не приносили.

Он силился найти слова, которые могли бы облегчить примирение, но ничего не мог придумать. Придется подождать, пока принесут розы. Чтобы как-нибудь убить время до ужина, он вытащил свои книги; за ужином, который прошел холодно и церемонно, они обменивались лишь необходимыми сверхвежливыми замечаниями.

Разочарование и досада вновь овладели Люишемом. Он злился на весь мир — даже на нее; он видел: она все еще считает, что он сердится,— и за это он сердился на нее. Он опять взялся за книги, а она помогала служанке мадам Гэдоу убрать со стола, когда послышался стук у входной двери. «Наконец-то принесли»,— сказал он себе с радостным облегчением и встал, не зная, уйти ли ему или остаться свидетелем того, как она примет подарок. Служанка сейчас была явно некстати. Но тут он услышал голос Чеффери и тихо выругался про себя.

Теперь, если принесут розы, придется проскользнуть в коридор, перехватить их и отнести в спальню через дверь из коридора. Совсем ни к чему Чеффери их видеть. Он способен метнуть такую стрелу насмешки, которая на всю жизнь вонзится в память.

Люишем старался дать гостю понять, что не очень рад его визиту. Но Чеффери находился в таком благодушном настроении, что его пыл не могли охладить никакие холодные приемы. Не ожидая приглашения, он бесцеремонно уселся в то кресло, которое ему больше других пришлось по вкусу.

Люишемы и раньше всячески скрывали от мистера и миссис Чеффери свои семейные нелады, поэтому и нынче, ничего не подозревая о ссоре, Чеффери принялся без умолку болтать. Он вынул две сигары.

— Нашла на меня такая фантазия,— сказал он.— Пусть, думаю, на сей раз честный человек выкурит добрую сигару или, если хотите, наоборот: добрый человек— честную сигару. Берите одну. Нет? Уж эти ваши строгие правила. Ну что ж, мне же лучше. Но, право, мне было бы так же приятно, если бы ее выкурили вы. Ибо нынче меня просто одолевает щедрость.

Он осторожно срезал кончик сигары, церемонно зажег ее, подождав, пока обгорит на спичке фосфор, и целую минуту молчал, выпуская огромные клубы дыма. А затем заговорил снова, сопровождая свои слова разнообразными и красивыми кольцами дыма.

— До сих пор,—сказал он,— я плутовал лишь по пустякам.

Поскольку Люишем ничего не ответил, он, помолчав, продолжил свою мысль:

— На свете существуют три категории мужчин, мой

мальчик, только три, женщин же — всего одна категория. Есть мужчины счастливые, есть плуты и есть глупцы. Гибридные типы я в расчет не беру. Что же касается плутов и глупцов, то они, по-моему, очень похожи друг на друга.

Он опять умолк.

— Наверное, похожи,— безучастно отозвался Люишем и хмуро уставился в камин.

Чеффери внимательно его разглядывал.

— Я проповедую. Нынче вечером я проповедую особую мудрость. Оглашаю мои давние и заветные мысли, потому что, как вы вскоре сможете убедиться, у меня сегодня особенный день. А вы слушаете меня невнимательно.

Люишем поднял глаза.

— День рождения? — спросил он.

— Узнаете потом. Я говорил о моих тончайших наблюдениях над плутами и глупцами. Я давно убедился в абсолютной необходимости праведной жизни, если человек хочет быть счастливым. Для меня это такая же истина, как то, что в небе есть солнце. Вас это удивляет?

— Видите ли, это не совсем совпадает...

— Да. Я знаю. Я объясню все. Разрешите мне сначала поведать вам о счастливой жизни. Слушайте же меня, как если бы я лежал на смертном одре и это был бы мой прощальный завет. Прежде всего честность ума. Исследуйте явление и крепко стойте на том, что вы считаете справедливым. Не позволяйте жизни увлекать вас иллюзиями и чудесами. Природа полна жестоких катастроф, человек — это физически выродившаяся обезьяна, каждое вожделение, каждый инстинкт нуждаются в обуздании; спасение, если только оно вообще бывает, не в природе вещей, а в природе человека. Этой неприятной истине вы должны смотреть в глаза. Надеюсь, вы следите за моей мыслью?

— Продолжайте,— отозвался Люишем, забывая о розах из студенческой любви к спорам.

— В юности — учение и жажда знаний, на заре юности — честолюбие, в начале зрелости — любовь, а не театральная страсть.

Чеффери произнес это особенно торжественно и отчетливо, многозначительно подняв вверх худой, длинный палец.

— Затем брак, когда люди еще молоды и скромны, потом дети и упорная честная работа ради них, а заодно и на благо государства, в котором они живут; жизнь, полная самопожертвования, а на закате — законная гордость. Вот что такое счастливая жизнь. Можете мне поверить, именно это и есть счастливая жизнь, правильная форма жизни, выработанная для человека естественным отбором за все время существования человечества на земле. Так человек может прожить счастливо от колыбели до могилы, по крайней мере относительно счастливо. А для этого требуются всего три условия: здоровое тело, здоровый дух и здоровая воля... Здоровая воля!

Повторив заключительные слова, Чеффери на секунду умолк.

— Всякое другое счастье непрочно. И когда люди станут по-настоящему мудрыми, они все будут стремиться к такой жизни. Слава! Богатство! Искусство! Индейцы поклоняются сумасшедшим, и мы тоже в некотором роде чтим людей неполноценных. Я же утверждаю: те люди, которые не ведут этой счастливой жизни,— плуты или глупцы. Физическое уродство, знаете ли, я тоже считаю своего рода глупостью.

— Да,— подумав, согласился Люишем,— пожалуй, вы правы.

— Глупцу не везет из-за недостатка ума, он ошибается в своих расчетах, спотыкается, запинается, любая лицемерная или трескучая фраза может сбить его с толку; страсть он познает лишь из книг, а жену берет из публичного дома; он ссорится по пустякам, угрозы его пугают, тщеславие обольщает, он ослеплен и потому совершает промахи. Плут же, если он не дурак, терпит банкротство в лучах света. Многие плуты в то же время и глупцы, большинство, если говорить правду, но не все. Я знаю, я сам плут, но не дурак. Несчастье плута состоит в том, что у него нет воли, отсутствует стимул к поиску собственного высшего блага. Он питает отвращение к настойчивости. Узок путь, и тесны врата; плут не может в них протиснуться, а глупец не способен их отыскать.

Последние фразы Чеффери Люишем пропустил мимо ушей, потому что внизу опять раздался стук. Он встал,

но Этель его опередила. Он постарался скрыть свою тревогу и с облегчением вздохнул, когда услышал, что парадная дверь захлопнулась, а Этель прошла из коридора прямо в спальню. Тогда он снова повернулся к Чеффери.

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову,— ни с того ни с сего спросил Чеффери,— что убеждения не могут служить причиной действий? Как железнодорожная карта не может служить причиной передвижения поезда.

— Что? — переспросил Люишем.— Карта?.. Движение поезда? Да, конечно. То есть, разумеется, нет.

— Именно это я и хочу сказать,— продолжал Чеффери.— Вот так и обстоит дело с плутом. Мы не дураки, потому что мы все это сознаем. Но вон там идет дорога, извилистая, трудная, суровая, дорога строгого, прочного счастья. А в стороне пролегает чудесная тропинка, зеленая, мой мальчик, тенистая, как пишут поэты, но на ней среди цветов сокрыта западня...

В двухстворчатую дверь прошла, возвращаясь, Этель. Она взглянула на Люишема, постояла немного, села в плетеное кресло, словно желая снова приняться за оставленное на столе шитье, но потом встала и пошла обратно в спальню.

Чеффери продолжал разглагольствовать о скоропреходящей природе страсти и всех прочих острых и сильных переживаний, но мысли Люишема были заняты судьбой букета, поэтому многое из того, что говорил Чеффери, он пропустил мимо ушей. Почему Этель вернулась в спальню? Возможно ли, что... Наконец она снова вошла в гостиную, но села так, что ему не было видно ее лица.

— Если можно что-либо противопоставить такой счастливой жизни, то только жизнь искателя приключений,— говорил Чеффери.— Но всякий искатель приключений должен молить у бога ранней смерти, ибо приключения приносят с собой раны, раны приводят к болезням, а болезни — в жизни, а не в романах — губят нервную систему. Нервы не выдерживают. И что же тогда, по-вашему, мой мальчик?

— Шшш! Что это? — спросил Люишем.

С улицы опять стучали. Не обращая внимания на поток премудростей, Люишем выбежал и, отворив дверь,

впустил одного джентльмена, приятеля мадам Гэдоу, который, пройдя по коридору, направился вниз по лестнице. Когда Люишем вернулся в комнату, Чеффери уже собрался уходить.

— Я мог бы еще поговорить с вами,— сказал он,— но вы, я вижу, чем-то озабочены. Не стану докучать вам догадками. Когда-нибудь вы вспомните...

Он не договорил и положил руку на плечо Люишема.

Можно было подумать, что он чем-то обижен.

В другое время Люишем постарался бы его умилостивить, но на сей раз даже не стал извиняться. Чеффери повернулся к Этель и минуту с любопытством смотрел на нее.

— Прощай,— сказал он, протянув ей руку.

На пороге Чеффери тем же любопытствующим взглядом окинул Люишема и, казалось, хотел было что-то сказать, но только проговорил: «Прощайте». Что-то в его поведении было такое, отчего Люишем задержался у дверей, глядя вслед исчезающей фигуре своего тестя. Но тотчас мысль о розах заставила его забыть обо всем остальном.

Когда он возвратился в гостиную, Этель сидела перед своей машинкой, бесцельно перебирая клавиши. Она сразу же встала и пересела в кресло, держа в руках роман. Книга закрывала ей лицо. Он вопросительно смотрел на нее. Значит, розы так и не принесли? Он был ужасно разочарован и страшно зол на молодую продавщицу из цветочного магазина. Он взглянул на часы раз, потом другой, взял книгу и сделал вид, будто читает, но мысленно придумывал едкую возмущенную речь, которую он завтра произнесет в цветочном магазине. Он отложил книгу, взял свой черный портфель, машинально открыл его и снова закрыл. Затем украдкой взглянул на Этель и увидел, что она украдкой тоже поглядывает на него. Выражение ее лица было ему не совсем понятно.

Он направился в спальню и замер на пороге, как пойнтер на стойке.

В комнате пахло розами. Аромат был так силен, что Люишем даже выглянул за дверь в надежде найти там коробку, таинственно доставленную к их порогу. Но в коридоре розами не пахло.

Вдруг он увидел: что-то загадочно белеет на полу у его ноги. И, наклонившись, поднял кремовый лепесток розы. С минуту он стоял с лепестком в руке, пораженный. Он заметил, что край скатерки на туалетном столике отвернут, и мгновенно сопоставил это обстоятельство с найденным лепестком.

В два шага он был возле столика, поднял скатерку — и что же? Там лежали его розы, изломанные, помятые!

У него захватило дыхание, как у человека, который нырнул в холодную воду. Он так и застыл, склонившись, держа в руке край скатерки.

В полуотворенной двери появилась Этель. Выражение ее бледного лица было каким-то новым. Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Скажи на милость, для чего ты засунула сюда мои розы? — спросил он.

Она, в свою очередь, уставилась на него. На лице ее выразилось точно такое же изумление.

— Зачем ты засунула сюда мои розы?—повторил он.

— Твои розы! — воскликнула она.— Как? Значит, это ты их прислал?

ГЛАВА XXIX

ШИПЫ И РОЗЫ

Он так и остался стоять, согнувшись, не сводя с нее глаз и медленно уясняя смысл ее слов.

И вдруг он понял.

При первом же проблеске понимания на его лице она в испуге вскрикнула, опустилась на маленький пуф и, повернувшись к нему, попробовала заговорить.

— Я...— начала она и остановилась, в отчаянии махнув рукой: — О!

Он выпрямился и стоял, глядя на нее. Опрокинутая корзина с розами валялась между ними.

— Ты решила, что их прислал кто-то другой? — спросил он, стараясь освоиться с перевернутой вселенной.

Она отвела взгляд.

— Я не знала,— выдохнула она.— Ловушка... Могла ли я догадаться, что их прислал ты?

— Ты думала, что их прислал кто-то другой,— сказал он.

— Да,— ответила она,— я так подумала.

— Кто?

— Мистер Бейнс.

— Этот мальчишка!

— Да, этот мальчишка.

— Ну, знаешь ли...

Люишем огляделся, стараясь постичь непостижимое.

— Ты хочешь сказать, что любезничала с этим юнцом за моей спиной? — спросил он.

Она открыла рот, чтобы ответить, но не нашла слов.

Бледность стерла последние следы краски с его лица. Он засмеялся, потом стиснул зубы. Муж и жена смотрели друг на друга.

— Вот уж никогда не думал,— проговорил он совершенно ровным тоном.

Он сел на кровать и с каким-то злобным довольством придавил ногами лежавшие на полу розы.

— Вот уж не думал,— повторил он и пнул ногой легкую корзинку, которая, возмущенно подпрыгивая, вылетела сквозь створчатые двери в гостиную, оставив за собой след из кроваво-красных лепестков.

Минуты две они сидели молча, а когда он снова заговорил, голос его звучал хрипло. Он повторил фразу, которую произнес во время утренней ссоры.

— Вот что,— начал он и откашлялся,— ты, быть может, думаешь, что я намерен терпеть, но я этого не потерплю.

Он взглянул на нее. Она сидела, глядя прямо перед собой, не делая попытки оправдаться.

— Когда я говорю, что не потерплю,— объяснил Люишем,— это не значит, что я намерен устраивать скандалы и сцены. Ссориться, сердиться можно за другое... и тем не менее жить вместе. Это же совершенно иное. Вот они мечты, иллюзии!... Подумать, сколько я потерял из-за этой проклятой женитьбы. А теперь еще... Ты не понимаешь, ты никогда не поймешь.

— И ты не понимаешь! — проговорила Этель, плача, но не глядя на него и не поднимая рук, беспомощно лежавших на коленях.— Ты ничего не понимаешь.

— Начинаю понимать.

Он помолчал, собираясь с силами.

— За один год,— сказал он,— все мои надежды, все мои замыслы пошли прахом. Я знаю, я был зол, раздражителен, я это знаю. Я разрывался надвое. Но... Эти розы купил тебе я.

Она посмотрела на розы, потом на его белое лицо, чуть качнулась в его сторону и снова застыла в неподвижности.

— Я думаю об одном. Я давно понял, что ты человек пустой, что ты не способна мыслить, не способна чувствовать так, как мыслю и чувствую я. Я старался примириться с этим. Но я думал, что ты мне верна...

— Я верна! — вскричала она.

— И ты полагаешь... Ты сунула мои розы под стол!

И снова зловещее молчание. Этель зашевелилась, он повернулся к ней, желая посмотреть, что она намерена делать. Она достала носовой платок и принялась тереть им сухие глаза, сначала один глаз, потом другой. Затем она начала всхлипывать.

— Я... верна... во всяком случае, так же, как ты,— сказала она.

Люишем был возмущен. Но потом решил не обращать внимания на ее слова.

— Я бы стерпел это... Я бы стерпел все, если бы ты была мне верна, если бы я мог быть уверен в твоей преданности. Я глупец, я знаю, но я бы примирился с тем, что мне пришлось бросить свою работу, отказаться от надежды на карьеру, если бы только я был уверен в тебе. Я... Я очень любил тебя.

Он замолчал, заметив, что впадает в жалостливый тон. И поспешил защититься гневом.

— А ты обманывала меня! Как давно, насколько — это не имеет значения. Ты меня обманывала. Говорю тебе,— он начал жестикулировать,— что я еще не настолько твой раб и не настолько глупец, чтобы стерпеть и это! Уж таким-то глупцом не сделает меня ни одна женщина. Что касается меня, то все кончено. Все кончено. Мы женаты, но это не имеет значения, будь мы хоть пятьсот раз женаты. Я не останусь с женщиной, которая принимает цветы от другого мужчины...

— Я не принимала,— сказала Этель.

Люишем дал волю ярости. Схватив пучок роз, он, дрожа, протянул их ей.

— А это что? — выкрикнул он.

Он поцарапался в кровь шипом розы, как поцарапался когда-то, срывая ветку терна с черным шипом.

— Я их не принимала,— сказала Этель.— Я не виновата, что их прислали.

— Тьфу!—рассердился Люишем.—Но что толку спорить и отрицать? Ты их приняла, они у тебя. Ты хотела схитрить, но выдала себя. И нашей жизни и этому,— он указал на мебель мадам Гэдоу,— всему пришел конец.— Он взглянул на нее и с горьким удовлетворением повторил: — Конец.

Она посмотрела ему в лицо, но он был непоколебим.

— Я не хочу больше жить с тобой,— пояснил он, чтобы не оставалось сомнений.— Наша совместная жизнь кончена.

Она перевела взгляд с его лица на разбросанные розы. И продолжала смотреть на них. Она больше не плакала, лицо ее было мертвенно-белым, красными оставались только веки.

Он выразил свою мысль иначе:

— Я ухожу. И зачем мы только поженились? — размышлял он.— Но... Уж этого я никак не ожидал!

— Я не знала,— выкрикнула она с неожиданной силой в голосе. —Я не знала. Что мне было делать? О!

Она замолчала и, стиснув руки, посмотрела на него страдальческим, отчаянным взором.

Люишем оставался неумолимо враждебным.

— Меня это не интересует,— заявил он в ответ на ее немую мольбу.— Этим все решено. Вот этим! — Он указал на разбросанные цветы.— Не все ли мне равно, случилось ли что-нибудь или не случилось? Как бы там ни было... Я не сержусь. Я рад. Понимаешь? Этим все решено.

Чем скорее мы расстанемся, тем лучше. В этой спальне я больше не проведу ни одной ночи. Сейчас я отнесу мой сундук и чемодан в гостиную и буду укладываться. Нынче я буду спать в кресле или сидеть и думать. А завтра рассчитаюсь с мадам Гэдоу и уйду. Ты же можешь вернуться... к своему шарлатанству.

Он помолчал несколько секунд. Она была мертвенно-неподвижна.

— Ты добилась того, чего хотела. Ты ведь хотела вернуться, когда у меня не было работы. Помнишь? Твое место у Лэгьюна до сих пор не занято. Мне все равно. Говорю тебе, мне все равно. Не в этом дело. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Понимаешь? А вся эта гадость, все притворство, когда живут вместе и не любят друг друга — я тебя больше не люблю, так и знай, поэтому можешь больше не думать...— все это кончится раз и навсегда. Что же касается нашего брака, то его я не ставлю ни во что, из притворства ничего, кроме притворства, не получится. Это — притворство, а притворству должен наступить конец, а значит, и конец всему.

Он решительно встал, отшвырнул подвернувшиеся ему под ноги розы и полез под кровать за чемоданом. Этель, ничего не ответив, продолжала сидеть неподвижно и следила за ним. Чемодан почему-то отказывался вылезать, и Люишем, нарушив мрачность минуты, вполголоса пробормотал:

— Поди сюда, черт бы тебя побрал!

Вытащив чемодан, он швырнул его в гостиную и вернулся за желтым ящиком. Он решил укладываться в гостиной.

Когда он вынес из спальни все свои пожитки, он с решительным видом задвинул за собой створчатые двери. По донесшимся до него звукам он понял, что она бросилась на кровать, и это наполнило его душу злобным удовлетворением.

Он постоял, прислушиваясь, а затем принялся методически укладывать вещи. Первый взрыв ярости, порожденный внезапным открытием, прошел, теперь он отчетливо представлял себе, что подвергает Этель тяжкому наказанию, и эта мысль доставляла ему удовольствие. Приятно было и само сознание, что такой неожиданный поворот событий положил конец всем этим мучительным недомолвкам и взаимным обидам. Но молчание по другую сторону створчатых дверей тревожило, и он, чтобы красноречивее выразить свою решимость, нарочно старался шуметь, стучал книгами и вытряхивал одежду.

Было около девяти. В одиннадцать он все еще продолжал укладываться.

Темнота застигла его врасплох. У расчетливой мадам Гэдоу была привычка ровно в одиннадцать выключать

газ; отступала она от этого правила лишь в те вечера, когда у нее бывали гости.

Он полез в карман за спичками, но спичек там не оказалось. Он шепотом выругался. Для таких случаев у него была припасена керосиновая лампа, а в спальне хранились свечи. У Этель горела свеча: между створчатыми дверями появилась полоса ярко-желтого света. Он стал пробираться к камину и, осторожно нащупывая дорогу между некогда забавлявших его красот меблировки мадам Гэдоу, пребольно стукнулся боком о какое-то кресло.

На камине спичек не было. Направляясь к комоду, он чуть не упал, споткнувшись о свой раскрытый чемодан. В немой ярости он еще раз пнул ногой корзинку из-под роз. На комоде спичек тоже не оказалось.

У Этель в спальне, конечно, есть спички, но войти туда он не может. Пожалуй, еще придется просить их у нее, потому что она имела привычку носить спички в кармане... Ничего не оставалось, как прекратить сборы. Из спальни не доносилось ни звука.

Он решил устроиться в кресле и уснуть. Он осторожно добрался до кресла и сел. С минуту он продолжал прислушиваться, потом закрыл глаза и приготовился спать.

Он начал думать о том, что будет завтра; представил себе сцену с мадам Гэдоу и поиски новой холостяцкой квартиры. В каком районе города лучше подыскать жилье? Трудности, которые предстоят ему в связи с перевозкой багажа, неприятности, которые ждут его во время поисков квартиры, выросли в его представлении до гигантских размеров. Все это его страшно злило. Интересно, укладывается ли Этель? А что она намерена делать? Он прислушался — ни звука. Как там тихо! Как там удивительно тихо! Что она делает? При этой мысли он забыл обо всех ожидающих его завтра неприятностях. Он тихонько поднялся и прислушался, но тотчас снова сердито уселся на место и попытался заглушить неуместное любопытство, припоминая все свои беды.

Ему было нелегко сосредоточиться на этом предмете, но наконец память ему подчинилась. Однако не перечень собственных обид пришел ему на ум. Его донимала нелепая мысль, что он снова вел себя несправедливо по отношению к Этель, что он опять был несдержан и

зол. Он делал отчаянные попытки вновь вызвать давешний прилив ревности — все напрасно. Ее ответ, что она верна ему, во всяком случае, так же, как он ей, не выходил у него из головы. Он не мог отогнать от себя мысли о ее дальнейшей судьбе. Что она намерена делать? Он знал, что она привыкла во всем полагаться на него. Боже милосердный! Вдруг она что-нибудь натворит?

С большим трудом ему удалось наконец сосредоточиться на мысли о Бейнсе. Он опять ощутил почву под ногами. Что бы с ней ни случилось, она это заслужила. Заслужила!

Но решительность опять отступила, им вновь овладели угрызения совести и раскаяние, которые он испытывал утром. Он ухватился за мысль о Бейнсе, как утопающий хватается за веревку, и ему стало легче. Некоторое время он размышлял о Бейнсе. Он его ни разу не видел, поэтому его воображение могло работать свободно. Возмутительным препятствием к отмщению за поруганную честь казалось ему то обстоятельство, что Бейнс — еще совсем мальчик, быть может, даже моложе его самого.

Вопрос: «Что станется с Этель?»—снова всплыл на поверхность. Он боролся с собой, заставлял себя не думать об этом. Нет! Он не будет об этом думать! Это ее забота.

Гнев его поостыл, но он чувствовал, что все равно другого пути для него уже нет. Сделанного не воротишь. «Если ты примиришься с этим,— говорил он себе,— значит, ты стерпишь все, что бы ни случилось. А есть такие вещи, которые терпеть нельзя». Он упорно цеплялся за эту мысль, однако что именно он не намерен терпеть, он сказать не мог. В глубине души он это сознавал. Но уж кокетничать-то она, наверное, с ним кокетничала!.. Он сопротивлялся оживающему в нем чувству справедливости, словно самому постыдному, низменному желанию, и старался представить ее рядом с Бейнсом.

И опять решил, что надо заснуть.

Но его усталость не усыпляла, а, наоборот, будоражила. Он попробовал считать, попробовал перечислить атомные веса химических элементов, только бы не думать о ней...

Он вздрогнул и почувствовал, что замерз, сидя в неловкой позе в жестком кресле. Оказывается, он задремал.

Он посмотрел на желтую щель между створчатыми дверями. Свет еще горел, но как-то мерцал при этом. Наверное, свеча уже догорает. Интересно, почему так тихо?

Почему ему вдруг стало страшно?

Он долго сидел, напряженно вытягивая во тьме шею, прислушиваясь, надеясь уловить какой-нибудь звук...

Ему пришла в голову нелепая мысль, что все свершившееся случилось давным-давно. Он ее отогнал. Отогнал он и глупое ощущение, будто произошло нечто непоправимое. Но почему вокруг так тихо?

Наконец он встал и медленно, стараясь не производить ни единого звука, начал пробираться к створчатым дверям. Приложив ухо к желтой щели, стоял, прислушиваясь.

Ничего не слышно, даже сонного дыхания.

Он заметил, что двери прикрыты неплотно, тихонько толкнул одну половинку и бесшумно ее приотворил. Ни звука. Он отворил дверь пошире и заглянул в спальню. Свеча совсем догорела, фитиль плавал в воске и коптил. Этель, полураздетая, лежала на постели и держала в руке возле самого лица розу.

Он стоял с белым, как мел, лицом, не сводя с нее глаз, боясь пошевелиться. И напряженно прислушивался. Но даже сейчас не мог различить ее дыхания.

Во всяком случае, произойти ничего не могло. Просто она спит. Нужно уйти, пока она не проснулась. Если она увидит его...

Он снова посмотрел на нее. В ее лице было что-то...

Он подошел поближе, уже не заботясь о том, чтобы его шаги были бесшумными. И наклонился над ней. Даже сейчас она, казалось, не дышала.

Он увидел, что ресницы у нее все еще мокрые, мокрой была и подушка под ее щекой. Ее бледное, заплаканное лицо потрясло его...

Ему вдруг стало невыносимо ее жаль. Он позабыл обо всем, кроме этой жалости и того, что глубоко ее обидел. В этот момент она зашевелилась и назвала его одним из тех ласковых прозвищ, которые постоянно придумывала для него.

Он забыл, что им предстояло расстаться навсегда. Он ощущал лишь огромную радость: она шевелится и говорит. Ревности как не бывало. Он упал на колени.

— Любимая,— прошептал он,— ты здорова? Я... я не слышал твоего дыхания. Я не слышал, как ты дышишь.

Она вздрогнула и проснулась.

— Я был в другой комнате,— дрожащим голосом продолжал Люишем.— Кругом было так тихо. Я испугался... Я не знал, что случилось. Любимая, Этель, любимая, ты здорова?

Она быстро села и всмотрелась в лицо Люишема.

— О, позволь мне объяснить тебе,—умоляюще сказала она.— Пожалуйста, позволь мне объяснить. Ведь это все пустяки, вздор. Ты не хочешь меня выслушать. Ты не хочешь меня выслушать. Это несправедливо, не выслушав...

Люишем обнял ее.

— Любимая,— сказал он,— я знал, что это пустяки. Я знал... Я знал...

Она говорила, всхлипывая:

— Все так просто. Мистер Бейнс... что-то в его манерах... Я знала, что он может сделать глупость... Но мне так хотелось помочь тебе.— Она остановилась. На мгновение ей, словно в блеске молнии, представился один неблагоразумный поступок, о котором не стоило и упоминать. Это была случайная встреча, «глупая» фраза, и сразу испуг, отступление. Она бы сказала об этом, если бы знала, как объяснить. Но она не знала. Она медлила. И в конце концов решила не говорить. Она продолжала: — Я решила, что розы прислал он, и я испугалась... Я испугалась.

— Любимая,— сказал Люишем,— любимая! Я был жесток. Я был несправедлив к тебе. Я понимаю. Я все понимаю. Прости меня, моя любимая, прости.

— Я так хотела чем-нибудь тебе помочь. Ведь только эти малые деньги я и могла заработать. И вдруг ты рассердился. Я думала, ты больше не любишь меня, потому что я не понимаю твою работу... И эта мисс Хейдингер... О! Это было ужасно.

— Любимая,— сказал Люишем,— для меня эта мисс Хейдингер и мизинчика твоего не стоит.

— Я знаю, что мешаю тебе. Но если ты мне поможешь — о! — я буду работать, я буду учиться. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы понимать.

— Любимая,— шептал Люишем,— любимая!

— Да еще она...

— Любимая,— принялся он каяться,— я был негодяем. Я покончу со всем этим. Я покончу со всем этим.

Он привлек ее в свои объятия и поцеловал.

— О, я знаю, я глупая,— сказала она.

— Нет. Это я был глуп. Я был жесток, безрассуден. Весь день сегодня... Я думал об этом. Любимая! Мне ничего не надо, кроме тебя. Если ты будешь со мной, все остальное не имеет значения... Просто я разнервничался и наговорил грубостей. Все это из-за работы и нашей бедности. Любимая, мы должны держаться друг друга. Весь день сегодня... Это было ужасно...— Он замолчал. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу.

— Я люблю тебя,— сказала она, обнимая его.— Я так люблю тебя!

Он притянул ее к себе и поцеловал в шею. Она прижалась к нему. Их губы встретились.

Догоравшая свеча вспыхнула ярким пламенем, задрожала и разом погасла. Воздух был насыщен сладким ароматом роз.

ГЛАВА XXX

УХОД

В пятницу Люишем вернулся от Вигорса в пять — в половине седьмого ему предстоял урок естествознания в Уолэм-Грин — и застал миссис Чеффери и Этель в слезах. Он измучился, ему страшно хотелось чаю, но новость, которой они его встретили, вынудила его позабыть о чае.

— Он уехал,— объявила Этель.

— Кто уехал? Что? Неужели Чеффери?

Миссис Чеффери, зорко следившая за тем, как воспримет Люишем это известие, кивнула, вытирая слезы видавшим виды носовым платком.

Наконец-то сообразив, что произошло, Люишем едва удержался от громкого проклятия. Этель протянула ему письмо.

Минуту Люишем, не раскрывая, держал его в руках и задавал вопросы. Миссис Чеффери нашла письмо в футляре часов, которые заводятся раз в восемь дней, ко-

гда настало время их заводить. Чеффери, оказывается, ушел из дому еще в субботу вечером. Письмо было не запечатано и адресовано Люишему — длинное, бессвязное, полное поучений письмо, и написано оно было до странности плохо в сравнении с речами Чеффери. Оно было помечено несколькими часами раньше, чем его последний визит к Люишемам; значит, тогдашняя беседа была своего рода дополнением к завещанию.

«Беспримерная глупость этого субъекта Лэгьюна гонит меня из Англии,— прочел Люишем.— Я наконец-то об нее споткнулся, боюсь, на сей раз даже в глазах закона. И посему я уезжаю. Удираю. Рву все узы. Мне будет недоставать наших долгих, освежающих бесед — вы вывели меня на чистую воду, поэтому с вами я мог быть откровенен. Мне жаль расстаться и с Этель, но, слава богу, о *ней есть кому заботиться!* Вы, разумеется, позаботитесь о них обеих, хотя на «обеих» вы, вероятно, никак не рассчитывали».

Зарычав от злости, Люишем перелистнул с первой страницы сразу на третью, чувствуя, что обе женщины не спускают с него глаз, теперь особенно внимательных. Здесь Чеффери уже перешел к практическим соображениям:

«В нашем доме в Клэпхеме остались два-три предмета из той части движимого имущества, которая не пострадала от моей прискорбной расточительности. Это окованный железом сундук, конторка со сломанной петлей и большой насос. Их, несомненно, можно заложить, если только вы ухитритесь дотащить их до ломбарда. У вас больше силы воли, чем у меня — я так и не собрался даже стащить эти проклятые вещи с лестницы. Окованный железом сундук принадлежал мне до женитьбы на вашей теще, так что меня нельзя упрекнуть в полнейшем безразличии к вашему благосостоянию и в нежелании чем-нибудь отблагодарить вас. Не судите меня слишком строго».

Не дочитав страницу до конца, Люишем сердито перевернул ее.

«Жизнь в Клэпхеме,—было писано далее,—последнее время стала меня раздражать, и, сказать по правде, при виде вашего молодого, бодрого счастья — вы ведь и сами не знаете, сражаясь с миром, как вам хорошо,—

я вспоминал, что годы проходят. Дабы быть до конца искренним в своей исповеди, признаюсь, что нечто большее, чем просто новая женщина, вошло в мою судьбу, и я чувствую, что должен еще пожить в свое удовольствие. Какая чудесная фраза — «пожить в свое удовольствие»! От нее веет честным презрением к условностям. Это вам не Imitatio Christi[1]. Я жажду видеть новых людей, новые города... Я знаю: я поздно начинаю жить в свое удовольствие, я уже плешив, а в бороде у меня седина; но лучше поздно, чем никогда. Почему только образованным девицам должны принадлежать все эти удовольствия? А бороду, между прочим, можно и покрасить...

Вскоре — я коснусь этого лишь мимоходом — Лэгьюн узнает кое-что такое, что поразит его до глубины души».

Тут Люишем стал читать более внимательно.

«Удивляюсь этому человеку: он жадно ищет чудес, в то время как вокруг него происходит самое невероятное. Что может представлять собой человек, который бегает за медиумами и чудесами, тогда как к его услугам чудо его собственного существования, нелогичного, бессмысленного, в высшей степени странного и, однако, присущего ему, как дыхание, неотторжимого, как руки и ноги? Что он-то сам такое, чтобы заниматься чудесами? Меня поражает, как это столь ощутимые спиритические явления не обратились до сих пор против своих исследователей и как это Общество Исследователей Выдающихся Иллюзий и Галлюцинаций не направило на Лэгьюна критического ока. Взгляните хотя бы на его дом — да этого мнимого жителя Челси ничего не стоит разоблачить. A priori[2] можно утверждать, что существо столь глупое, столь бессмысленное, столь болтливое может быть только бредом какого-то истерического фантома. Вы верите, что такой субъект, как Лэгьюн, существует? Признаюсь, у меня на этот счет имеются серьезные сомнения. К счастью, его банкир — человек более доверчивый, чем я... Но об этом Лэгьюн вскорости сам известит вас».

Дальше Люишем читать не стал.

— Наверное, писал и любовался своим остроумием,— в сердцах сказал Люишем, швырнув листки на стол.—

---

[1] Подражание Христу (*лат.*).

[2] Наперед, заранее (*лат.*).

А в действительности он просто совершил не то кражу, не то подлог — и удрал.

Наступило молчание.

— Что же будет с мамой? — спросила Этель.

Люишем посмотрел на «маму» и на минутку призадумался. Затем он взглянул на Этель.

— Все мы связаны одной веревочкой,— сказал Люишем.

— Я не хочу никому быть в тягость,— заявила миссис Чеффери.

— Я думаю, Этель, ты могла бы, во всяком случае, напоить мужа чаем,—сказал Люишем, вдруг садясь на стул. Он забарабанил по столу пальцами.— Без четверти семь мне нужно быть в Уолэм-Грин.

— Все мы связаны одной веревочкой,—спустя минуту снова повторил он, продолжая барабанить по столу.

Открытие это, что все они связаны одной веревочкой, самого его поразило. Необыкновенные у него способности взваливать на себя заботы. Подняв взгляд, он вдруг увидел, что полные слез глаза миссис Чеффери обращены к Этель с горестным вопросом. Его беспокойство сразу сменилось жалостью.

— Ничего, мама,— сказал он.— Я понимаю. Я вас не покину.

— Ах! — воскликнула миссис Чеффери.— Я так и знала!

А Этель подошла и поцеловала его.

Ему грозили объятия с обеих сторон.

— Лучше дайте мне выпить чаю,— сказал он.

И пока он пил чай, он задавал миссис Чеффери вопросы, стараясь освоиться с новым положением вещей.

Но даже в десять часов, когда он, усталый и разгоряченный, возвращался из Уолэм-Грин, ему еще не удалось до конца освоиться с новым положением вещей. Во всей этой истории было немало неясностей и вопросов, которые весьма озадачивали его.

Он знал, что ужин будет только прелюдией к нескончаемому «выяснению отношений», и действительно, лечь спать ему удалось лишь около двух. К этому времени был разработан определенный план действий. Миссис

Чеффери была привязана к своему дому в Клэпхеме долгосрочной арендой, и поэтому им предстояло перебраться туда. Первый и второй этажи сдавались внаем без мебели, и доходы с них практически покрывали арендную плату. Чеффери занимали подвальный и третий этажи. На третьем этаже была одна спальня, которую прежде сдавали жильцам второго этажа. Теперь же они с Этель могли занять ее. Старый туалетный стол он мог бы использовать для работы дома. Этель свою машинку поставит в столовой, расположенной в подвальном этаже. Миссис Чеффери и Этель будут готовить и выполнять основную работу по дому, и нужно будет как можно скорее освободиться от арендного контракта и подыскать дом поменьше где-нибудь в пригороде, поскольку сдача комнат жильцам не сообразуется с профессиональной гордостью Люишема. Если они сумеют это сделать и съедут с квартиры, не оставив адреса, то тем самым избавятся от переживаний, которые их ждут в случае возвращения блудного Чеффери.

Миссис Чеффери без конца слезно восторгалась благородством Люишема, но это только отчасти рассеивало его горестное умонастроение. И во время деловых разговоров они то и дело возвращались к Чеффери: что же все-таки он натворил, и куда скрылся, и не может ли, не дай бог, еще вернуться?

Когда наконец миссис Чеффери со слезами, с поцелуями и с благословениями — она называла их «добрыми, милыми деточками» — удалилась, мистер и миссис Люишем вернулись в гостиную. На лице миссис Люишем был написан искренний восторг.

— Ты молодец! — сказала она и в награду крепко обняла его.— Я знаю, знаю, нынче я весь вечер была в тебя влюблена. Милый! Милый! Милый...

На следующий день Люишем был слишком занят, чтобы повидаться с Лэгьюном, но на третий день утром он зашел к нему и застал исследователя спиритических явлений за чтением гранок «Геспера». Лэгьюн принял молодого человека очень приветливо, вообразив, что Люишем пришел довести до конца их старый спор,— о женитьбе Люишема ему, очевидно, ничего не было известно. Люишем сразу, без обиняков изложил цель своего прихода.

— В последний раз он был здесь в субботу,— удивился Лэгьюн.— У вас всегда была склонность относиться к нему с подозрением. Для этого есть основания?

— Лучше прочтите-ка это,— подавляя мрачную усмешку, ответил Люишем и подал Лэгьюну письмо Чеффери.

Люишем иногда поглядывал, не дочитал ли еще Лэгьюн до того места, где Чеффери переходит на личности, а в остальное время с завистью озирал роскошный его кабинет. У того лопоухого юноши тоже, наверное, такой...

Когда Лэгьюн дошел наконец до того места, где подвергалась сомнению сама его персона, он только как-то странно надул щеки.

— Боже мой! — наконец изрек он.— Мой банкир! — Он поднял на Люишема кроткий взгляд вооруженных очками глаз.— Как вы думаете, что это значит? — спросил он.— Может быть, он сошел с ума? Мы ставили опыты, требующие исключительного умственного напряжения. Мы с ним и еще одна дама. Гипнотические...

— На вашем месте я бы проверил чековую книжку.

Лэгьюн достал ключи, вынул из ящика чековую книжку и перелистал ее.

— Все в порядке,— сказал он и протянул книжку Люишему.

— Хм,— пробормотал Люишем.—Надеюсь, это... Послушайте, а вот это так и должно быть?

Он передал книжку Лэгьюну, держа ее раскрытой на незаполненном корешке, чек которого был оторван. Лэгьюн растерянно провел рукой по лбу.

— Я ничего не вижу,— ответил он.

Люишему не приходилось слышать о постгипнотическом воздействии, и он недоверчиво уставился на Лэгьюна.

— Ничего не видите? — переспросил он.— Что за чепуха!

— Ничего не вижу,— повторил Лэгьюн.

Люишем готов был еще и еще раз бессмысленно повторять свой вопрос. Но в конце концов его осенило, и он обратился к косвенному доказательству:

— Послушайте! А этот корешок вы видите?

— Совершенно отчетливо,— ответил Лэгьюн.

— Номер вы можете прочесть?

— Пять тысяч двести семьдесят девять.

— Правильно. А этот?

— Пять тысяч двести восемьдесят один.

— Правильно. А где же пять тысяч двести восемьдесят?

Лэгьюну, видимо, стало слегка не по себе.

— Но ведь,— сказал он,— не мог же он... Прочтите мне, какая сумма стоит на чеке, то есть на корешке, которого я не вижу.

— Она не проставлена,— ответил Люишем, не в силах сдержать усмешки.

— Так, так,— сказал Лэгьюн, и испуг на его лице стал еще очевиднее.— Вы не возражаете, если я позову служанку подтвердить...

Люишем не возражал, и в кабинет вошла та самая девушка, которая когда-то отворила ему дверь, когда он пришел на спиритический сеанс. Подтвердив, что чек действительно вырван, она направилась к выходу. У двери она остановилась, и за спиной у Лэгьюна ее глаза встретились с глазами Люишема. Она приподняла брови, поджала губы и многозначительно взглянула на Лэгьюна.

— Боюсь,— сказал Лэгьюн,— со мной поступили крайне бесчестно. Мистер Чеффери — человек, бесспорно, способный, но боюсь, очень боюсь, что он злоупотребил условиями опыта. Все это... его оскорбления... меня весьма задевает.

Он замолчал. Люишем встал.

— Не смогли бы вы еще раз навестить меня? — с кроткой учтивостью спросил Лэгьюн.

Люишем с удивлением убедился, что ему жаль Лэгьюна.

— Это был человек незаурядных способностей,— продолжал Лэгьюн.— Я так привык полагаться на него... В последнее время у меня в банке собралась довольно крупная сумма денег. Но как он узнал об этом, ума не приложу. Иначе, как его необыкновенными способностями, это объяснить нельзя.

Придя к Лэгьюну в следующий раз, Люишем узнал от него подробности, и, между прочим, оказалось, что «дама» тоже исчезла.

— Вот это хорошо,— эгоистически заметил он.— По крайней мере, нам не угрожает его возвращение.

Он попробовал представить себе эту «даму» и тут более отчетливо, чем прежде, понял, как скуден его опыт и бедно воображение. И эти люди, уже с седыми волосами, с подмоченной репутацией, тоже испытывают какие-то чувства! Даже страсти... Он вернулся к фактам. Чефферри получил от Лэгьюна, находившегося в гипнотическом состоянии, «автограф» на пустом бланке чека.

— Признаться,— объяснил Лэгьюн,— я не уверен даже, подсудное ли это дело. В законах ничего не говорится о гипнозе, а ведь чек-то подписал я сам.

Несмотря на потери, маленький человек был почти доволен одной любопытной, по его мнению, деталью.

— Можете назвать это совпадением,— сказал он,— счастливой случайностью, но я предпочитаю искать другое объяснение. Подумайте только. Общая сумма на моем счете известна только моему банкиру да мне. От меня он выведать ее не мог, ибо я сам ее не помню: я уже давным-давно не заглядывал в свою сберегательную книжку. Он же снял со счета одним чеком все деньги, оставив каких-нибудь семнадцать шиллингов шесть пенсов. А ведь там было больше пятисот фунтов.

И с прежним торжеством заключил:

— Видите, не совпало всего на семнадцать шиллингов шесть пенсов. Как вы это объясните, а? Ну-ка, дайте мне материалистическое истолкование. Не можете? Я тоже не могу.

— Я, наверное, смогу,— сказал Люишем.

— Какое же?

Люишем кивнул на конторку Лэгьюна.

— Не думаете ли вы,— ему стало смешно, но он сдержался,— что он подобрал ключ?

По дороге домой в Клэпхем Люишем все время со смехом вспоминал, какое Лэгьюн сделал при этом лицо. Но потом это перестало казаться ему забавным. Ему вдруг припомнилось, что Чефферри — его тесть, а миссис Чефферри — теща, и что они вместе с Этель составляют его семью, его род, и что этот мрачный, неуклюжий дом на склоне холма в Клэпхеме должен стать его домом. Домом!.. Его связь со всем этим, как связь с целым миром, была теперь такой нерасторжимой, словно

он для этого и был рожден. А еще год назад, если не считать полустершегося воспоминания об Этель, никто из этих людей для него и не существовал. Поистине неисповедимы пути судьбы! События последних нескольких месяцев пронеслись в его памяти молниеносно, как пантомима. Кажется, тут было над чем посмеяться. И Люишем рассмеялся.

Этот смех отмечал новую полосу в его жизни. Прежде Люишем никогда не смеялся над собственными неурядицами. Теперь пришел конец серьезности, с какой смотрит на вещи юность. Он вырос. То был смех безграничного всеприятия.

ГЛАВА XXXI

В ПАРКЕ БАТТЕРСИ

Хотя Люишем и пообещал прекратить дружбу с мисс Хейдингер, в течение ближайших пяти недель он не предпринимал никаких действий, а злополучное письмо ее оставалось без ответа. За это время состоялся — не без двуязычных нареканий — их переезд от мадам Гэдоу в мрачный клэпхемский дом, где молодая пара разместилась, как и предполагалось, в маленькой комнатке на третьем этаже. И здесь весь мир вдруг неузнаваемо, до странности изменился, и причиной этому оказались несколько сказанных шепотом слов.

Слова эти прозвучали среди всхлипываний и слез, когда руки Этель обвивали его шею, а ее распущенные волосы прятали от него ее лицо. И он ответил тоже шепотом, немного, быть может, растерянно, и в то же время испытывая странную гордость, совсем непохожую на то, что он ожидал испытать, когда со страхом прежде думал, что рано или поздно это должно случиться. Внезапно он осознал, что все решено, что разрешен наконец конфликт, который так долго их тяготил. Колебаний как не бывало. Теперь предстояло действовать.

На следующий день он написал записку, а два дня спустя утром ушел на свои репетиторские занятия по математике часом раньше, и вместо того, чтобы пойти прямо к Вигорсу, направился через мост в парк Баттерси. Там около скамьи, где они когда-то встречались, нетерпеливо прохаживалась мисс Хейдингер. Они немного по-

ходили взад и вперед, разговаривая о том о сем, а затем наступило молчание...

— Вы хотите мне что-то сказать? — вдруг спросила мисс Хейдингер.

Люишем чуть побледнел.

— Да,— ответил он.— Дело в том...— Он старался держаться непринужденно.— Я когда-нибудь говорил вам, что женат?

— Женаты?

— Да.

— Вы женаты?!

— Да,— чуть раздраженно повторил он.

Мгновение оба молчали. Люишем довольно малодушно разглядывал георгины, а мисс Хейдингер смотрела на него.

— Это вы и хотели мне сказать?

Мистер Люишем повернулся и встретил ее взгляд.

— Да,— ответил он.— Именно это я и хотел вам сказать.

Молчание.

— Вы не возражаете, если я присяду? — ровным голосом спросила мисс Хейдингер.

— Вон там под деревом есть скамья,— сказал Люишем.

Они молча дошли до скамьи.

— А теперь,— спокойно заговорила мисс Хейдингер,— расскажите мне, на ком вы женаты.

Люишем ответил в общих словах. Она задала ему еще один вопрос, потом другой. Он чувствовал себя ужасно неловко и отвечал запинаясь, но чистосердечно.

— Мне следовало бы догадаться,— сказала она.— Мне следовало бы догадаться. Но я не хотела знать. Расскажите мне еще что-нибудь. Расскажите мне о ней.

Люишем рассказал. Разговор этот был ему страшно неприятен, но уйти от него он не мог: ведь он обещал Этель. Наконец мисс Хейдингер получила полное представление о его судьбе, почти полное, так как в его рассказе отсутствовали эмоции, которые делали его достоверным.

— Вы женились перед вторым экзаменом? — спросила она.

— Да,— ответил Люишем.

— Но почему вы не рассказали мне об этом раньше? — спросила мисс Хейдингер.

— Не знаю,— признался Люишем.— Я хотел... в тот день, в Кенсингтон-гарденс. Но как-то не смог. Наверное, мне следовало рассказать.

— Наверное, следовало.

— Да, по-видимому, следовало... А я не рассказал. Как-то... трудно было... Я не знал, как вы к этому отнесетесь. Ведь все произошло так поспешно.

Не находя слов, он умолк.

— Мне кажется, вы все-таки обязаны были мне сказать,— повторила мисс Хейдингер, рассматривая его профиль.

Люишем приступил ко второй и более сложной части своего объяснения.

— Произошло недоразумение,— сказал он,— собственно, оно было все время... Из-за вас, хочу я сказать. Немного трудно... Дело в том, что... моя жена... знаете ли... Она смотрит на вещи несколько иначе, нежели мы.

— Мы?

— Да. Это, конечно, странно... Но она видела ваши письма...

— Вы ей их показывали?

— Нет. Просто она знает о нашей переписке, знает, что вы пишете мне о социализме, о литературе и... о том, что нас интересует, а ее нет.

— Вы хотите сказать, что такие вещи недоступны ее пониманию?

— Она об этом никогда не задумывалась. Мне кажется, разница в образовании...

— И она возражает?

— Нет,— не задумываясь, солгал Люишем.— Она не возражает.

— Так в чем же дело? — спросила мисс Хейдингер, и ее лицо совсем побелело.

— Она чувствует, что... она чувствует... Она не говорит, конечно, но я вижу, она чувствует, что ей тоже следует в этом принять участие. Я знаю... как она любит меня. И ей стыдно... Это напоминает ей... Разве вы не понимаете, что ей обидно?

— Да, понимаю. Итак, даже это малое...

У мисс Хейдингер, казалось, перехватило дыхание, потому что она вдруг замолчала.

Наконец она с усилием заговорила.

— А что это обидит меня...— начала она, но лицо ее искривила гримаса, и она снова умолкла.

— Нет, не в этом дело.— Люишем был в нерешительности.— Я знал, что это обидит вас.

— Вы ее любите. Вы можете пожертвовать...

— Нет, не в этом дело. Но есть разница. Если ее обидеть, она не поймет. А вы... Мне казалось вполне естественным прийти к вам. Я смотрю на вас, как на... А для нее мне всегда приходится делать снисхождение...

— Вы ее любите.

— Не знаю, в этом ли дело. Все так сложно. Любовь означает все... или ничего. Я знаю вас лучше, чем ее, вы знаете меня лучше, чем она будет когда-либо знать. Я могу рассказать вам то, чего никогда не расскажу ей. Я могу раскрыть перед вами душу... почти... и знаю, что вы поймете... Только...

— Вы ее любите.

— Да,— признался Люишем, дергая себя за ус.— Дело, должно быть, в этом...

Некоторое время оба молчали; затем мисс Хейдингер заговорила с непривычной для нее горячностью:

— О! Подумать только, что это конец всему! А ведь столько надежд... Что дает она вам такого, чего не сумела бы дать я? Даже сейчас! Почему я должна отказаться от того немногого, что принадлежит мне? Если бы она смогла забрать и это... Но она не может. Если я отпущу вас, вы ничего не будете делать. Все наши мечты, все устремления — все зачахнет и погибнет, а ей это безразлично. Она не поймет. Она будет думать, что вы все тот же. Почему она домогается того, чем не в силах владеть? Взять то, что принадлежит мне, и отдать ей для того, чтобы она выбросила?

Она смотрела не на Люишема, а прямо перед собой, и лицо ее было само страдание.

— Я в известном смысле уже привыкла... думать о вас как о чем-то мне принадлежащем... Я и сейчас так думаю.

— В последнее время,— начал Люишем после молчания,— мне раза два приходила в голову одна мысль. Не кажется ли вам, что вы несколько переоцениваете мои способности? Я знаю, мы говорили о великих делах. Но вот уже полгода с лишком я бьюсь, чтобы просто заработать на жизнь, сколько может чуть ли не каждый. На это у меня уходит все время. Тут, пожалуй, задумаешься: может быть, жизнь не такая простая вещь...

— Нет,— решительно возразила она,— вы могли бы совершить великие дела! Даже сейчас,— продолжала она,— вы еще способны сделать многое... Если бы только я могла видеть вас время от времени, писать вам... У вас такие способности и... такой слабый характер. Вам обязательно нужен кто-нибудь... В этом ваша слабость. Вы сами в себя не верите. Вам нужно, чтобы кто-нибудь поддерживал вас и верил в вас, безгранично поддерживал и верил. Почему я не могу дать вам это? Больше мне ничего не нужно. По крайней мере сейчас. Зачем ей знать? Она от этого ничего не теряет. Я ничего не прошу из того, чем владеет она. Но я знаю, что одна, своими силами ничего не добьюсь. Я знаю, что вместе с вами... Ей ведь обидно только оттого, что она знает. А зачем ей знать?

Мистер Люишем в нерешительности посмотрел на нее. Его воображаемое величие вдохновляло ее взгляд. В этот миг по крайней мере и он свято верил в свои возможности. Но он понимал, что его величие и ее восхищение связаны между собой, что они составляют одно нераздельное целое. Зачем вправду Этель знать об этом? Он представил себе все, что может совершить, чего может добиться, но тут же пришла мысль о сложностях, неловкости, об опасности разоблачения.

— Дело в том, что я не имею права усложнять свою жизнь. Я ничего не добьюсь, если буду ее усложнять. Только люди со средствами могут позволить себе сложности. Тут надо выбирать либо одно, либо другое...

Он умолк, внезапно представив себе Этель, как в прошлый раз, со слезами на глазах.

— Нет,— чуть ли не грубо заключил он.— Нет. Я не хочу действовать за ее спиной. Я не говорю, что я теперь такой уж кристально честный. Но я не умею лгать. Она тотчас же все поймет. Она тотчас все поймет, и ни-

чего хорошего из этого не получится. Моя жизнь и так слишком сложна. Я не могу с этим справиться и двигаться дальше. Я... Вы переоцениваете меня. И, кроме того... Есть одно обстоятельство... Одно...— Он запнулся и возвратился к тому, с чего начал.— Нет, я не имею права усложнять свою жизнь. Очень жаль, но это так.

Мисс Хейдингер ничего не ответила. Ее молчание удивило его. Секунд двадцать они сидели молча. Потом она вдруг встала, тотчас вскочил и он. Ее лицо горело, глаза были опущены.

— Прощайте,— чуть не шепотом сказала она и протянула ему руку.

— Но...— начал было Люишем и замолчал. Мисс Хейдингер была бледна, как мел.

— Прощайте,— с кривой улыбкой повторила она, внезапно глянув ему в глаза.— Больше говорить не о чем, не так ли? Прощайте.

Он взял ее руку.

— Надеюсь, я не...

— Прощайте,— нетерпеливо сказала она, выдернула у него руку и пошла прочь. Он шагнул было за ней.

— Мисс Хейдингер,— позвал он ее, но она не остановилась.— Мисс Хейдингер...

Он понял, что она не хочет откликнуться...

Он стоял неподвижно, глядя, как она уходит. Непривычное чувство утраты овладело им, ему захотелось догнать ее, в чем-то убедить...

Она ни разу не обернулась и была уже далеко, когда он пустился ее догонять. Сделав шаг, он пошел все быстрее, быстрее, вот он уже почти нагнал ее, оставалось всего шагов тридцать. Но в это время она подошла к воротам.

Шаги его замедлились. Он вдруг испугался, что она обернется. Она прошла в ворота и скрылась из виду. Он стоял, глядя ей вслед, потом вздохнул и свернул налево, на ту аллею, что вела к мосту и Вигорсу.

На середине моста им вновь овладела нерешительность. Он остановился. Назойливая мысль не исчезала. Он взглянул на часы: надо было спешить, если он хочет успеть на поезд и попасть в Эрлс-Корт к Вигорсу. Пусть Вигорс идет ко всем чертям, сказал он себе.

Но в конце концов он все же успел на поезд.

ГЛАВА XXXII

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

В тот же вечер часов около семи Этель вошла в комнату с корзиной для бумаг, которую она купила ему, и застала его за маленьким туалетным столиком, тем самым, что должен был служить письменным столом. Из окна открывался непривычно широкий для Лондона вид: длинный ряд покатых крыш, спускающихся к вокзалу, просторное голубое небо, уходящее вверх, к уже темнеющему зениту, и вниз, к таинственному туману крыш, щетинившихся дымовыми трубами, сквозь который там и тут проступали то сигнальные огни и клубы пара, то движущаяся цепочка освещенных окон поезда, то еле различимая перспектива улиц. Похвастевшись корзиной, Этель поставила ее у его ног, и в этот момент взгляд ее упал на желтый лист бумаги, который он держал в руках.

— Что это у тебя?

Он протянул ей листок.

— Я нашел его на дне моего желтого ящика. Это еще из Хортли.

Она взяла листок и увидела изложенную в хронологическом порядке жизненную программу. На полях были какие-то пометки, а все даты наскоро переправлены.

— Совсем пожелтел,— заметила Этель.

Люишем подумал, что от этого замечания ей, пожалуй, следовало бы воздержаться. Он смотрел на свою «Программу», и ему почему-то стало грустно. Оба молчали. И вдруг он почувствовал ее руку на своем плече, увидел, что она склоняется над ним.

— Милый,— прошептала она странно изменившимся голосом.

Он понял, что она хочет что-то сказать, но не может подыскать слов.

— Что? — наконец спросил он.

— Ты не огорчаешься?

— Из-за чего?

— Из-за этого.

— Нет!

— Тебе даже... Тебе даже ничуть не жалко? — спросила она.

— Нет, ничуть.

— Я не могу понять. Так много...

— Я рад,— заявил он.— Рад.

— Но заботы... расходы... и твоя работа?

— Именно поэтому,— сказал он,— я и рад.

Она недоверчиво посмотрела на него. Он поднял глаза и прочел сомнение на ее лице. Он обнял ее, и она тотчас же, почти рассеянно повинуясь обнимающей ее руке, наклонилась и поцеловала его.

— Этим все решено,— сказал он, не отпуская ее.— Это соединяет нас. Неужели ты не понимаешь? Раньше... Теперь все по-другому. Это — наше общее. Это... Это — связующее звено, которого нам недоставало. Оно свяжет нас воедино, соединит навсегда. Это будет наша жизнь. Ради чего я буду работать. Все остальное...

Он смело взглянул правде в глаза.

— Все остальное было... тщеславие!

На ее лице еще оставалась тень сомнения, тень печали.

— Милый,— наконец позвала она.

— Что?

Она сдвинула брови.

— Нет! — сказала она.— Я не могу этого сказать.

Опять наступило молчание, во время которого Этель очутилась на коленях у Люишема.

Он поцеловал ее руку, но ее лицо по-прежнему было серьезным. Она смотрела в окно на сгущающиеся сумерки.

— Я глупая, я это знаю,— сказала она.— Я говорю... совсем не то, что чувствую.

Он ждал, что она скажет дальше.

— Нет, не могу,— вздохнула она.

Он чувствовал, что обязан помочь ей. Ему тоже нелегко было найти слова.

— Мне кажется, я понимаю,— сказал он, стараясь ощутить неуловимое.

Снова молчание, долгое, но исполненное смысла. Внезапно она вернулась к жизненной прозе и встала.

— Если я не сойду вниз, маме придется самой накрывать к ужину.

У двери она остановилась и еще раз взглянула на него. Мгновение они смотрели друг на друга. В сумерках

ей был виден лишь смутный его силуэт. Люишем вдруг протянул к ней руки...

Внизу раздались шаги. Этель освободилась из его объятий и выбежала из комнаты. Он услышал, как она крикнула:

— Мама! Я сама накрою к ужину. А ты отдыхай.

Он прислушивался к ее шагам, пока они не стихли за кухонной дверью. Тогда он снова посмотрел на свою «Программу», и на мгновение она показалась ему сущим пустяком.

Он держал ее в руках и разглядывал так, будто она была написана другим человеком. И в самом деле ее писал совсем другой человек.

— «Брошюры либерального направления»,— прочел он и засмеялся.

Мысли унесли его далеко-далеко. Он откинулся на стуле. «Programma» в его руках была теперь просто символом, отправной точкой, и, глубоко задумавшись, он уставился в темнеющее окно. Так он сидел долго, и в голове у него сменялись мысли, которые были почти что чувства, чувства, принявшие форму и весомость идей. И, мелькая, они стали постепенно облекаться в слова.

— Да, это было тщеславие,— сказал он.— Мальчишеское тщеславие. Для меня, во всяком случае. Я слишком двойствен. Двойствен? Просто зауряден! «Мечты, подобные моим, способности, подобные моим». Да у любого человека. И все же... Какие у меня были замыслы!

Он вспомнил о социализме, о своем пламенном желании переделать мир. И подивился тому, сколько новых перспектив открылось ему с тех пор.

— Не для нас... Не для нас. Нам суждено погибнуть в безвестности. В один прекрасный день... Когда-нибудь... Но это не для нас...

— В сущности, все это — ребенок. Будущее — это ребенок. Будущее! И все мы не более как верные слуги или, наоборот, предатели Будущего...

— Есть естественный отбор, и значит... Этот путь — счастье... Так должно быть. Другого нет.

Он вздохнул.

— То есть такого, чтобы хватило на всю жизнь.

— И все же жизнь сыграла со мной злую шутку: так много обещала и так мало дала!

— Нет! Так рассуждать нельзя. Из этого ничего не получится! Ничего не получится!

— Карьера. Это тоже карьера—самая важная карьера на свете. Отец! Что еще мне нужно?

— И... Этель! Нечего удивляться, что она казалась пустой... Она и была пустой. Нечего удивляться, что она была раздражительной. Она не выполняла своего назначения в жизни. Что ей оставалось делать? Она была служанкой, игрушкой...

— Да, вот это и есть жизнь. Только это и есть жизнь. Для этого мы сотворены и рождены. Все остальное — игра...

Игра!

Он снова посмотрел на свою «Программу». Потом обеими руками взялся за верх листка, но остановился в нерешительности. Видение стройной Карьеры, строгой последовательности трудов и успехов, отличий и еще раз отличий вставало за этим символом. Но он сжал губы и медленно разорвал пожелтевший лист на две половинки. Затем сложил обе половинки вместе и снова их разорвал, снова сложил тщательно и аккуратно и снова разорвал, пока «Programma» не превратилась в кучу маленьких клочков. Ему казалось, что он разрывает на куски свое прошлое.

— Игра!— после долгого молчания прошептал он.

— Конец юности,— сказал он,— конец пустым мечтам...

Он не двигался, руки его покоились на столе, глаза смотрели на синий прямоугольник окна. Гаснущий свет собрался в одной точке: вспыхнув, зажглась звезда.

Он заметил, что все еще держит в руках клочки бумаги. Он вытянул руку и бросил их в ту самую новую корзинку, которую купила ему Этель.

Два клочка упали на пол. Он наклонился, подобрал их и осторожно положил вместе с остальными.

1900

Рассказы

ФИЛМЕР

В овладение искусством полета вложили свой труд поистине тысячи людей: этот подал мысль, другие делали опыты, и, наконец, последнее напряженное усилие ума — и работа завершена. Но несправедливое общественное мнение выбирает из тысяч только одного, притом того, кто и не летал ни разу, и чтит его как первооткрывателя; точно так же оно прославило Уатта за открытие энергии пара и Стефенсона за изобретение парового двигателя. И, конечно, среди всех почитаемых имен самую нелепую и трагическую известность получило имя бедняги Филмера — этот робкий кабинетный ученый решил задачу, которая век за веком ставила человечество в тупик и даже пугала; одним нажатием кнопки он изменил наши войны, и наш мир, и вообще едва ли не все условия человеческой жизни и счастья. Это был разительный пример вечно изумляющего нас несоответствия между ничтожным тружеником науки и величием его труда. Многое в Филмере остается и, вероятно, останется неясным и загадочным — филмеры не привлекают внимания босуэлов [1],— но основные события его жизни и ее развязка достаточно известны, а кроме того, имеются письма, записки и случайные упоминания, позволяющие восстановить общую картину. Так, из отрывочных свидетельств и составлена эта повесть о жизни и смерти Филмера.

---

[1] Писатель Джеймс Босуэл (1740—1795) прославился как автор подробнейшей биографии своего современника лексикографа и писателя Сэмюэля Джонсона.

Первые достоверные сведения о Филмере дает документ, в котором он просит разрешить ему как студенту-стипендиату физического факультета работать в государственных лабораториях Южно-Кенсингтонского Лондонского университета; здесь же он называет себя сыном «армейского обувщика из Дувра» (попросту сапожника) и приводит отзывы преподавателей и оценки, полученные на экзаменах, в доказательство своих глубоких познаний в химии и математике. Не заботясь о своем достоинстве, он жалуется на трудности и лишения в надежде получить возможность к дальнейшему углублению этих своих познаний; он пишет, что лаборатория — это «цепь» всех его стремлений вместо «цель», и эта описка лишь придает выразительность его уверениям, что он намерен «приковать все свое внимание» к точным наукам. Надпись на обороте прошения показывает, что желание его было удовлетворено, но до самого последнего времени никакого следа его успешных занятий в государственной лаборатории обнаружить не удалось.

Теперь, однако, установлено, что, несмотря на высказанное им рвение к исследовательской работе, Филмер не выдержал и года таких занятий, соблазнился возможностью поправить свои денежные дела и нанялся к одному знаменитому профессору — за девять пенсов в час производить для него вычисления в обширных исследованиях по физике Солнца, исследованиях, которые еще и сейчас изумляют астрономов. О следующих семи годах жизни Филмера нет никаких сведений, сохранились только переходные свидетельства Лондонского университета, из которых видно, как он неуклонно подвигался к званию бакалавра сразу двух наук — химии и математики. Никто не знает, где и как жил в ту пору Филмер, очень возможно, что он по-прежнему зарабатывал уроками и одновременно продолжал научные занятия, стремясь получить ученое звание. А потом, как ни странно, мы встречаем его имя в переписке поэта Артура Хикса.

«Вы помните Филмера,— писал Хикс своему другу Вансу,— ну так он ничуть не изменился: та же недружелюбная скороговорка, тот же небритый подбородок (и как это люди умудряются всегда ходить с трехдневной щетиной?), и какая-то хитрая повадка, словно он норо-

вит исподтишка тебя обойти и пролезть вперед; даже его пиджак и обтрепанный воротничок нисколько не изменились за прошедшие годы. Он сидел в библиотеке и писал, а я из сострадания подсел к нему; он тут же умышленно оскорбил меня, загородив свою писанину. Можно подумать, будто под рукой у него какое-то блестящее открытие и он подозревает, что я (я, чью книгу издает Бодлеевская библиотека!) способен украсть его идею. В университете он добился необыкновенных успехов — об этом он говорил, торопясь и захлебываясь, словно боялся, что я перебью его, не дослушав, и среди прочего о полученной степени доктора наук упомянул мельком, словно это совершенный пустяк.

Потом он ревниво спросил, чем занимаюсь я, а его рука (поистине ограждающая длань) беспокойно прикрывала бумагу, в которой таилась драгоценная идея — его единственная многообещающая идея.

«Поэзия,— буркнул он,— поэзия. А что вы в ней проповедуете, Хикс?»

Вот как понимает поэзию еще не вылупившийся провинциальный профессор, и я от души благодарю бога, потому что, если бы не драгоценный дар праздности, меня, быть может, тоже ждал бы этот путь — докторская степень и духовное опустошение...»

Этот забавный набросок с натуры, вероятно, рисует Филмера, каким он был накануне своего открытия или очень незадолго до того.

Предсказывая ему провинциальную профессуру, Хикс ошибся. Наша следующая мимолетная встреча с Филмером — лекция «О каучуке и его заменителях», прочитанная им в Обществе поощрения ремесел (он уже был управляющим большой фабрики пластических веществ); тогда же, как мы теперь знаем, Филмер состоял членом Общества воздухоплавателей, хотя и не принимал никакого участия в дискуссиях, очевидно, предпочитая довести до конца свой великий замысел без посторонней помощи. А в последующие два года он поспешно берет несколько патентов и разными не очень солидными способами возвещает миру, что он завершил оригинальные исследования, которые позволяют ему построить летательный аппарат. Первое недвусмысленное сообщение об этом появилось в грошовой вечерней газетенке и исходи-

ло от соседа Филмера по дому. Вся эта спешка после столь долгой, терпеливой и тайной работы была, видимо, вызвана ложной тревогой: известный американский шарлатан от науки, некто Бутл, объявил о каком-то своем открытии, а Филмеру показалось, что тот перехватил его идею.

В чем же, собственно, состояла идея Филмера? В сущности, она была очень проста. До него развитие воздухоплавания шло двумя различными путями: с одной стороны, воздушные шары, большие летательные аппараты легче воздуха, надежные при подъеме и сравнительно безопасные при спуске, но беспомощные при малейшем ветерке; с другой — аппараты тяжелее воздуха, которые летали пока только в теории,— огромные плоские сооружения эти приводились в движение и держались в воздухе с помощью тяжелых моторов и большей частью разбивались при первой же посадке. Но если отбросить последнее обстоятельство, не позволяющее ими пользоваться, эти летательные аппараты имели неоспоримое теоретическое преимущество: благодаря своему весу они могли летать против ветра — необходимое условие, без которого воздухоплавание практически бессмысленно. Главная заслуга Филмера в том, что он нашел способ сочетать в одном аппарате противоположные и, казалось бы, несовместимые качества аэростата и тяжелой летательной машины, причем его аппарат можно было по желанию делать легче или тяжелее воздуха. На эту мысль натолкнули Филмера сжимающиеся пузыри рыб и воздушные полости в костях птиц. Он изобрел устройство, состоящее из сжимающихся и совершенно непроницаемых воздушных баллонов, которые, расширяясь, легко могли поднять летательный аппарат, а затем, сжатые посредством «мускулатуры», которой он их оплел, почти целиком убирались в каркас; все это крепилось на большой раме из жестких полых труб, и если аппарат начинал опускаться, воздух из труб автоматически при помощи остроумного приспособления перекачивался в баллоны и оставался там столько времени, сколько нужно было аэронавту. Этот аппарат в отличие от всех своих предшественников не имел ни крыльев, ни винта; единственным механизмом на нем было небольшое, но мощное устройство, служащее для сжимания баллонов. По замыс-

лу Филмера, если из труб откачать воздух и увеличить тем самым объем воздушных шаров, машина, изобретенная им, могла подняться на значительную высоту, а затем, если сжать шары и перекачать воздух обратно в трубы, сместив при этом центр тяжести, она могла скользить по наклонной плоскости в любом направлении. Снижаясь, машина набирает скорость и в то же время теряет вес, а инерция движения, накопленная в стремительном падении, может быть использована для нового подъема, нужно только опять изменить центр тяжести и, направив машину вверх, увеличить объем шаров. Однако, чтобы осуществить эту идею, которую и поныне используют конструкторы всех удачных летательных аппаратов, требовался огромный труд по разработке деталей, и этому труду Филмер «отдавался самозабвенно и самоотверженно», как он всегда повторял репортерам, осаждавшим его, когда он достиг зенита славы. Особенно пришлось ему повозиться с эластичной оболочкой сжимающихся баллонов. Он убедился, что здесь не обойтись без нового вещества, и вот, чтобы создать это вещество и наладить его производство, Филмеру, как он неоднократно твердил репортерам, «пришлось потрудиться гораздо больше, чем даже над моим основным и, казалось бы, куда более важным изобретением».

Но не следует думать, что Филмер стал знаменит сразу же, как только объявил о своем изобретении. Прошло почти пять лет, а он все еще не решался покинуть свое место на резиновой фабрике — очевидно, это был единственный источник его скромного дохода — и тщетно пытался доказать совершенно равнодушной публике, что он и в самом деле что-то изобрел. Большую часть своего досуга он тратил на сочинение писем в научные журналы и разные газеты, точно излагая конечный результат своих исследований и требуя денежной помощи. Одного этого было бы достаточно, чтобы его письма клали под сукно. Немало свободного времени, когда удавалось его выкроить, провел Филмер в бесплодных беседах со швейцарами крупнейших лондонских редакций: он совершенно не умел завоевать доверие привратников; и он даже пробовал заручиться поддержкой Военного министерства. Сохранилось секретное письмо генерал-майора Залпа графу Аксельбанту. «Изобретатель этот с при-

дурью и вдобавок невежа»,— писал генерал-майор с присущей ему солдатской прямотой и здравомыслием и тем самым позволил японцам добиться военного преимущества в этой области, которое они, к нашему великому беспокойству, сохраняют по сей день.

А потом пленка, изобретенная Филмером для сжимающихся воздушных шаров, оказалась пригодна для вентилей нового нефтяного двигателя, и он получил средства на постройку опытной модели своего аппарата. Он тотчас бросил резиновую фабрику, перестал строчить письма и статьи и втихомолку (похоже, что таинственность сопровождала все его начинания) взялся за работу. Он, видимо, руководил изготовлением отдельных деталей и свозил их постепенно в какое-то помещение в Шордиче, но окончательная сборка была произведена близ Димчерча, в графстве Кент. Модель была невелика и не могла поднять человека, но Филмер очень остроумно использовал для управления полетом то, что в те дни называли лучами Маркони. Первый полет этого первого действительно летающего аппарата состоялся над лугами около Барфорд-Бриджа, неподалеку от Хайта, в графстве Кент, и Филмер управлял своей машиной, сопровождая ее на специально сконструированном трехколесном велосипеде с мотором.

Полет в общей сложности прошел на редкость удачно. Аппарат привезли из Димчерча в Барфорд-Бридж на телеге, и он поднялся на высоту чуть ли не трехсот футов, потом устремился вниз, почти к самому Димчерчу, повернул, опять взмыл вверх, сделал круг и, наконец, благополучно опустился на поле в Барфорд-Бридже, позади постоялого двора. Во время посадки произошел странный случай. Филмер слез с велосипеда, перебрался через канаву, прошел ярдов двадцать по направлению к своему столь удачному детищу — и вдруг нелепо вскинул руки и свалился наземь в глубоком обмороке. Тут только окружающие вспомнили, что во время испытаний он был бледен, как мертвец, и взволнован до крайности,— не упади он в обморок, об этом никто бы и не подумал. Позднее, на постоялом дворе, он без всякой причины вдруг истерически разрыдался.

Свидетелей события насчитывалось не больше двадцати, да и те в большинстве своем были люди тем-

ные. Подъем аппарата наблюдал доктор из Нью-Ромни, но он не видел спуска: его лошадь испугалась электрического моторчика на велосипеде Филмера и сбросила седока на землю. Следили за полетом двое свободных от дежурства кентских полисменов, сидя в тележках; там же оказался торговец бакалейным товаром, объезжавший своих заказчиков, да прокатили две дамы на велосипедах — вот, собственно, и все очевидцы, которых можно назвать людьми образованными. Были здесь также два репортера (один — от фолкстоунской газеты, а другой — столичный репортеришка уж совсем последнего разбора), чьи дорожные расходы оплатил сам Филмер,— он, как всегда, жаждал создать рекламу своему открытию и теперь уже знал, как это делается. Лондонский журналист был из тех, что способны вызвать недоверие даже к самым убедительным фактам, и вот его-то полуиронический отчет об испытаниях и появился на страницах популярной газеты. Однако, к счастью для Филмера, рассказывать этот человек умел куда убедительнее, чем писать. Он явился предлагать «материальчик» в редакцию к Бэнгхерсту, владельцу «Новой газеты», одному из самых талантливых и самых беззастенчивых газетных дельцов Лондона, и Бэнгхерст зевать не стал. Репортер исчезает со сцены, вряд ли даже получив сколько-нибудь приличное вознаграждение, а Бэнгхерст, сам Бэнгхерст, собственной персоной, в сером диагоналевом костюме, со своим двойным подбородком, с брюшком, солидным голосом и внушительными жестами, является в Димчерч, движимый нюхом, отличающим его непревзойденный, длиннейший журналистский нос. Бэнгхерст все понял с первого взгляда: и что означает это изобретение и что оно сулит в будущем.

Едва Бэнгхерст взялся за дело, долгое затворничество Филмера обернулось славой. Изобретатель мгновенно стал сенсацией. Перелистывая подшивки газет за 1907 год, не веришь своим глазам, как быстро и до какого сияния можно было в те дни раздуть сенсацию. Июльские газеты еще ничего не знают о полетах и знать не желают, красноречиво утверждая своим молчанием, что люди не будут, не могут и не должны летать. В августе же полеты и Филмер, полеты и парашюты, воздушная тактика и японское правительство, и снова Филмер и

полеты оттеснили с первых страниц и войну в Юнани и золотые прииски Верхней Гренландии. И потом Бэнгхерст дал десять тысяч фунтов, Бэнгхерст дает еще пять тысяч, Бэнгхерст предоставляет собственные широко известные и превосходные (но до сих пор пустовавшие) лаборатории и несколько акров земли рядом со своей усадьбой на Саррейских холмах «для бурного и напряженного» (в обычном стиле Бэнгхерста) завершения работы по созданию летательного аппарата, практически способного поднять человека. А тем временем каждую неделю в обнесенном стеной саду городского дома Бэнгхерста, в Фулхэме, избранные гости смотрели, как Филмер запускает свою действующую модель. Не считаясь с огромными расходами, но в конечном счете не без выгоды для себя «Новая газета» подарила своим читателям прекрасные фотографии на память о первом таком торжестве.

Здесь нам на помощь снова приходит переписка Артура Хикса с его другом Вансом.

«Я видел Филмера в ореоле славы,— писал Хикс с ноткой зависти, естественной в его положении поэта, вышедшего из моды.— Он гладко причесан и чисто выбрит, одет так, словно собирается прочесть вечернюю лекцию в Королевском обществе: сюртук моднейшего покроя, лакированные ботинки с длинными носами, а в целом престранное сочетание нахохленного гения со струсившим, смущенным неотесанным мужланом, выставленным на всеобщее обозрение. В лице ни кровинки, голова выдвинута вперед, маленькие желтые глазки ревниво поглядывают по сторонам, ловя знаки славы. Костюм его сшит превосходно и все равно сидит на нем, как самая дешевая пара из магазина готового платья. Он все так же невнятно бормочет, но можно догадаться, что речи его полны невероятного самовосхваления. Стоит Бэнгхерсту на минуту отвлечься, Филмер сразу же прячется за чужие спины, и когда он идет по лужайке бэнгхерстовского сада, видно, что он слегка задыхается, походка у него неровная, а белые слабые руки стиснуты в кулаки. Он весь в напряжении, в страшном напряжении. И это величайший изобретатель нашего века, да и не только нашего, Величайший Изобретатель всех времен! Поразительнее всего, что он и сам явно не ожидал ничего подобного, во всяком случае, не такого головокружительного

успеха. Бэнгхерст не отходит от него ни на шаг — бдительный страж своей богатой добычи. Я ручаюсь, он притащит к себе на лужайку всех, кто только понадобится, чтобы довести до конца затею с этой машиной; вчера он заполучил премьер-министра, и, честное слово, сей благосклонный муж при первом же посещении держал себя там почти как равный. Подумать только! Филмер! Наш безвестный неряха Филмер — слава британской науки! Вокруг него толпятся герцогини, звучат чистые, мелодичные голоса прелестных леди. Вы заметили, как любознательны в наши дни знатные дамы? «О мистер Филмер, как вам это удалось?»

Простые люди в необычных условиях теряются и отвечают на вопросы очень невразумительно. Можно себе представить, что он им говорил! «...самозабвенный и самоотверженный труд, сударыня, и, возможно, право, не знаю, но, возможно, и кое-какие способности...»

До сих пор Хикс и фотографическое приложение к «Новой газете» не противоречат друг другу. На одной фотографии машина спускается к реке, а под ней, в просвете между вязами, видна башня Фулхэмской церкви; на другой Филмер сидит у батарей прибора, управляющего полетом, а вокруг толпятся сильные мира сего и прелестные дамы; Бэнгхерст скромно, но с решительным видом расположился на втором плане. Снимок на редкость удачный. Впереди, почти заслоняя Бэнгхерста и пристально и задумчиво глядя на Филмера, стоит леди Мэри Элкингхорн, все еще прекрасная, несмотря на свои тридцать восемь лет и связанные с ее именем сплетни; на этой фотографии она единственная ничуть не позирует, словно бы даже и не замечает фотографа.

Таковы факты, внешняя сторона описываемых событий. Что же касается существа, тут очень многое остается неясным, и можно лишь строить догадки. Что ощущал Филмер в те дни? Какие тягостные предчувствия таились под этим модным, с иголочки сюртуком? Портреты его появлялись во всех газетах, от грошовых листков до солиднейших печатных органов; он был известен миру как «Величайший Изобретатель всех времен». Он изобрел самый настоящий летательный аппарат, и с каждым днем в Саррейских мастерских первый такой аппарат достаточных размеров, чтобы поднять человека, при-

нимал все более законченный вид. И никто в мире не сомневался — ведь это так логично и естественно! — что, когда машина будет готова, именно он, Филмер, ее изобретатель и создатель, с законной гордостью и радостью ступит на борт, поднимется в небо и полетит.

Но теперь-то мы хорошо знаем, что Филмер был органически неспособен испытать эту законную гордость и радость. Тогда это никому не приходило в голову, но дело обстояло именно так. Теперь мы не без оснований догадываемся, что в тот день он передумал о многом, а из его короткой записки врачу с жалобой на упорную бессонницу можем сделать вывод, что и по ночам его мучила та же мысль: пусть в теории полет безопасен, но ему, Филмеру, болтаться в пустоте на высоте тысячи футов над землей будет нестерпимо тошно, неуютно и опасно. Эта догадка осенила его, должно быть, когда его только еще начали называть «Величайшим Изобретателем всех времен», он как бы увидел, что ему предстояло сделать, и ощутил под собой бездонную пропасть. Возможно, когда-нибудь в детстве он случайно посмотрел вниз с большой высоты или уж очень неудачно упал; а быть может, от привычки спать не на том боку его преследовал всем нам знакомый кошмар, когда снится, что куда-то падаешь, и это вселило в него ужас; в силе этого ужаса теперь не приходится сомневаться.

Очевидно, в начале своих исследований Филмер никогда не задумывался над тем, что ему придется лететь самому; пределом его желаний была летающая машина; и вот обстоятельства заставляют его перешагнуть этот предел и совершить головокружительный полет там, в вышине. Он изобретатель — и он изобрел. Но он не рожден летать, и только сейчас до его сознания стало доходить, что именно этого от него ждут. Мысль о полете преследовала его неотступно, однако до самого конца он не подавал виду, все так же работал в прекрасных лабораториях Бэнгхерста, беседовал с репортерами и пребывал в знаменитостях, отлично одевался, вкусно ел, жил в роскошных апартаментах и наслаждался всеми вещественными, осязаемыми благами Славы и Успеха, как может ими наслаждаться только человек, который всю жизнь ждал своего часа и наконец дождался.

Спустя некоторое время еженедельные приемы в Фулхэме прекратились. Однажды модель на секунду вышла из повиновения; или, быть может, Филмера отвлекли комплименты присутствовавшего здесь архиепископа и он не дал нужной команды. Так или иначе, но в ту самую минуту, когда тот договаривал длиннейшую латинскую цитату (какими всегда изъясняются архиепископы в романах), модель внезапно клюнула носом немного круче, чем следовало, и упала на Фулхэм-роуд, в трех шагах от стоявшего на дороге омнибуса. На миг модель замерла — удивительная и словно удивленная,— затем съежилась и разлетелась на куски, случайно убив при этом запряженную в омнибус лошадь.

Архиепископа Филмер не дослушал. Он вскочил и застывшим взглядом смотрел, как его детище устремилось вниз и, уже не подвластное ему, пропало из виду. Его длинные белые пальцы все еще сжимали бесполезный теперь прибор. Архиепископ тоже обратил взор к небесам с неподобающим его сану опасением.

Потом треск, шум и крики, донесшиеся с дороги, вывели Филмера из оцепенения. «Боже мой!» — прошептал он и сел.

Остальные еще пытались разглядеть, куда девалась модель, некоторые кинулись в дом.

Несмотря на этот случай, постройка большого аппарата шла полным ходом. Руководил ею Филмер, как всегда, немного медлительный и очень осторожный, но в душе его росла тревога. Просто удивительно, как он заботился о прочности и надежности аппарата. Малейшее сомнение — и он прекращал все работы, пока сомнительную деталь не заменяли. Уилкинсон, его старший помощник, порой кипел от злости из-за таких проволочек, уверяя: почти все они совершенно ни к чему. Бэнгхерст расхваливал терпение и настойчивость Филмера на страницах «Новой газеты», а в разговорах с женой клял его на чем свет стоит; зато Мак-Эндрю, второй помощник, одобрял благоразумие Филмера. «Мы же не хотим провала, чудак,— говорил Мак-Эндрю всем и каждому.— Очень хорошо, что он осторожен, так и надо».

При всяком удобном случае Филмер опять и опять объяснял Уилкинсону и Мак-Эндрю, как действует каждая часть летательного аппарата и как им управлять, так

что в решающий день они могли бы не хуже, а то и лучше его самого повести машину в небо.

Мне кажется, если бы в то время Филмер сумел разобраться в своих чувствах и раз и навсегда решить для себя вопрос о полете, он легко мог бы избежать столь мучительного испытания. Если бы он отдавал себе в этом ясный отчет, он мог бы предпринять очень многое. Разумеется, нетрудно было бы найти врача, чтобы доказать, что у него слабое сердце или неладно с легкими или желудком, а значит, ему лететь нельзя, но, к моему удивлению, этим путем он не пошел; или, будь у него больше мужества, он мог бы просто объявить, что сам лететь не намерен. Но беда в том, что, хотя страх прочно обосновался в его душе, все это было не так-то просто. Наверное, он все время твердил себе, что в нужную минуту соберется с силами и сумеет исполнить то, чего от него ждут. Он был как больной, который еще не понял, какой тяжкий недуг его поразил, и говорит, что ему немного нездоровится, но скоро полегчает. А пока что он медлил с окончанием постройки и, не опровергая слухов, будто полетит сам, только поддерживал рекламную шумиху. Он даже благосклонно принимал преждевременные похвалы своему мужеству. И, несмотря на свою тайную слабость, несомненно, радовался всем этим хвалам, знакам внимания и окружающей суете и даже упивался ими.

Леди Мэри Элкингхорн еще больше запутала его положение.

Как это у них началось, Хикс не представлял себе. Вероятно, поначалу она была просто «мила» с Филмером, проявила свою обычную бесстрастную пристрастность, и вполне возможно, что, когда он управлял своим чудовищем, парящим высоко в небе, он казался ей человеком необыкновенным,— этого Хикс нипочем не желал за ним признавать. И, должно быть, у них нашлась минута, чтобы остаться наедине, а у Великого изобретателя на минуту достало смелости пробормотать или даже выпалить какие-то слова личного свойства. С чего бы это ни началось, но, несомненно, началось и вскоре стало очень заметно для окружающих, которые привыкли находить в поступках леди Мэри Элкингхорн повод для развлечения. И все очень осложнилось, потому что влюб-

ленность своеобразно подействовала на неискушенную душу Филмера и если не вполне, то в значительной степени укрепила его решимость встретиться с опасностью, и он даже не пробовал уклониться, хотя при других обстоятельствах такие попытки были бы естественны и понятны.

Какие чувства испытывала к Филмеру леди Мэри и что она о нем думала, об этом нам остается только гадать. В тридцать восемь лет можно быть очень мудрой и все же не слишком благоразумной, да и воображение в этом возрасте еще достаточно живо, чтобы создавать себе идеал и совершать невозможное. Филмер предстал перед ней как знаменитость, а это всегда действует; и потом он обладал силой, удивительной силой, по крайней мере в воздухе. Трюки с моделью и впрямь смахивали на колдовство, а женщины неизвестно почему склонны думать, что если уж человек в чем-то силен, значит, он всесилен. И тут уж все неприятные его черты и свойства превращаются в достоинства. Он скромен, он чужд хвастовства, но дайте только случай проявить истинно возвышенные качества, и тогда... о, тогда все узнают ему цену.

Миссис Бэмптон, ныне покойная, сочла нужным сообщить леди Мэри, что Филмер, в общем-то, порядочный неряха.

— Он, безусловно, человек совсем особенный, я таких никогда еще не встречала,— невозмутимо ответила леди Мэри.

И миссис Бэмптон, украдкой метнув быстрый взгляд на это невозмутимое лицо, решила, что ей тут больше делать нечего: говорить с леди Мэри бесполезно. Зато другим она наговорила немало.

И вот незаметно, своим чередом, подошел день, великий день, давно обещанный Бэнгхерстом читающей публике (а значит, всему миру),— день долгожданного полета. Филмер видел зарю этого дня, он ожидал ее еще с глубокой ночи; он видел, как блекли звезды, как серые и жемчужно-розовые тона уступили наконец место голубизне ясного, безоблачного неба. Он смотрел на все это из окна своей спальни в недавно пристроенном крыле бэнгхерстовского дома, выдержанного в стиле Тюдоров. А когда звезды погасли и в свете занимающегося дня

уже можно было различить и узнать предметы, перед его взором все яснее и яснее стали вырисовываться праздничные приготовления по ту сторону буковой рощи, неподалеку от зеленого павильона на опушке парка: три деревянные трибуны для привилегированных зрителей, ограда из свежеструганых досок, сараи и мастерские, разноцветные мачты с потемневшими и обвисшими в утреннем безветрии флагами, которые Бэнгхерст счел нужным вывесить, и посреди всего этого нечто огромное, прикрытое брезентом. Это нечто было для человечества странным и внушающим ужас знамением—началом, которое неминуемо распространится по свету, проникнет во все уголки, преобразит и подчинит себе все дела человеческие; однако Филмер едва ли обо всем этом думал: странный предмет занимал его лишь в той мере, в какой дело касалось его самого. Несколько человек слышали, как он далеко за полночь шагал по комнате,— огромный дом был битком набит гостями, хозяин-издатель отлично усвоил принцип сжатия. А часов в пять, если не раньше, Филмер покинул свою комнату и вышел из спящего дома в парк, уже залитый светом и полный проснувшихся птиц, белок и ланей. Мак-Эндрю, который тоже всегда вставал рано, встретил его около аппарата, и они вместе еще раз его осмотрели.

Вряд ли Филмер в то утро позавтракал, несмотря на все настояния Бэнгхерста. По-видимому, как только гости начали понемногу выходить из своих комнат, он вернулся к себе. Отсюда часов в десять он вышел на аллею, обсаженную кустами, вероятно, потому, что увидел там леди Мэри Элкингхорн. Она прогуливалась взад и вперед, беседуя со своей школьной подругой миссис Брюис-Крейвен, и, хотя Филмер с этой дамой знаком не был, он присоединился к ним и некоторое время ходил рядом. Несмотря на всю светскую находчивость леди Мэри, несколько раз наступало молчание. Все ощущали неловкость, и миссис Брюис-Крейвен не нашлась, как ее сгладить. «Он произвел на меня,— говорила она потом, явно противореча сама себе,— впечатление глубоко несчастного человека, который хочет что-то сказать и ждет, чтобы ему в этом помогли. Но как можно помочь, когда не знаешь, чего ему надо?»

К половине двенадцатого огороженные места для пуб-

лики были переполнены; по узкой дорожке, опоясывающей парк, двигалась вереница экипажей, а гости, ночевавшие в доме, празднично разодетые, по лужайке и аллее направлялись к летательному аппарату. Филмер шел вместе с несказанно довольным, сияющим Бэнгхерстом и сэром Теодором Хиклом, президентом Общества воздухоплавателей. Сразу же за ними шли миссис Бэнгхерст с леди Мэри Элкингхорн, Джорджина Хикл и настоятель церкви. Бэнгхерст пространно и напыщенно разглагольствовал, а когда он на минуту замолкал, лестное для Филмера словечко вставлял Хикл. А Филмер шагал между ними и молчал, односложно отвечая лишь на вопросы, прямо обращенные к нему. Позади них миссис Бэнгхерст слушала складные и разумные речи священника с тем трепетным вниманием к высшему духовенству, от которого ее не излечили даже десять лет власти и преуспеяния в обществе, а леди Мэри, должно быть, без тени сомнения в душе созерцала поникшие плечи своего «совсем особенного» человека, которому предстояло поразить весь мир.

Как только эту главную группу заметила расположившаяся за оградой публика, раздались приветствия, но не слишком дружные и не очень вдохновляющие. До аппарата оставалось ярдов пятьдесят, как вдруг Филмер поспешно оглянулся, проверил, близко ли дамы, и впервые решился заговорить сам. Чуть охрипшим голосом он на полуслове перебил рассуждения Бэнгхерста о прогрессе.

— Послушайте, Бэнгхерст...— начал он и умолк.

— Да? — отозвался тот.

— Я хочу...— Филмер облизал пересохшие губы.— Мне нездоровится.

Бэнгхерст стал как вкопанный.

— Что?! — воскликнул он.

— Голова кружится.— Филмер шагнул вперед, но Бэнгхерст не пошевельнулся.— Сам не знаю. Возможно, это сейчас пройдет. Если нет... может быть, Мак-Эндрю...

— Так вам нездоровится?! — повторил Бэнгхерст, уставясь в его побледневшее лицо.— Дорогая! — сказал он, когда миссис Бэнгхерст подошла к ним.— Филмер говорит, что ему нездоровится.

— Голова немного кружится,— объяснил Филмер, избегая взгляда леди Мэри.— Возможно, пройдет...

Наступило молчание.

Филмеру вдруг подумалось, что сейчас он самый одинокий человек на свете.

— Так или иначе полет должен состояться,— сказал наконец Бэнгхерст.— Может быть, вам где-нибудь посидеть минутку, передохнуть...

— Это, наверно, оттого, что столько народу...— произнес Филмер.

И опять молчание. Бэнгхерст испытующе посмотрел на Филмера, потом окинул взглядом публику за оградой.

— Да, неудачно,— сказал сэр Теодор Хикл.— Но все же... я полагаю... ваши помощники... Разумеется, если вы плохо себя чувствуете и не склонны...

— По-моему, мистер Филмер и мысли такой не допускает,— сказала леди Мэри.

— Однако если мистер Филмер утратил уверенность... Ему, пожалуй, опасно даже пытаться...— И Хикл покашлял.

— Именно потому, что опасно.— Леди Мэри не договорила, уверенная, что теперь мнение Филмера и ее собственное всем вполне ясно.

В душе Филмера шла борьба.

— Я знаю, мне надо лететь,— сказал он, уставясь в землю. Потом поднял глаза и встретил взгляд леди Мэри.— Да, я хочу лететь,— прибавил он и слабо улыбнулся ей. И повернулся к Бэнгхерсту.— Если бы мне просто немного посидеть где-нибудь в тени подальше от этой толпы...

Бэнгхерст начал понимать, что происходит.

— Пойдемте в мою комнатку в зеленом павильоне. Там прохладно.— Он взял Филмера под руку.

Филмер еще раз обернулся к леди Мэри Элкингхорн.

— Через пять минут все пройдет. Мне ужасно жаль...

Она улыбнулась ему.

— Я ничего такого не ждал...— сказал он Хиклу и пошел, увлекаемый Бэнгхерстом.

Оставшиеся смотрели им вслед.

— Он такой хрупкий,— промолвила леди Мэри.

— Он, безусловно, человек весьма нервный,— сказал настоятель, чьей слабостью было считать всех на свете,

кроме многосемейных служителей церкви, «неврастениками».

— Но, право,— сказал Хикл,— совершенно не обязательно ему самому подниматься в воздух только из-за того, что он изобрел...

— Как же он может не подняться? — спросила леди Мэри с чуть заметной насмешкой.

— Если он теперь заболеет, это будет весьма некстати,— строго сказала миссис Бэнгхерст.

— Не заболеет,— ответила леди Мэри, вспомнив взгляд Филмера.

— Все будет в порядке,— сказал Бэнгхерст Филмеру по дороге к павильону.— Просто вам надо глотнуть коньяку. Понимаете, лететь вы должны сами. Даже обидно было бы... Не можете же вы позволить кому-то другому...

— Да нет, я сам хочу лететь,— сказал Филмер.— Я возьму себя в руки. В сущности, я и сейчас почти готов... нет! Сперва я все-таки глотну коньяку.

Бэнгхерст ввел его в небольшую комнатку, взял пустой графин и вышел за коньяком. Его не было, вероятно, минут пять.

Историю этих пяти минут написать невозможно. Люди на восточной стороне трибун временами видели в окне лицо Филмера, оно прижималось к стеклу, потом отодвигалось и пропадало. Бэнгхерст, что-то крикнув, исчез за главной трибуной, и сейчас же оттуда показался дворецкий с подносом и направился к павильону.

Комнатка в павильоне, где Филмер принял свое последнее решение, была уютная, с очень простой зеленой мебелью и старинной конторкой — Бэнгхерст в личной жизни был неприхотлив. На стенах висели небольшие гравюры с картин Морланда, была там и полка с книгами. А кроме того, Бэнгхерст случайно забыл здесь свое мелкокалиберное ружье, из которого иногда, забавы ради, стрелял грачей; оно лежало на конторке, а на углу каминной полки стояла коробка и в ней несколько патронов. Шагая взад и вперед по комнате и стараясь найти выход из мучительного положения, Филмер подошел сначала к изящному маленькому ружьецу, лежавшему на бюваре, а потом к коробочке с четкой надписью на красной этикетке: «Калибр 22. Дальнобойные».

Должно быть, его сразу осенило.

Как выяснилось, никто не подумал о Филмере, когда раздался выстрел, хотя в маленькой комнатке он должен был прозвучать очень громко, а рядом, за тонкой перегородкой, в бильярдной, находилось несколько человек. Однако дворецкий, по его словам, открыв дверь и почувствовав едкий запах пороха, мигом понял, что произошло. Ибо кто-кто, а прислуга в усадьбе Бэнгхерста уже и раньше догадывалась о том, что творилось на душе у Филмера.

Весь этот тяжелый день Бэнгхерст вел себя, как, по его мнению, подобало человеку, сраженному непоправимым несчастьем, и гости, хоть, право, это было нелегко, старались сделать вид, будто не поняли, как ловко его надул покойный. Публику, рассказал мне Хикс, словно ветром сдуло; и в поезде на Лондон не было, кажется, пассажира, который не знал бы заранее, что летать человеку никак невозможно. «А все же,— говорили многие,— раз уж дело зашло так далеко, он мог бы и попробовать».

Вечером, когда почти все уже разъехались, Бэнгхерст не выдержал и дал волю своему отчаянию. Мне говорили, что он плакал (должно быть, внушительное зрелище!), и, конечно, он сказал, что Филмер загубил его жизнь, а затем предложил и продал весь аппарат Мак-Эндрю за полкроны. «Я-то думал...» — начал было Мак-Эндрю после завершения сделки и умолк.

Назавтра имя Филмера в «Новой газете» впервые упоминалось реже, чем в любой другой ежедневной газете мира. Прочие организаторы общественного мнения в более или менее сильных выражениях, смотря по их достоинству и степени соперничества с «Новой газетой», объявляли о «безнадежном провале нового летательного аппарата» и о «самоубийстве шарлатана». Но жителей Северного Саррея эти известия не так уж поразили, их в это время занимали необыкновенные явления в небесах.

Накануне вечером Уилкинсон и Мак-Эндрю яростно заспорили об истинных причинах опрометчивого поступка их шефа.

— Бедняга, конечно, был трусоват, но что до познаний, тут уж его шарлатаном не назовешь,— говорил Мак-Эндрю.— И я готов доказать это на деле, мистер Уилкин-

сон, как только зеваки разъедутся и оставят нас в покое. Не по душе мне рекламная шумиха во время пробных полетов.

И вот, пока весь мир читал в газетах о бесспорном провале нового летательного аппарата, Мак-Эндрю парил в воздухе, скользил вниз, к земле, и опять уверенно взлетал в небо над Эксомом и Уимблдоном; а Бэнгхерст — он вновь обрел надежду и энергию,— вооруженный, помимо всего прочего, кинокамерой (которая, как обнаружилось впоследствии, не работала), не считаясь с правилами общественной безопасности и с местными властями, носился за Мак-Эндрю на автомобиле в одной пижаме (он заметил взлетающий аппарат из окна своей спальни, когда поднимал шторы) и пытался привлечь его внимание.

А в зеленом павильоне на бильярдном столе лежало завернутое в простыню тело Филмера.

1903.

ДЖИММИ — ПУЧЕГЛАЗЫЙ БОГ

— Не каждому доводилось быть богом,— сказал загорелый мужчина.— А вот мне пришлось. Со мной всяко бывало.

Я заметил, что говорит он со мной явно свысока.

— Кажется, куда уж больше, верно? — сказал он. И продолжал: — Я из тех, кто уцелел, когда пошел ко дну «Морской разведчик». Фу ты, пропасть! Как летит время! Двадцать лет прошло. Вы, верно, и не помните, что это за «Морской разведчик».

Название как будто знакомое. Я стал припоминать, где и когда я его слышал. «Морской разведчик»?

— Что-то такое с золотым песком...— начал я неуверенно.— А что именно...

— Вот-вот,— подхватил он.— Дело было в одном паршивом проливчике... Зашел он туда случайно, укрыться от пиратов. Это было еще до того, как с ними покончили. А в тех местах были вулканы какие-то, и всюду, где не надо, торчали скалы. Неподалеку от Суны много таких мест, там только гляди да поглядывай, не то враз налетишь на риф. Ну, мы и ахнуть не успели, как посудина ушла под воду, глубина — двадцать сажен, а на борту золота на пятьдесят тысяч фунтов, и песка и в слитках.

— Спасся кто-нибудь?

— Трое.

— Да, да, припоминаю,— сказал я.— Там еще велись потом спасательные работы...

Едва я произнес эти слова, загорелый разразился такой ужасной бранью, что меня взяла оторопь. Он

перешел на более обычные ругательства и вдруг замолчал.

— Прошу прощения,— сказал он,— но... как услышу про спасательные работы...

Он наклонился ко мне.

— Я ведь тоже в это ввязался. Хотел заделаться богачом, а заделался богом. Как вспомню, душа горит...

Это, знаете, не сахар — быть богом, — опять начал он и потом высказал еще несколько столь же категорических афоризмов, которые, однако, ничего не объясняли. Наконец он вернулся к своему рассказу.

— Нас было трое: я, один матрос по имени Джекобс и Олвейз — помощник капитана с «Морского разведчика». Он-то и заварил кашу. Помню, мы плыли в шлюпке, и он подбросил нам эту мыслишку, всего-то два словечка сказал. Он был мастак по части всяких таких затей. «На этой посудине,—говорит,—осталось сорок тысяч фунтов, и уж кто-кто, а я-то точно знаю место, где она лежит». Ну, дальше уж не требовалось большого ума, чтобы смекнуть, что к чему. Он и заправлял всем с начала и до конца. Втянул в это дело братьев Сандерсов — у них была своя шхуна «Гордость Бении»— и еще купил водолазный костюм — подержанный, с аппаратом для сжатого воздуха, так что не надо было нагнетать воздух помпой. Он бы и нырял сам, да не переносил глубины. А настоящие спасатели мотались где-то у Старр Рейса, за сто двадцать миль оттуда, и пресерьезно сверялись по карте, которую он самолично для них состряпал.

И весело же нам было на этой шхуне, скажу я вам! Все плавание мы балагурили, выпивали и тешили себя самыми радужными надеждами. Дело казалось нам ясным и простым, это был, как говорят тертые парни, «верняк». Мы все рассуждали, как там успехи у тех блаженных дураков, у настоящих спасателей — вышли-то они на два дня раньше нас,— и хохотали до упаду. Обедали мы все вместе в каюте Сандерсов; занятная получилась команда: все капитаны и ни одного матроса,— и тут же торчал водолазный скафандр, дожидался своего часа. Младший Сандерс был парень смешливый, а это чучело и вправду потешное: огромная круглая башка, выпученные глазища. Сандерс и устроил из него забаву. Назвал его «Джимми Пучеглазый» и разговаривал с ним, как с че-

ловеком. Спрашивал, не женат ли он и как поживает миссис Пучеглазая и маленькие Пучеглазики. Прямо живот надорвешь. И каждый божий день все мы пили за здоровье Джимми, отвинчивали один глаз и вливали ему в нутро стаканчик рому, так что под конец от него уже не резиной воняло, а несло, как из винной бочки. Веселое было времечко, скажу я вам, мы и не чуяли, бедолаги, что нас ждет.

Сами понимаете, мы вовсе не собирались пороть горячку и рисковать понапрасну. Целый день мы осторожно, прощупывая дно, пробирались к «Морскому разведчику» — он затонул как раз между двух вязких серых гребней, это были языки лавы, и они круто подымались со дна, чуть что из воды не торчали. Пришлось остановиться за полмили, чтобы бросить якорь в безопасном месте, и тут мы разругались: кому остаться на борту? А та посудина как пошла ко дну, так на том же месте и лежала, даже видно было верхушку одной мачты. Спорили мы, спорили и всей оравой полезли в лодку. И я, надев водолазный костюм, ушел под воду. Было это в пятницу утром, едва только начинало светать.

Вот это было чудо! И сейчас вижу эту картину. Заря чуть занялась, и все кругом выглядело как-то чудно. Кто не был в тропиках, думает, там все сплошь ровный берег, да пальмы, да прибой. Как бы не так! В том местечке, к примеру, ничего похожего не было. Мы-то привыкли: скалы — так уж скалы, и волна о них бьется. А тут тянутся под водой этакие изогнутые серые насыпи, будто отвалы железного шлака, а понизу зеленая плесень; кое-где по хребту машут ветками колючие кусты: вода гладкая, стекло стеклом, и отсвечивает тускло, как свинец, а в ней застыли огромные водоросли, бурые, даже красные, и между ними ползает и шныряет разная живая тварь. А дальше, за этими отвалами, за рвами и котловинами,— гора, и по склонам лес вырос после пожаров и камнепадов последнего извержения. И на другой стороне тоже лес, а над ним торчат, будто развалины, будто — как бишь его? — *амбатеатр* из черных и рыжих угольев, из лавы этой самой, и посередке, точно в бухте, плещется море.

Так вот, значит, рассвет едва начинался, и все кругом казалось еще серым, белесым, и, кроме нас, в про-

ливе не видать ни души. Только за грядой скал, ближе к открытому морю, стояла на якоре «Гордость Бении».

Ни души,— повторил он и продолжал не сразу: — Даже не представляю, откуда они взялись. А мы-то были уверены, что кругом никого нет, и Сандерс-младший, бедняга, распевал во все горло. Я влез в шкуру Джимми Пучеглазого, только шлем еще не надел. «Одерживай,— предупредил Олвейз.— Вот она, мачта». Глянул я одним глазком через планшир и схватился за шлем, а тут Сандерс-старший круто развернул лодку, и я чуть не вывалился за борт. Завинтили мне гляделки в шлеме, все в порядке, я закрыл клапан в поясе, чтобы воздух не поступал и легче было погружаться, и прыгнул в воду ногами вперед: лестницы-то у нас не было. Лодка закачалась, все, не отрываясь, смотрели мне вслед, а меня с головой укрыла темнота и водоросли вокруг мачты. Наверное, даже самый осторожный человек на свете не стал бы в таком месте никого опасаться. Уж очень пустынно и глухо там было.

Конечно, и то возьмите в расчет—ныряльщик я никакой. И никто из нас водолазом не был. Сколько пришлось повозиться, пока мы освоились с этим балахоном, а погружался я в первый раз. Ощущение премерзкое. Уши заложило — беда! Знаете, бывает: зевнешь или чихнешь — и отдает в ухо,— так вот, оно похоже, только в десять раз хуже. Башка трещит, вот тут, во лбу, прямо раскалывается и тяжелая, будто от сильной простуды. Дышать трудно. И под ложечкой сосет, идешь вниз, а чувство такое, словно наоборот, вверх тебя подымает, и конца этому нет. И не можешь задрать голову и посмотреть, что там, над тобой, и что делается с ногами — тоже не видать. И чем глубже, тем становится темнее, да еще на дне черный ил и пепел. Будто пятишься из утра обратно в ночь.

Из тьмы, точно привидение, показалась мачта, потом стаи рыб, потом заколыхался целый лес красных водорослей; бац! — я глухо стукнулся о палубу «Морского разведчика», и от меня, словно летом рой мух с помойки, метнулись рыбешки, кормившиеся мертвецами. Я отвернул кран, пустил сжатый воздух, потому что в скафандре стало душновато и все еще, несмотря на ром, пахло ре-

зиной, и стою, прихожу в себя. Здесь, внизу, было прохладно, и это помогло мне отдышаться.

Полегчало мне, начал я осматриваться. Удивительное это было зрелище. Даже свет необыкновенный — будто сумерки, и отдает красным, это из-за водорослей, они так и вьются лентами по обе стороны корабля. А высоко над головой свет зеленовато-синий, точно в лунную ночь. Палуба целехонька, пустая и гладкая, только выломаны две мачты да есть небольшой крен на правый борт; а нос и корма теряются во тьме кромешной. И не видать ни одного мертвеца, я подумал: верно, они лежат за бортом в водорослях; но после нашел скелеты двух человек в пассажирских каютах, там, где их настигла смерть. Как-то не по себе мне было, стою на палубе и понемногу все узнаю: вот местечко у поручней, тут я любил покурить в ясную ночь, а вон в том уголке один малый из Сиднея частенько любезничал со вдовушкой-пассажиркой. Оба они были не худенькие, а теперь — месяца не прошло — на них даже детенышу краба нечем поживиться...

Я всегда любил пофилософствовать, вот и потратил добрые пять минут на эти размышления, а уж потом отправился вниз, где хранилось это треклятое золото. Поиски оказались делом нескорым, двигался я больше ощупью, тьма — хоть глаз выколи, только из люка чуть сочился тусклый синий свет. Вокруг шныряли какие-то твари, одна легонько ткнулась в стекло очков, другая цапнула меня за ногу. Крабы, наверное... Я поддел ногой кучу какого-то непонятного хлама, нагнулся и поднял что-то такое все в шишках и шипах. Что бы вы думали? Позвоночник. Я, правда, не из брезгливых... Мы заранее до тонкости все обсудили, к тому же Олвейз точно знал, где стоял сундук. Я нашел его с первого раза. Мне удалось приподнять его за один угол на дюйм, не больше.

Он внезапно оборвал рассказ.

— Я держал его в руках, понимаете? — сказал он.— Золото! На сорок тысяч фунтов чистого золота! Я заорал «ура» или вроде того и чуть не оглох в своем шлеме. Мне уже не хватало воздуха, да и устал я — пробыл под водой уже минут двадцать пять — и решил, что с меня довольно. Отправился наверх через тот же люк и только высунул голову над палубой, вижу, страшенный крабище,

как бешеный, прыгнул в сторону и мигом исчез за бортом. Я не на шутку струхнул. Вылез на палубу, закрыл клапан сзади на шлеме, чтобы скопился воздух и вынес меня наверх. И замечаю: что-то шлепает над головой, будто лупят веслом по воде,—но вверх не поглядел. Думал, наши мне сигналят, что пора подниматься.

И тут мимо меня промелькнуло что-то тяжелое, воткнулось в деревянную обшивку и дрожит. Я глянул, а это длинный нож — я не раз видал его в руках Сандерса-младшего. Уронил, думаю, дурак, чуть меня не проткнул, ругаю его на все корки и начинаю подниматься к свету. Я был уже почти у верхушки мачты, как вдруг — бац! Что-то на меня свалилось, и чей-то башмак стукнул меня спереди по шлему. Потом навалилось что-то еще, оно отчаянно билось. Чувствую: увесистая штука, давит на голову, и вертится, и крутится. Если бы не башмак, я бы подумал, что это громадный осьминог или вроде того. Но осьминоги башмаков не носят. Все это случилось в одну минуту. Я почувствовал, что опять иду ко дну, растопырил руки, чтоб удержаться, но тут вся эта тяжесть соскользнула с меня и ухнула вниз, а меня подняло вверх...

Он помолчал.

— Я увидал голое черное плечо, а за ним лицо Сандерса-младшего, шею ему насквозь проткнуло копье, а изо рта и из раны будто розовый дым клубился в воде. Так они и ушли вниз, вцепившись друг в друга и кувыркаясь, они уже не в силах были выпустить друг друга. Еще миг — и я хлопнулся шлемом о днище негритянского каноэ, чуть голову не расшиб. Негры! Целых два каноэ.

Жутко мне стало. Через борт перевалился Олвейз — в нем торчали сразу три копья. Вокруг меня в воде бултыхались ноги нескольких чернокожих. Всего я разглядеть не мог, но сразу понял, что игра кончена, отвернул до отказа клапан и опять пошел на дно вслед за беднягой Олвейзом, только пузыри надо мной взвились. Сами понимаете, до чего я был поражен и напуган. Я пролетел мимо Сандерса-младшего и того негра — они опять поднимались вверх и еще трепыхались из последних сил, миг — и я опять стою впотьмах на палубе «Морского разведчика».

Фу ты, пропасть, думаю, попал я в переделку! Негры? Сперва решил, так и так мне крышка — в воде задохнусь, а вынырну — копьем проткнут. Я не знал в точности, насколько у меня хватит воздуха, да и не очень-то хотелось отсиживаться под водой. Жарко мне было и мутило ужасно, да и струсил я до чертиков. Мы совсем забыли про туземцев, про этих грязных папуасов, будь они прокляты! Всплывать здесь нет никакого смысла, но что-то делать нужно. Недолго думая, я перебрался через борт, спрыгнул прямо в водоросли и, как мог быстро, зашагал прочь в темноте. Только один раз остановился, стал на колени, задрал голову — чуть в шлеме шею не свернул — и посмотрел вверх. Вижу, все пронзительно яркое, зелено-голубое, и качаются два каноэ, а между ними наша лодка, все очень маленькие, издали будто две черточки, а посередке перекладина. У меня засосало под ложечкой, и еще я подумал, отчего это они так раскачиваются и зарываются носом...

Это были, пожалуй, самые скверные десять минут в моей жизни — бреду в темноте, спотыкаюсь, грудь сдавило так, что ребра трещат, словно тебя заживо в землю закопали, и мутит от страха и дышать уже нечем, только воняет ромом и резиной. Фу ты, пропасть! Немного погодя я почувствовал, что дно под ногами вроде как пошло покруче вверх. Скосил глаза, еще раз посмотрел, не видать ли каноэ и лодку, и иду дальше. Вот уже над головой воды на фут, не больше; попытался я разглядеть, куда иду, но, понятно, ничего не увидел, только отражение дна. Рванулся я вперед и будто пробил головой зеркало. Глаза очутились над водой, вижу: впереди отмель, берег, а чуть отступя лес. Осмотрелся — ни туземцев, ни нашей шхуны не видать, их заслонила груда застывшей вздыбленной лавы. По дурости своей я вздумал бежать в лес. Шлем не снял, только отвернул одно стекло, жадно глотнул воздух, немного отдышался и зашагал на берег. До чего же воздух показался мне чистым и вкусным — сказать невозможно!

Конечно, если подметки у тебя свинцовые, в четыре дюйма толщиной, а голова всунута в медный шар величиной с футбольный мяч и вдобавок ты пробыл тридцать пять минут под водой, чемпионом по бегу не станешь. Я бежал, а выходило, что едва тащился, словно пахарь

за плугом. Полпути не прошел и вдруг увидал десятка полтора чернокожих — вышли из лесу, будто нарочно меня встречать, и рты разинули от изумления.

Стал я как вкопанный и обругал себя последним дураком. Удрать обратно в воду у меня было столько же надежды, как у перевернутой черепахи. Я только завернул опять стекло очков, чтоб руки были свободны, и жду. Что мне еще оставалось?

Однако они не больно спешили, и я смекнул, в чем дело. «Джимми Пучеглазый,— говорю,— красавчик мой, это они на тебя загляделись». От пережитых опасностей и от резкой перемены этого окаянного давления я, видно, был малость не в себе. «Чего уставились? — говорю, словно дикари могли меня слышать.— Кто я такой, по-вашему? Ну-ну, глазейте, то ли еще будет!» Завернул выводной клапан и давай травить сжатый воздух из пояса — раздулся весь, как хвастливая лягушка. Это их совсем ошарашило. Вот провалиться, ни шагу больше не ступили, а потом один за другим хлоп на четвереньки. Они никак не могли взять в толк, что это перед ними за чудище, и оказали мне самый любезный прием, очень это было разумно с их стороны! Я подумал было потихоньку отступить к воде и удрать, но нет, пустая затея. Сделай я шаг назад — и они на меня набросятся. С отчаяния я двинулся к ним по отмели этакой мерной тяжелой поступью — иду и важно размахиваю толстыми ручищами. А у самого душа в пятках.

Но в трудную минуту что лучше всего выручает — это когда у тебя вид почудней. Я это и раньше знал и потом приходилось убеждаться. Нам-то с малолетства известно, что за штука водолазный костюм, нам и не понять, каково темному дикарю такое увидеть. Одни сразу дали тягу, другие скорей принялись биться оземь головой. А я все шагаю — важно, не торопясь, вид у меня дурацкий и хитрый, точь-в-точь водопроводчик, которому ненароком работы привалило. Ясное дело, они приняли меня за какое-то сверхъестественное существо.

Потом один вскочил и тычет в меня пальцем, а сам как-то весь вихляется, а остальные таращат глаза то на меня, то на море. «Что-то там стряслось»,— думаю. Повернулся — медленно, важно, чтоб достоинство свое не уронить, вижу: огибает мыс пара каноэ и тащит на бук-

сире нашу бедную старушку «Гордость Бении». Тут я вконец расстроился. Но они, видно, ждали одобрения, и я неопределенно помахал руками. Потом повернулся и опять гордо зашагал к лесу. Помнится, я все твердил, как помешанный: «Господи, пронеси и помилуй! Господи, пронеси и помилуй!» Только круглый дурак, который сроду не нюхал опасности, позволит себе смеяться над молитвой.

Но эти черномазые вовсе не собирались меня отпускать. Они затеяли какие-то танцы с поклонами и понемногу оттеснили меня на тропу между деревьев. Уж не знаю, за кого там они меня принимали, только ясно, что не за британского подданного, а я на сей раз вовсе не спешил объявлять им свое подданство.

Если вы незнакомы с обычаями дикарей, может, вы и не поверите, но эти заблудшие темные души прямиком отвели меня к своему, что ли, капищу и представили старому черному камню. К тому времени я уже стал понимать, до чего они темные, и едва только увидал это божество, сразу смекнул, как себя вести. Я завыл басом «уау-уау», и выл очень долго, и все размахивал руками, а потом этак медленно, торжественно повалил идола набок и уселся на него. Мне до смерти хотелось посидеть, водолазный костюм для прогулок в тропиках — одежда не очень-то подходящая. Ну, а их это совсем доконало, я видел, у них прямо дух захватило, когда я уселся на их идола, но через минуту они очухались и принялись во всю мочь мне кланяться.

Вижу я, все оборачивается хорошо, и мне малость полегчало, хоть плечи и ноги совсем разломило от тяжести.

Одно меня точило: вот вернутся те дикари, что были в каноэ, как-то они на все это посмотрят? Вдруг они видели меня в лодке, пока я не нырнул, да еще без шлема? Может, они с ночи следили за нами из засады. Тогда они будут обо мне другого мнения, чем эти. Мне показалось, я много часов маялся, ничего хорошего не ожидая. Наконец поднялась суматоха, и я понял, что они прибыли.

Но они тоже в меня поверили — вся их проклятая деревня поверила. Видно, я их взял тем, что битых двенадцать часов кряду, не меньше, просидел с грозным ви-

дом, не шевелясь, точно истукан, не хуже, чем эти, знаете, египетские идолы. Попробовали бы вы, каково это да в такой жаре и вонище! Я думаю, никому из них и не снилось, что внутри сидит человек. Они решили, что просто большой кожаный идол вылез из моря и принес им счастье. Но до чего меня замучила усталость! И жара! И духотища проклятая! До чего воняло резиной и ромом! Да еще они тут суетятся! Передо мной лежала плоская плита — обломок лавы, дикари развели на ней смрадный костер и то и дело кидали в него кровавые куски мяса; сами они, скоты, пировали в сторонке, а что похуже — сжигали в мою честь. Я уже малость проголодался, но теперь-то я понимаю, как боги ухитряются обходиться без еды: вокруг них всегда воняет горелым. Дикари приволокли со шхуны много всякой всячины, и среди прочего я увидел насос для нагнетания сжатого воздуха,— тут на душе у меня стало чуточку полегче; потом набежали парни и девушки, целая орава, и завели вокруг меня бесстыжие пляски. Удивительное дело, каждый народ оказывает уважение на свой манер. Будь у меня под рукой хороший нож, я бы многих отправил на тот свет, уж очень они меня взбесили. А я все сидел этак чинно, как в гостях, ничего лучше придумать не мог. Потом настала ночь, и в оплетенном прутьями капище стало, на их вкус, слишком темно (дикари, знаете, боятся темноты), и я начал этак сердито мычать; тогда они разложили снаружи большие костры и оставили меня одного в темной хижине; наконец-то я мог без помехи отвернуть стекла очков и собраться с мыслями, и не надо было ни от кого скрывать, как мне худо. Бог ты мой! До чего мне было тошно!

Я ослаб и хотел есть, а мысли вертелись и вертелись, точно жук на булавке,— суеты много, а толку чуть. Никак с места не сдвинешься, все одно и то же. Жалел я товарищей — они, конечно, были ужасные пьяницы, но такой участи не заслужили; молодой Сандерс с копьем в глотке так и стоял у меня перед глазами. И еще я думал о сокровищах, что остались на «Морском разведчике»,— как бы их достать и куда бы запрятать понадежнее, а потом уехать и снова вернуться за ними. И еще задача: где бы раздобыть чего-нибудь поесть? Прямо голова кругом шла. Попросить знаками, чтобы меня накормили,

я боялся: будет слишком по-человечьи — и просидел голодный почти до самого рассвета. К этому времени деревня затихла, и я, не в силах больше терпеть, вышел из капища и разыскал в миске какую-то дрянь вроде артишоков и немного кислого молока. Остатки я сунул среди других жертвоприношений, чтобы намекнуть им, какая еда мне по вкусу. А наутро они пришли поклониться мне, а я сижу, неподвижный и величественный, на их прежнем боге, в точности как сидел вечером. Прислонился спиной к столбу посреди хижины и заснул. Вот так я и стал у язычников богом, конечно, по-настоящему это не бог, а одно богохульство, да ведь не всегда можно выбирать.

Хвастать не хочу, однако должен признаться: пока я был у этих дикарей богом, им необыкновенно везло. Особенных заслуг себе приписывать не стану, но удачу я им принес. Они воевали с другим племенем и победили, и я получил уйму приношений, от которых мне не было никакого толку; и рыба так и шла к ним в сети, и сорго на полях уродилось на диво. Они считали, что и шхуну захватили по моей милости. Недурно для начинающего бога, скажу я вам. И верьте не верьте, но я пробыл богом у этого дикого племени без малого четыре месяца.

Ну, а что мне оставалось делать? Но водолазный костюм я все-таки иногда снимал. Я заставил их соорудить внутри капища конурку вроде алтаря, немало помучился, пока втолковал им, что от них требуется. Ужасно трудно было добиться, чтобы они поняли, чего я хочу. Не мог же я ронять свое достоинство и коверкать их тарабарский язык (даже если б я и умел разговаривать по-ихнему), и не пристало мне без конца махать руками у них перед носом. Вот я и стал рисовать на песке картинки, потом присаживался рядом и гудел, как пароходная сирена. Порой они делали все наоборот. Но всегда очень старались. И все время я ломал голову, как бы довести до конца затею с этим треклятым золотом. Каждую ночь перед рассветом я в полном облачении выходил из капища и отправлялся к проливу взглянуть на то место, где на дне лежал «Морской разведчик», а однажды в лунную ночь даже попробовал добраться до него, но водоросли, скалы, темнота — все было против меня, пришлось отступить. Возвратился, когда солнце поднялось

уже высоко, и вижу — на берегу стоят толпой мои глупые папуасы и молятся: дескать, морской бог, вернись к нам, пожалуйста. Я столько раз спотыкался и падал, всплывал и опять уходил под воду, что еле держался на ногах и был зол, как черт, а тут эти дурни прыгают и скачут от радости... я чуть было не начал лупить их по башкам всех подряд. Терпеть не могу лишних почестей.

А потом явился миссионер. Чтоб ему провалиться! Дело было за полдень, я важно восседал в наружной части капища, все на том же старом черном камне. И вдруг за стеной зашумели, залопотали, а потом слышу голос этого самого миссионера. «Они молятся пням и камням»,— говорил он толмачу, и я мигом догадался, в чем дело. Пока я отдыхал, одно стекло очков было вывернуто, я и крикнул, недолго думая: «Пням и камням, говоришь? А ну-ка, иди сюда, сейчас я разобью твою ослиную башку». За стеной затихли было, опять залопотали, а потом он входит, как водится, с библией в руках — щуплый, рыжеватый, в очках, на голове пробковый шлем. Разглядел он меня в полутьме — круглая медная башка, выпученные глазища — и, смею сказать, малость оторопел. «Ну,— говорю,— почем ситец идет?» По совести, не люблю я миссионеров.

Потешался я над этим проповедником. Где уж ему было со мной тягаться! Спрашивает, кто я такой, а у самого поджилки дрожат. А я отвечаю: если, мол, хочешь узнать, кто я, читай, что у меня на ногах написано. Он нагнулся, а толмач, понятно, суеверный, как все чернокожие, подумал, что это он кланяется мне,— и сам скорей бух мне в ноги! Мои папуасы так и завыли от восторга, и после этого миссионерам уже нечего было делать в моей деревне, по крайней мере таким, как этот.

Но я, конечно, свалял дурака, что так от него отделался. Будь у меня хоть капля ума, я бы сразу рассказал ему про сокровище и взял бы его в компанию. Он бы, конечно, согласился. Малый ребенок и тот быстро смекнул бы, что неспроста тут появился скафандр, когда пропал «Морской разведчик». И вот неделю спустя утром выхожу я из своей хижины и вижу: по проливу тащится «Материнство», спасательное судно из Старр Рейса, прощупывает дно. Конец всему, даром только я мучился. Фу

ты, пропасть! И взбесился же я! Стоило сидеть чучелом в этом вонючем балахоне! Четыре месяца!

Загорелый опять прервал свой рассказ и разразился неистовой бранью.

— Подумать только! — снова заговорил он по-человечески.— На сорок тысяч фунтов золота!

— А тот проповедник потом вернулся? — спросил я.

— Еще бы! Чтоб ему пусто было! Он поклялся моим папуасам, что внутри ихнего бога сидит человек, и решил им торжественно это доказать. Но внутри-то ничего не оказалось, опять я его провел. Я терпеть не могу разные *сцены и объяснения*, так что поспешил убраться, двинулся по берегу домой, в Бению: днем скрывался в зарослях, а по ночам таскал в деревнях чего-нибудь поесть. Единственное оружие — копье. Ни одежды, ни денег. Ничего. Всего имущества, как говорится, собственная шкура. А в голове так и сверлит — плакали восемь тысяч фунтов золотом, моя пятая доля...

А дикари задали ему жару, голубчику,— и поделом! Решили, что это он спугнул их счастье.

1903.

ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА

Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше.

Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды Джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине; при этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно.

По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лавчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине.

— Будь я богат,— сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало «Исчезающее яйцо»,— я купил бы себе вот это. И это.— Он указал на «Младенца, плачущего совсем как живой».— И это.

То был таинственный предмет, который назывался: «Купи и удивляй друзей!»—как значилось на аккуратном ярлычке.

— А под этим колпаком,— сказал Джип,— пропадает все, что ни положи. Я читал об этом в одной книге... А вон, папа, «Неуловимый грошик», только его так положили, чтобы не видно было, как это делается.

Джип унаследовал милые черты своей матушки: он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями, он только тянул меня за палец по направлению к двери — совершенно бессознательно,— и было яснее ясного, чего ему хочется.

— Вот! — сказал он и указал на «Волшебную бутылку».

— А если б она у тебя была? — спросил я.

И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял.

— Я показал бы ее Джесси! — ответил он, полный, как всегда, заботы о других.

— До дня твоего рождения осталось меньше ста дней, Джип,— сказал я и взялся за ручку двери.

Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку.

Это была не простая лавка, это была лавка волшебная. И потому Джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня.

Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок,— степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой; вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт; вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая напоказ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин.

Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок — как носок башмака.

— Чем могу служить? — спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка.

Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии.

— Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще,— сказал я.

— Фокусы?—спросил он.— Ручные? Механические?

— Что-нибудь позабавнее,— ответил я.

— Гм...—произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик.

— Что-нибудь в таком роде? — спросил он и протянул его мне.

Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде — без него не обойдется ни один фокусник средней руки,— но здесь я этого не ожидал.

— Недурно! — сказал я со смехом.

— Не правда ли? — заметил продавец.

Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось.

— Он у вас в кармане,— сказал продавец, и действительно, шарик был там.

— Сколько за шарик? — спросил я.

— За стеклянные шарики мы денег не берем,— любезно ответил продавец.— Они достаются нам,— тут он поймал еще один шарик у себя на локте,— даром.

Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца.

— Можете взять себе и эти,— сказал тот, улыбаясь,— а также, если не брезгуете, еще один, изо рта. Вот!

Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям.

— Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче,— объяснил продавец.

Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал:

— Вместо того чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле.

— Пожалуй,— ответил продавец.— Хотя в конце концов и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы... И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку: «Настоящая волшебная лавка».

Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне.

— Настоящая,— сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил: — У нас без обмана, сэр.

У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности.

Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой:

— А ты, знаешь ли, Неплохой Мальчуган...

Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца.

— Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь.

И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок:

— И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И-и-и!

И уговоры измученного папаши:

— Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!

— Совсем не заперто! — сказал я.

— Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей,— сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика: крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бессердечного маленького себялюбца, царапающего заколдованное стекло.

— Не поможет, сэр,— сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери.

Скоро хнычущего избалованного мальчика увели.

— Как это у вас делается? — спросил я, переводя дух.

— Магия! — ответил продавец, небрежно махнув рукой. И — ах! — из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина.

— Ты говорил там, на улице,— сказал продавец, обращаясь к Джипу,— что хотел бы иметь нашу коробку, «Купи и удивляй друзей!»

— Да,— признался Джип после героической внутренней борьбы.

— Она у тебя в кармане.

И, перегнувшись через прилавок (тело у него оказалось необычайной длины), этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку.

— Бумагу! — сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами.

— Бечевку! — И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец (который тотчас же превратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку.

— Вам еще понравилось «Исчезающее яйцо»,— заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, и завернул его в бумагу вместе с «Младенцем, плачущим совсем как живой». Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди.

Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы; красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия.

Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше.

— Ай, ай, ай! — сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор.— Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!..

И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят

свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри,— все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков.

— Накапливается целая куча мусора, сэр... Конечно, не у вас одного... Чуть не у каждого покупателя... Чего только люди не носят с собой!

Мятая бумага росла, и вздымалась на прилавке все выше, и выше, и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему.

— Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы — только одна видимость, только гробы повапленные...

Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом,— такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо.

— Вам больше не нужна моя шляпа? — спросил я наконец.

Ответа не было.

Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица — загадочные, серьезные, тихие.

— Я думаю, нам пора! — сказал я.— Будьте добры, скажите, сколько с нас следует... Послушайте,— сказал я, повышая голос,— я хочу расплатиться... И, пожалуйста, мою шляпу...

Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение.

— Он смеется над нами! — сказал я.— Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок.

Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел вислоухий белый кролик — самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой — кролик отпрыгнул от меня.

— Папа! — шепнул Джип виновато.

— Что?

— Мне здесь нравится, папа.

«И мне тоже нравилось бы,— подумал я,— если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход». Я не сказал об этом Джипу.

— Киска! — произнес он и протянул руку к кролику.— Киска, покажи Джипу фокус!

Кролик шмыгнул в дверь, которой я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку.

— Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? — как ни в чем не бывало сказал он.

Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное.

— К сожалению, у нас не *очень* много времени,— начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов.

— Все товары у нас одного качества,— сказал продавец, потирая гибкие руки,— самого высшего. Настоящая магия, без обмана, другой не держим! С ручательством... Прошу прощения, сэр!

Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава, и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение... И держал он его так, как держат в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца.

— Послушайте,— сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика,— надеюсь, у вас не слишком много *таких*... изделий, не правда ли?

— Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с улицы,— сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой.— Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная!

Потом он обратился к Джипу:

— Нравится тебе тут что-нибудь?

Джипу многое нравилось.

С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил:

— А эта сабля тоже волшебная?

— Волшебная игрушечная сабля — не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера... Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка.

— Ох, папа! — воскликнул Джип.

Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь как обычно хватался за мой. «Конечно, он человек занятный,—думал я,—и у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки...»

Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов Джипу это доставляет удовольствие... И никто не помешает нам уйти, когда вздумается.

Выставка товаров занимала длинную комнату, большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками; арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида; на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли.

Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип — у него тонкий слух его матери — тотчас же воспроизвел его.

— Браво! — воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее Джипу.— Ну-ка еще разок!

И Джип в одно мгновение опять воскресил их.

— Вы берете эту коробку? — спросил продавец.

— Мы бы взяли эту коробку,— сказал я,— если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером...

— Что вы! С удовольствием.

И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе — и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа!

Видя мое изумление, продавец засмеялся.

— У нас настоящее волшебство,— сказал он.— Подделок не держим.

— По-моему, оно даже чересчур настоящее,— отозвался я.

После этого он стал показывать Джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше — по выполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока.

Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» — вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: «Эй, живо!» Но меня отвлекло другое. Меня стала одолевать вся эта чертовщина. Ею было проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться — и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны для простого гипса.

Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, человек диковинного вида.

Он стоял в стороне, и, очевидно, не зная о моем присутствии (мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, прислонясь к столбу и проделывая со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос, потом

нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст... Как в страшном сне! Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку.

Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана.

— Сыграем в прятки, папа! — крикнул Джип.— Тебе водить!

И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном.

Я сразу понял, в чем дело.

— Поднимите барабан! — закричал я.— Сию минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите!

Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст! Но на табуретке тоже не было никого! Мой мальчик бесследно исчез!..

Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное «я», вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной.

Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги.

— Оставьте эти шутки,— сказал я.— Где мой мальчик?

— Вы сами видите,— сказал он, показывая мне пустой барабан,— у нас никакого обмана...

Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь.

— Стой! — крикнул я.

Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел... во тьму.

Хлоп!

— Фу ты! Я вас и не заметил, сэр!

Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду.

В руках у него было четыре пакета!

Он тотчас же завладел моим пальцем.

Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери — ничего! Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами...

Я сделал единственное, что было возможно в таком положении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кеб.

— В карете! — восторженно воскликнул Джип. Он не ждал этой дополнительной радости.

Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую.

Джип не сказал ни слова.

Некоторое время мы оба молчали.

— Папа! — сказал наконец Джип.— Это была хорошая лавка!

Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим — это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета.

Черт возьми! Что могло там быть?

— Гм! — сказал я.— Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки!

Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, на извозчике, coram publico [1] расцеловать его. «В конце концов,— подумал я,— не так уж все это страшно».

---

[1] При народе (*лат.*).

Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что Джип совершенно забыл о тех «Настоящих волшебных солдатах», которых он видел в лавке, а в четвертом свертке был котенок — маленький белый живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом.

Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детской не знаю сколько времени...

Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается Джипа...

Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность.

Но недавно я все же отважился на серьезный шаг. Я спросил:

— А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?

— Мои солдаты живые,— сказал Джип.— Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку.

— И они маршируют?

— Еще бы! Иначе за что их и любить!

Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джип или нет.

Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала: ведь раз этим людям — кто бы они ни были — известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.

1903.

ПРАВДА О ПАЙКРАФТЕ

Он сидит всего в десяти шагах от меня. Достаточно мне только поглядеть через плечо, и я увижу его. И если я встречусь с ним взглядом (а уж это обязательно так и будет), то в его глазах...

В общем, это умоляющий взгляд, но все же с оттенком подозрения.

Черт бы его побрал с его подозрениями! Если б я захотел, я бы давно все про него рассказал. Однако же я молчу, я ничего не рассказываю, кажется, он мог бы успокоиться и ничем не терзаться. Если, конечно, такое громоздкое и жирное создание, как он, вообще может жить, не терзаясь. Да если бы я и рассказал, кто бы мне поверил?

Бедняга Пайкрафт! Экая неуклюжая бесформенная масса — студень да и только! Самый толстый клубный завсегдатай в Лондоне.

Он сидит за одним из столиков в большой нише около камина и... жует. Что это он жует? Я оглядываюсь, будто невзначай,— так и знал: набивает себе рот сдобной булкой с маслом, не спуская с меня глаз. А, чтоб ему с его неотвязным взглядом!

Ну хорошо же, Пайкрафт! Раз вы непременно хотите быть страдальцем, раз вы продолжаете вести себя так, будто сомневаетесь в моей порядочности, пеняйте на себя! Вот тут, перед вашими заплывшими жиром глазами я все напишу, я расскажу всю правду о Пайкрафте. Расскажу о человеке, которому я помог, чью тайну свято хранил, а он отплатил мне тем, что превратил мой клуб в место, невыносимое для меня, совершенно невыноси-

мое из-за этого водянистого взгляда, умоляющего без конца об одном и том же: «Только, ради бога, никому не говорите!»

И потом, почему он все время ест?

Так вот вам правда, вся правда и только одна правда.

Пайкрафт... Я познакомился с ним здесь же, в курительной комнате. В клубе я был тогда молодым и мнительным новичком, и он это заметил. Я сидел в одиночестве, жалел, что у меня еще так мало знакомых, как вдруг ко мне приблизилась некая туша, состоявшая из нескольких подбородков и живота. Это и был Пайкрафт. Он, пыхтя, сел рядом на стул, пыхтя, возился со спичками, наконец закурил сигару и обратился ко мне. Не помню, что он сказал,— кажется, что-то о плохих спичках. Продолжая говорить со мной, он останавливал каждого проходящего официанта и бранил спички своим тонким, певучим голоском. Так или иначе мы разговорились.

Он болтал о разных вещах, затем перешел к спорту, а от спорта — к моей фигуре и цвету лица.

— Вы, должно быть, хорошо играете в крикет,— сказал он.

Я считаю себя стройным, могу даже кое-кому показаться тощим. Знаю также, что я довольно смуглый, тем не менее... Прабабушка у меня была индуска, и я этого ничуть не стыжусь, но я не хочу, чтобы каждый встречный при первом же взгляде позволял себе строить догадки о моих предках. Вот почему я с самого начала невзлюбил Пайкрафта.

Но он-то завел разговор обо мне только для того, чтобы перейти к собственной персоне.

— Двигаетесь вы, наверное, не больше моего,— сказал он,— а едите не меньше... (Как и все очень тучные люди, он воображал, что ничего не ест.) Однако же между нами есть разница,— добавил он, криво улыбаясь.

И тут он начал без конца говорить о своей полноте, о том, что он делал, чтобы избавиться от полноты, что собирается делать, чтобы вылечиться от полноты, что ему советовали делать против полноты и что, он слышал, делают другие люди, страдающие полнотой.

— A priori,— сказал он,— казалось бы, вопрос питания решается диетой, а вопрос усвоения пищи организмом — лекарствами.

Это было невыносимо. Слушая этого обжору, я чувствовал, что сам начинаю пухнуть.

Конечно, в клубе всякие иногда бывают встречи, но вскоре я пришел к мысли, что это уж чересчур. Было совершенно ясно, что этот субъект от меня не отвяжется. Стоило мне появиться в курительной комнате, как он вразвалку шел ко мне, а иногда, когда я завтракал, подсаживался к моему столу и без стеснения предавался чревоугодию. Он прямо-таки прилипал ко мне. Нудный человек! Но все-таки почему от его навязчивости должен страдать только я? С самого начала в его поведении было что-то такое, будто он знал, будто интуитивно понял, что я мог бы... что во мне одном он мог видеть единственную надежду, которой нигде больше не найдет.

— Я все бы отдал, чтобы сбавить в весе,— говорил он,— решительно все! — И, задыхаясь, пытливо всматривался в меня глазками, утонувшими в пухлых щеках.

Бедный Пайкрафт! Вот он позвонил, наверно, чтобы заказать еще сдобной булки и масла.

Однажды он перешел прямо к делу.

— Наша фармакопея,— сказал он,— наша западная фармакопея — далеко не последнее слово в медицине. На Востоке, я слышал...— Он осекся и уставился на меня. Мне казалось, что я стою перед стеклянным аквариумом.

Тут я вдруг на него рассердился.

— Послушайте,— сказал я,— кто вам сказал о рецептах моей прабабушки?

— Помилуйте! — попытался он увильнуть.

— Вот уже целую неделю при каждой нашей встрече — а встречались мы с вами частенько — вы явно намекаете мне на мою маленькую тайну.

— Ну, хорошо,— промолвил он.— Раз так, я скажу все. Признаюсь, да, верно... Я узнал...

— От Пэттисона?

— Косвенно,— сказал он и, по-моему, солгал.

— Пэттисон,— сказал я,— принимал это снадобье на свой страх и риск.

Он поджал губы и потупился.

— Рецепты моей прабабушки,— продолжал я.— С ними так просто обращаться нельзя. Отец даже хотел взять с меня обещание...

— Но вы не обещали?

— Нет. Но он меня предупредил. Он как-то сам воспользовался одним из них — всего раз!

— Да, да... И вы думаете?.. Предположим, предположим, что среди них найдется такой...

— Эти рецепты — странная штука,— сказал я,— даже пахнут они... Нет, оставим это!

Но я знал: раз уж я зашел так далеко, Пайкрафт от меня не отстанет. Я всегда немного побаивался, что, если вывести его из терпения, он внезапно навалится на меня всей тушей и задавит. Я сознаю, что проявил слабость характера. Но Пайкрафт уж очень действовал мне на нервы. Он мне уже до того осточертел, что я не удержался и сказал:

— Ну хорошо, рискните!

С Пэттисоном, о котором я упомянул, дело было совсем другое. Что с ним произошло — это к рассказу не относится, но тогда я по крайней мере знал, что лекарство не опасно для здоровья. В остальных рецептах я не был так уверен и вообще склонен сомневаться в безопасности лечебных средств прабабушки.

Но если даже Пайкрафт и отравится...

Признаюсь, что отравление Пайкрафта представилось мне делом грандиозного размаха.

В тот же вечер я вынул из сейфа странный, источающий своеобразный запах ларец сандалового дерева и стал перебирать шуршащие куски кожи. У джентльмена, который писал рецепты для моей прабабушки, было несомненное пристрастие к коже различного происхождения и на редкость неразборчивый почерк. Некоторые записки были вовсе не доступны моему пониманию (несмотря на то, что в нашей семье, издавна связанной с Ост-Индской компанией, знание хинди передается из поколения в поколение), и не было ни одной, расшифровать которую было бы легко. Все же я довольно скоро нашел то, что искал, и некоторое время сидел на полу возле сейфа, рассматривая рецепт.

— Вот, глядите,— сказал я Пайкрафту на следующий день, держа полоску кожи подальше от его жадных рук.— Насколько я мог разобраться, это рецепт для тех, кто хочет сбавить в весе. (О! — воскликнул Пайкрафт.) Я не совсем уверен, но, кажется, так. Все же, если хоти-

те послушать моего совета, бросьте это дело. Потому что, знаете ли, насколько мне известно, мои предки по этой линии были очень странные люди. Видите, я не боюсь чернить своих родичей в ваших интересах, Пайкрафт.

— Дайте мне попробовать,— сказал Пайкрафт.

Я откинулся на стуле. Огромным усилием воображения я попытался представить себе, каким он станет потом... но безуспешно.

— А вы подумали, Пайкрафт,— сказал я,— на какого дьявола вы будете похожи, когда похудеете?

Он не внял голосу разума. Я взял с него слово никогда больше не говорить со мной о его отвратительной полноте — никогда, что бы ни случилось! — и только тогда отдал ему маленький лоскут кожи.

— Тошнотворное снадобье,— сказал я.

— Ничего,— ответил он и взял рецепт. Посмотрев на него, он выпучил глаза:— Но... позвольте!..

Только теперь он обнаружил, что рецепт был написан не по-английски.

— Насколько это в моих силах,— сказал я,— я вам переведу.

Я постарался перевести рецепт как можно лучше. Затем в течение двух недель мы не разговаривали. Как только Пайкрафт ко мне приближался, я хмурился и делал знак, чтобы он отошел. Он соблюдал уговор, но к концу второй недели был так же толст, как и прежде. Наконец он не выдержал.

— Я должен поговорить с вами,— сказал он.— Так не годится! Здесь что-то не то. Не помогает. Не к чести вашей прабабушки...

— Где рецепт?

Он осторожно извлек его из бумажника.

Я пробежал глазами перечень всех составных частей.

— Вы тухлое яйцо взяли?

— Нет. А разве нужно было... тухлое?

— Это подразумевается во всех рецептах моей покойной прабабушки,— сказал я.— Если качество или состояние не указано, надо брать самое худшее. Она была женщина решительная и не терпела полумер. Из остальных веществ одно или два можно заменить другими. А яд гремучей змеи был свежий?

— Я достал гремучую змею у Джемрака. Она обошлась мне...

— Ну, это — ваше дело. Теперь последняя часть состава.

— Я знаю человека, который...

— Прекрасно. Гм!.. Я напишу вам, какие составные части можно заменить и чем. Насколько я знаю язык, орфография в этом рецепте особенно хромает. Между прочим под словом «пес» здесь подразумевается бродячий пес.

В продолжение месяца я постоянно видел Пайкрафта в клубе все таким же толстым и озабоченным. Он соблюдал соглашение и только иногда нарушал дух нашего договора, с сокрушением покачивая головой. Однажды в гардеробе у него вырвалось:

— Ваша прабабушка...

— Ни слова о ней! — оборвал я его, и он прикусил язык.

Я уже считал, что он разочаровался в рецепте и отстал от меня. Я даже видел один раз, как он разговаривал о своей полноте с тремя новыми членами клуба как бы в поисках других рецептов. Как вдруг, совсем неожиданно, пришла телеграмма.

— Мистеру Формалину! — под самым моим носом выкрикнул мальчик, который состоит в клубе на побегушках.

Я взял телеграмму и сразу распечатал ее:

«Ради бога, приходите. Пайкрафт».

— Гм! — пробормотал я.

По правде сказать, я так обрадовался этой телеграмме, предвещавшей реабилитацию моей прабабушки, что позавтракал с отменным аппетитом.

Адрес я узнал у швейцара. Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с бенедиктином. Не успел даже докурить сигару.

— Мистер Пайкрафт дома? — спросил я внизу.

Мне ответили, что он, вероятно, болен: два дня не выходил из дому.

Я сказал, что он ждет меня, и мне предложили подняться.

На площадке я позвонил у двери с решеткой.

«Все-таки не следовало ему пробовать это средство,— подумал я.— Человек, который жрет, как свинья, должен и выглядеть, как свинья».

Почтенного вида женщина с озабоченным лицом, в кое-как надетом чепце появилась по ту сторону решетки.

Я назвал себя, и она нерешительно отперла дверь.

— Ну? — спросил я, когда мы остановились друг против друга в прихожей Пайкрафта.

— Он сказал, что если вы придете, чтобы шли прямо к нему,— наконец заговорила она, продолжая неподвижно смотреть на меня, вместо того чтобы показать мне дорогу. Потом понизила голос:— Он заперся, сэр.

— Заперся?

— Заперся еще со вчерашнего утра и никого не впускает, сэр. И все время ругается. Беда как бранится!

Я посмотрел на дверь, которую она мне показала глазами.

— Здесь? — спросил я.

— Да, сэр.

— Что с ним?

Она печально покачала головой.

— Все время еды требует, сэр! Тяжелой еды. Я подаю ему, что могу, сэр: свинину, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Все вот такое тяжелое. И еще изволь все это оставлять у дверей. И чтоб сама я уходила. Сколько он ест, сэр, страшно подумать!

В это время из-за двери раздался визгливый голос:

— Это Формалин?

— Это вы, Пайкрафт? — закричал я, подошел к двери и постучал.

— Скажите, чтобы она ушла!

Я велел ей уйти.

И тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте, и я услышал знакомое хрюканье Пайкрафта.

— Все в порядке,— сказал я,— она ушла.

Но дверь еще долго не отворялась.

Наконец ключ повернулся, и голос Пайкрафта сказал:

— Войдите!

Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно ожидая, что увижу Пайкрафта.

Но его не было.

Никогда в жизни я не был так потрясен. Я увидел его кабинет в необыкновенном беспорядке: опрокинутые стулья, груды грязных тарелок и блюд, наваленных вместе с книгами и письменными принадлежностями. Но Пайкрафта...

— Ладно, ладно, дружище, закройте дверь! — сказал он, и тут я увидел его.

Он был наверху, в углу над дверью, у самого карниза, будто его приклеили к потолку. Лицо у него было смущенное и жалкое. Он пыхтел и махал руками.

— Закройте дверь,— попросил он.— Если эта женщина узнает...

Я закрыл дверь, отошел на несколько шагов и, разинув рот, смотрел на него.

— Если только что-нибудь там не выдержит и вы сорветесь,— сказал я,— вы сломаете себе шею.

— Увы, я был бы этому рад,— просипел он.

— Что за ребячество? В вашем возрасте и при вашем весе я бы не рискнул заниматься такой гимнастикой...

— Оставьте! — простонал он, и вид у него был страдальческий.— Ваша прабабушка, чтоб ей...

— Эй, поосторожней выражайтесь!

— Я вам все объясню.— И он опять замахал руками.

— Но как же, черт побери, вы там держитесь?

И вдруг я понял, что ему и не надо было держаться, что он висел, прижатый к потолку той же силой, которая заставляет лететь вверх пузырь, наполненный газом.

Он начал отчаянно барахтаться, чтобы оторваться от потолка и спуститься ко мне по стене.

— Это все ваш рецепт,— пыхтел он, работая руками и ногами.— Ваша праба...

В этот момент он неосторожно схватился за висевшую на стене гравюру в рамке, она сорвалась, и он взлетел обратно к потолку, а картина шлепнулась на диван. Он ударился о потолок, и я понял, почему все выдающиеся места его тела испачканы штукатуркой. Он снова начал спускаться, на этот раз осторожнее, держась за каминную полку.

Поистине это было необыкновенное зрелище: большой, жирный, полнокровный мужчина лез головой вниз, стараясь изо всех сил спуститься с потолка на пол.

— Лекарство...—сказал он,—подействовало чересчур сильно.

— Как так?

— Потеря в весе почти полная!

И тут я, конечно, все понял.

— Клянусь богом, Пайкрафт! — воскликнул я.— Вы хотели лечиться от ожирения. Но всегда называли это «сбавлять в весе». Вы упорно говорили: «Сбавить в весе».

Признаться, я ликовал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайкрафта.

— Дайте я помогу вам,— сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он лягался, стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг на ветру.

— Стол из крепкого красного дерева и очень тяжелый,— сказал он.— Если можете, запихните меня под него.

Я так и сделал, и вот он уже покачивался под столом, как привязанный воздушный шар, а я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним. Я закурил сигару.

— Расскажите, как все это случилось.

— Я принял лекарство,— сказал он.

— И какое оно на вкус?

— Ужасная мерзость!

Вероятно, и все эти снадобья такие. Как ни судить: по составным ли частям, по готовой ли мешанине, или же по действию, которое она должна оказывать,— целебные средства моей прабабушки мне лично кажутся не слишком аппетитными. Сам бы я ни за что...

— Сначала я отпил один глоток.

— Ну и как?

— Примерно через час я почувствовал себя легче и лучше и тогда решил проглотить все.

— Но милый Пайкрафт!

— Я зажал нос,— пояснил он.— Потом я почувствовал, что делаюсь все легче и легче и, знаете, становлюсь каким-то беспомощным.

И вдруг он дал волю своей ярости.

— Но что же, черт побери, мне теперь делать?! — завопил он.

— Пока только ясно, чего вам не следует делать,— сказал я.— Если вы выйдете из дому, вы взлетите и

будете подниматься все выше и выше.— Я помахал рукой, показывая ввысь.— Придется посылать в воздух Сантос-Дюмона [1], чтобы вернуть вас на землю.

— Может быть, со временем пройдет?

Я покачал головой.

— На это, по-моему, не стоит рассчитывать.

Новая вспышка ярости. В порыве гнева он ногами сшибал стулья и стучал по полу. Он вел себя так, как, собственно, и должен вести себя в минуту испытания такой несуразный, жирный и невоздержанный человек, то есть очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке, пренебрегая всеми правилами приличия.

— Я вас не просил принимать лекарство,— сказал я.

Великодушно пропуская мимо ушей оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в его кресле и начал говорить с ним спокойным, дружеским тоном.

Я указал ему, что он сам навлек на себя беду. Это можно рассматривать как некое возмездие, как карающую руку Немезиды. Он слишком много ел. С этим он не согласился, и мы начали спорить. Но он стал так кричать и шуметь, что я не настаивал на этом поучительном выводе и подошел к делу иначе.

— Кроме того,— сказал я,— вы грешили против ясности речи: вы изысканно именовали «весом» то, что было бы справедливее, хотя и обиднее для вас, называть просто «жиром». Вы...

Он перебил меня, сказав, что все это он признает. Но теперь-то что ему делать?

Я предложил ему приспособиться к своему новому состоянию. Так мы перешли к практической стороне вопроса. Я высказал мысль, что ему будет не так уж трудно научиться ходить на руках по потолку и...

— Я не могу спать,— сказал он.

— Ну это,— заметил я,— не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрацем, привязать тюфяк и простыню веревочками, а одеяло с пододеяльником и покрывало пристегивать на пуговицах по бокам.

Ему, видимо, придется довериться своей экономке. Мы поспорили, но затем он согласился. (Впоследствии бы-

---

[1] Известный воздухоплаватель.

ло очень занятно смотреть, с каким невозмутимо деловым видом добрая женщина приняла все эти удивительные нововведения.) Можно принести в его комнату библиотечную лесенку и подавать ему обед на книжный шкаф. Мы изобрели также остроумное приспособление, с помощью которого он мог в любое время спускаться на пол. Для этого надо было только расставить все тома Британской энциклопедии (десятое издание) на верхних книжных полках. Он вытаскивает один или два тома, берет их под мышку и опускается. Мы договорились, что вдоль стен должны быть укреплены железные скобы: за них он будет держаться, если захочет путешествовать по комнате на более низком уровне.

Чем дальше, тем больше я входил во вкус всего этого дела. Это я позвал экономку и осторожно посвятил ее в нашу тайну. Я же сам, почти без чужой помощи, устроил ему перевернутую книзу постель. Целых два дня я провел в его квартире. Ведь я человек изобретательный, ловко орудую отверткой и люблю во все вмешиваться. Я сделал для него всевозможные хитроумные приспособления: провел провод, чтобы ему легче было звонить, переставил все электрические лампы так, чтобы они светили снизу вверх, а не сверху вниз, и тому подобное. Все это было необыкновенно забавно и интересно для меня. Я очень развлекался, представляя себе, как Пайкрафт, подобно огромной, жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придет в клуб.

Но потом моя роковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камина, попивал его виски, а он в своем излюбленном углу у карниза прибивал коврик к потолку, как вдруг меня осенила новая мысль.

— Пайкрафт! — воскликнул я.— Клянусь богом, все это совершенно не нужно! — И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил: — Свинцовые подштанники! — и непростительная оплошность была совершена.

Пайкрафт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы.

— И я снова вернусь в нормальное человеческое состояние...— лепетал он.

Я выложил ему весь секрет, не подумав о том, к чему это приведет.

— Купите свинцовый лист,— сказал я,— наштампуйте из него кружков. Зашейте их в белье, сколько нужно для нормального веса. Закажите сапоги со свинцовой подошвой, заведите себе свинцовый чемодан — и дело сделано! Вместо того чтобы торчать здесь, под потолком, вы сможете отправиться опять за границу, сможете путешествовать...

Тут мне пришла в голову еще более блестящая мысль:

— И никакие кораблекрушения для вас не страшны. Стоит вам только скинуть с себя хотя бы часть одежды, взять в руки необходимый багаж, и вы вылетите на поверхность...

Он так разволновался, что уронил молоток и чуть не проломил мне голову.

— Боже правый!— воскликнул он.— И я смогу опять ходить в клуб!

Я осекся, пораженный таким оборотом дела.

— Да-да! — промолвил я упавшим голосом.— Конечно, сможете.

Он пришел. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая — клянусь! — уже третью порцию сладких булок с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что, в сущности, он не имеет веса, что он всего только докучная масса поглощающей пищу материи, какое-то облако в одежде человека, niente, nefas, ничтожнейший из людей. Вот он сидит и ждет, когда я кончу писать. И тогда он попытается подкараулить меня. Он подойдет ко мне, колыхаясь...

И будет снова говорить мне обо всем этом: что он чувствует, и чего не чувствует, и что ему иногда кажется, будто это начинает проходить. И обязательно где-нибудь посреди глупой, бесконечной болтовни вставит: «Ну как, не выдадим секрет, а? Если кто-нибудь узнает, это такой стыд... Знаете, когда человек в таком дурацком положении: ползает по потолку, и все прочее...»

Я кончил писать. Теперь осталось улизнуть от Пайкрафта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.

1903.

МИСТЕР СКЕЛМЕРСДЕЙЛ В СТРАНЕ ФЕЙ

— Вот в этой лавке служит один парень, ему довелось побывать в стране фей,— сказал доктор.

— Чепуха какая,— ответил я и оглянулся на лавку. Это была обычная деревенская лавчонка, она же и почта, из-под крыши тянулся телеграфный провод, у двери были выставлены щетки и оцинкованные ведра, в окне — башмаки, рубахи и консервы.

Помолчав, я спросил:

— Послушайте, а что это за история?

— Да я-то ничего не знаю,— ответил доктор.—Обыкновенный олух, деревенщина, зовут его Скелмерсдейл. Но тут все убеждены, что это истинная правда.

Вскоре я снова вернулся к нашему разговору.

— Я ведь толком ничего не знаю да и знать не хочу,—сказал доктор.—Я накладывал ему однажды повязку на сломанный палец — играли в крикет холостяки против женатых — и тогда в первый раз услышал эту чепуху. Вот и все. Но по этому как-никак можно судить, с кем мне приходится иметь дело, а? Веселенькое занятие—вбивать в голову такому народу современные принципы санитарии!

— Что и говорить,— посочувствовал я, а он начал рассказывать, как в Боунаме собирались чинить канализацию. Я давно заметил, что наши деятели здравоохранения больше всего заняты подобными вопросами. Я опять выразил ему самое искреннее сочувствие, а когда он назвал жителей Боунама ослами, добавил, что они «редкие ослы», но и это его не утихомирило.

Некоторое время спустя, в середине лета, я заканчивал трактат о Патологии Духа — мне думается, писать его было еще труднее, чем читать,— и непреодолимое желание уединиться где-нибудь в глуши привело меня в Бигнор. Я поселился у одного фермера и довольно скоро в поисках табака снова набрел на эту лавчонку. «Скелмерсдейл»,— вспомнил я, увидев ее, и вошел.

Продавец был невысокий, но стройный молодой человек, светловолосый и румяный, глаза у него были голубые, зубы ровные, мелкие и какая-то медлительность в движениях. Ничего особенного в нем не было, разве что слегка грустное выражение лица. Он был без пиджака, в подвернутом фартуке, за маленьким ухом торчал карандаш. По черному жилету тянулась золотая цепочка от часов, на ней болталась согнутая пополам гинея.

— Больше ничего не угодно, сэр? — обратился он ко мне. Он говорил, склонясь над счетом.

— Вы мистер Скелмерсдейл? — спросил я.

— Я самый,— ответил он, не поднимая глаз.

— Это правда, что вы побывали в стране фей?

Он взглянул на меня, сдвинув брови, лицо стало раздраженным, угрюмым.

— Не ваше дело! — отрезал он, с ненавистью посмотрел мне прямо в глаза, потом снова взялся за счет.

— Четыре... шесть с половиной шиллингов,— сказал он, немного погодя.— Благодарю вас, сэр.

Вот при каких неблагоприятных обстоятельствах началось мое знакомство с мистером Скелмерсдейлом.

Ну, а потом мне удалось завоевать его доверие, хоть это и стоило долгих трудов.

Я снова встретил его в деревенском кабачке, куда заходил вечерами после ужина сразиться в бильярд и перекинуться словечком с ближними своими, общества которых днем я старательно избегал, что было весьма на пользу моей работе. С великими ухищрениями я сначала уговорил его сыграть партию в бильярд, а потом вызвал и на разговор. Я понял, что страны фей лучше не касаться. Обо всем остальном он рассуждал благодушно и охотно и казался таким же, как все, но стоило завести речь о феях, и он сразу мрачнел: это была явно за-

претная тема. Только раз слышал я, как при нем в бильярдной намекнули на его приключения, да и то это был какой-то батрак, тупой детина, который ему проигрывал. Скелмерсдейл сделал подряд несколько дуплетов, что по бигнорским понятиям было явлением из ряда вон выходящим.

— Эй, ты! — буркнул его противник.— Это все твои феи тебе подыгрывают.

Скелмерсдейл уставился на него, швырнул кий на стол и вышел вон из бильярдной.

— Ну что ты к нему прицепился? — упрекнул задиру какой-то почтенный старичок, с удовольствием наблюдавший за игрой. Со всех сторон послышалось неодобрительное ворчание, и самодовольная ухмылка исчезла с лица остряка.

Как было упустить такой случай?

— Что это у вас за шутки насчет страны фей? — спросил я.

— Никакие это не шутки, молодому Скелмерсдейлу не до шуток,— заметил почтенный старичок, отхлебнув из своего стакана.

А какой-то низенький краснолицый человечек оказался более словоохотливым.

— Да ведь не зря поговаривают, сэр, что феи утащили его к себе под Олдингтонский Бугор и держали там три недели кряду.

Тут собравшихся словно прорвало. Стоит одной овце сделать шаг, и за ней потянется все стадо. Скоро я уже знал, хоть и в общих чертах, о приключении Скелмерсдейла. Раньше, до того, как поселиться в Бигноре, он служил в точно такой же лавчонке в Олдингтон-Корнер, там-то все и произошло. Мне рассказали, что однажды он отправился на ночь глядя на Олдингтонский Бугор и пропал на три недели, а когда он вернулся, «манжеты были чисты, как будто только вышел за порог», а карманы набиты пылью и золой. Возвратился он угрюмый, подавленный, долго не мог прийти в себя и никак от него нельзя было добиться, где он пропадал. Одна девушка из Клэптон-хилла, с которой он был помолвлен, старалась у него все выпытать, но он упорно молчал, да к тому же еще, как она выразилась, просто «нагонял тоску», и по этим причинам она вскорости ему отказала.

А потом он неосторожно кому-то проговорился, что побывал в стране фей и хочет туда вернуться, и, когда об этом все узнали и с деревенской бесцеремонностью стали над ним потешаться, он вдруг взял расчет и сбежал от насмешек и пересудов в Бигнор. Но что все-таки с ним приключилось в стране фей, этого не знала ни одна душа. Посетители кабачка плели кто во что горазд — так разбредается во все стороны стадо без пастуха. Один говорил одно, другой — другое. Рассуждали они об этом чуде с видом критическим и недоверчивым, но было заметно, что на деле они склонны многому верить. Я счел нужным высказать разумный интерес и вполне обоснованное сомнение:

— Если страна фей лежит под Олдингтонским Бугром, что же вы ее не отроете?

— Вот и я про это толкую,— подхватил молодой батрак.

— Уж не один брался под тем Бугром копать, не раз принимались,— мрачно заметил почтенный старичок,— да только вот похвалиться нечем...

Их единодушная, хотя и смутная вера подействовала на меня, я понимал: здесь что-то кроется,— и это еще больше разжигало мое любопытство, не терпелось узнать, что же на самом деле произошло. Но рассказать обо всем мог лишь один человек, сам Скелмерсдейл; и я взялся за многотрудную задачу — нужно было сгладить первое неблагоприятное впечатление, которое я произвел на него, и добиться, чтобы он сам, по своей воле заговорил со мной откровенно и не таясь. Тут свою роль сыграло и то, что я был не простым деревенским жителем. Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу твидовые куртки и брюки гольф, и в Бигноре, естественно, меня сочли за художника, а там, как это ни странно, художника ставят неизмеримо выше, чем приказчика из бакалейной лавки. Скелмерсдейл, как и вообще многие из ему подобных,— изрядный сноб; вспылив, он сказал мне дерзость, но только когда я вывел его из себя, и сам, я уверен, потом раскаивался, и я знал, что ему очень льстит, когда все видят, как мы вместе прогуливаемся по улице. Пришло время, и он довольно охотно согласился зайти ко мне выпить стаканчик виски и

выкурить табачку, и вот тогда-то меня осенила счастливая догадка: здесь не обошлось без сердечной драмы. Я, зная, как откровенность располагает к откровенности, рассказал ему пропасть интересных и поучительнейших случаев из моей жизни, вымышленных и подлинных. И во время третьего, если не ошибаюсь, визита, после третьей рюмки виски, когда я поведал ему, присочинив немало чувствительных подробностей, об одном весьма мимолетном увлечении моей юности, лед был сломан — под влиянием моего рассказа мистер Скелмерсдейл разоткровенничался.

— И со мной так же вышло,— сказал он.— В Олдингтоне. Это вот и чудно. Сперва мне было вроде ни к чему, она по мне страдала. А потом стало все наоборот, да только уж было поздно.

Я удержался от расспросов, последовал еще один намек, и вскоре стало ясно как день, что ему просто не терпится поговорить о своих приключениях в стране фей, тех самых, о которых так долго из него нельзя было вытянуть ни слова. Как видите, моя хитрость удалась: поток откровенных излияний сделал свое дело. Скелмерсдейл уже не опасался, что я, как все посторонние люди, не поверю ему, стану над ним насмехаться, теперь он увидел во мне возможного наперсника. Он томился желанием показать, что и он многое пережил и перечувствовал, и совладать с собой он был не в силах.

Поначалу он изводил меня намеками, так и подмывало спросить обо всем в упор и добраться наконец до самой сути, но я опасался поспешностью испортить дело. Только после того, как мы встретились еще раз-другой и я полностью завоевал его доверие, я сумел постепенно выведать у него многое, вплоть до мелочей. В сущности, я выслушал, и не один раз, почти все, что мистер Скелмерсдейл, рассказчик весьма неважный, вообще способен изложить. Итак, я подхожу к истории его приключений и буду рассказывать все по порядку. Случилось ли это в действительности, был ли это сон, игра воображения, какая-то странная галлюцинация, судить не берусь. Но я ни на минуту не допускаю мысли, чтобы он мог все это выдумать. Этот человек глубоко и искренне верит, что все на самом деле произо-

шло именно так, как он рассказывает; он явно не способен лгать столь последовательно, сочинять такие подробности, ему верят наивные, но и весьма проницательные деревенские жители, и это — лишнее доказательство его правдивости. Он верит — и никто пока что не сумел поколебать его веру. Что до меня, то мне больше нечего сказать в подтверждение рассказа, который я передаю. Я уже не в том возрасте, когда убеждают или что-то доказывают.

По его словам, он заснул однажды вечером часов в десять на Олдингтонском Бугре — вполне вероятно, что это случилось в Иванову ночь, а может, неделей раньше или позже, он над этим не задумывался — был безветренный ясный вечер, всходила луна. Я не поленился три раза взобраться на этот Бугор после того, как выведал у мистера Скелмерсдейла его тайну, и однажды пошел туда в летние сумерки, когда луна только что поднялась, и все, наверное, выглядело так же, как в ту ночь. Юпитер в своем царственном великолепии блистал над взошедшей луной, а на севере и северо-западе закатное небо зеленело и сияло. Голый и мрачный Бугор издалека отчетливо вырисовывается на фоне неба, но вокруг на некотором расстоянии густые заросли кустарника, и, пока я поднимался, бесчисленные кролики, мелькавшие, как тени, или вовсе невидимые в темноте, выскакивали из кустов и стремглав пускались наутек. Над самой вершиной — над этим открытым местом — тонко гудело несметное полчище комаров. Бугор, по-моему,—искусственное сооружение, могильник какого-нибудь доисторического вождя, и уж, наверное, никому не удавалось найти лучше места для погребения, откуда бы открывался такой необъятный простор. Гряда холмов тянется к востоку до Хайта, за нею виден Ла-Манш, и там, милях в тридцати, а то и дальше, мигают, гаснут и снова вспыхивают ярким белым светом маяки Гри Не и Булони. К западу, как на ладони, вся извилистая долина Уилда — ее видно до самого Хиндхеда и Лейт-хилла, а на севере долина Стауэра разрезает меловые горы, уходящие к бесконечным холмам за Уайем. Посмотришь на юг — Ромнейские топи расстилаются у ваших ног, где-то посредине Димчерч, и Ромни, и Лидд, Гастингс на горе и совсем вдали, там,

где Истборн поднимается к Бич Хед, снова громоздятся в дымке холмы.

Вот здесь и бродил Скелмерсдейл, горюя из-за сердечных невзгод. Шел он, как он говорит, «не разбирая дороги», а на вершине решил сесть и подумать о своем горе и обиде и, сам того не заметив, уснул. И очутился во власти фей.

А расстроился он по пустякам: повздорил с девушкой из Клэптон-хилла, своей невестой. Дочь фермера, рассказывал Скелмерсдейл, из «очень почтенной семьи» — словом, прекрасная для него пара. Но и девица и поклонник были слишком молоды и, как всегда бывает в этом возрасте, ревнивы, нетерпимы до крайности, полны безрассудного стремления искать в другом одни лишь совершенства — жизнь и опыт, к счастью, быстро от этого излечивают. Почему, собственно, они поссорились, я не имею представления. Может быть, она сказала, что любит, когда мужчины носят гетры, а он в тот день гетры не надел, а может, он сказал, что ей другая шляпка больше к лицу,— словом, как бы эта ссора не началась, она перешла в нелепую перебранку и закончилась колкостями и слезами. И, наверное, он совсем сник, когда она, вся заплаканная, удалилась, наградив его обидными сравнениями, сказав, что вообще никогда его не любила и что уж теперь-то между ними все кончено. Вот этой ссорой были заняты его мысли, и в горестном раздумье он поднялся на Олдингтонский Бугор, долго сидел там, пока неизвестно почему его не сморил сон.

Проснулся он на необычно мягкой траве — никогда раньше такой не видывал,— в тени густых деревьев, их листва заслонила небо. Вероятно, в стране фей неба вообще не бывает видно. За все время, что мистер Скелмерсдейл там провел, он единственный раз увидел звезды в ту ночь, когда феи танцевали. И мне думается, вряд ли это было в самой стране фей, скорее они водили свои хороводы в поросшей тростником низине, неподалеку от Смизской железнодорожной ветки.

И все же под сенью этих развесистых деревьев было светло, среди листвы и в траве поблескивали бесчис-

ленные светлячки, мелкие и очень яркие. Мистер Скелмерсдейл превратился в совсем крошечного человечка — это было первое, что он осознал, а потом он увидел вокруг целую толпу созданий, которые были еще меньше, чем он. Он рассказывал, что почему-то совсем не удивился и не испугался, сел поудобнее в траве и протер глаза. А вокруг толпились веселые эльфы — он заснул у них во владениях, и они утащили его в страну фей.

Я так и не смог добиться, какие они из себя, эти эльфы: язык у мистера Скелмерсдейла бедный, невыразительный, наблюдательности никакой — он почти не запомнил мелких подробностей. Одеты они были во что-то очень легкое и прекрасное, но это не были ни шелк, ни шерсть, ни листья, ни цветочные лепестки. Эльфы стояли вокруг, ждали, пока он совсем проснется, а вдоль прогалины, как по аллее, озаренной светлячками, шла к нему со звездой во лбу Царица фей, главная героиня его воспоминаний и рассказов. Кое-что о ней мне все-таки узнать удалось. На ней было прозрачное зеленое одеяние, тонкую талию охватывал широкий серебряный пояс. Вьющиеся волосы были откинуты со лба, и не то чтобы она была растрепана, но кое-где выбивались непослушные прядки, голову украшала маленькая корона с одной-единственной звездой. В прорезях рукавов иногда мелькали белые руки, и у ворота, наверное, платье слегка открывало точеную шею, красоту которой он мне все описывал. Шею обвивало коралловое ожерелье, на груди был кораллово-красный цветок. Округлые, как у ребенка, щеки и подбородок, глаза карие, блестящий и ясный, искренний и нежный взгляд из-под прямых бровей. Мистер Скелмерсдейл запомнил все эти подробности — можете себе представить, как глубоко врезался ему в память образ красавицы. Кое-что он пытался выразить, но не сумел. «Ну, вот как-то так она ходила»,— повторил он несколько раз, и я представил себе ее движения, излучавшие сдержанную радость.

И с ней, с этим восхитительным созданием, отправился мистер Скелмерсдейл, желанный гость и избранник, по самым сокровенным уголкам страны фей. Она встретила его приветливо и ласково — слегка, должно

быть, пожала ему руку обеими руками, обратив к нему сияющее лицо. Ведь лет десять назад, юношей, мистер Скелмерсдейл был, видимо, совсем недурен собой. И потом, наверное, повела его прогалиной, которая вся искрилась огнями светлячков.

Из маловразумительных и невнятных описаний мистера Скелмерсдейла трудно было понять, где он побывал и что видел. Бледные обрывки воспоминаний смутно рисуют какие-то необычайные уголки и забавы, лужайки, где собиралось вместе множество фей, «мухоморы, от них такой шел свет розоватый», диковинные яства — он только и мог про них сказать: «Вот бы вам отведать!»,— волшебные звуки «вроде как из музыкальной шкатулки», которые издавали, раскачиваясь, цветы. Была там и широкая лужайка, где феи катались верхом и носились друг с другом наперегонки «на букашках», однако трудно сказать, что подразумевал мистер Скелмерсдейл под «букашками»: каких-то личинок, быть может, или кузнечиков, или мелких жучков, которые не даются нам в руки. В одном месте плескался ручей и цвели огромные лютики, там феи купались все вместе в жаркие дни. Кругом в чаще мха резвились, танцевали, ласкали друг друга крошечные создания. Нет сомнения, что Царице фей мистер Скелмерсдейл очень полюбился, нет сомнений и в том, что сей юноша решительно вознамерился устоять перед искушением. И вот пришло такое время, когда, сидя с ним на берегу реки, в тихом и укромном уголке («фиалками там здорово пахло»), она призналась ему в любви.

— Голос у нее стал тихий-тихий, шепчет что-то, взяла меня, знаете, за руку и подсела поближе, и такая ласковая и славная, я прямо чуть совсем голову не потерял.

Похоже, что, к несчастью, он слишком долго не терял головы. Благоухали фиалки, пленительная фея была с ним рядом, но мистер Скелмерсдейл понимал, как он выразился, «куда ветер дует», и поэтому деликатно намекнул, что у него есть невеста.

А фея перед тем говорила ему, что нежно его любит, что среди других пареньков, его товарищей, он ей милее всех и, что бы он ни попросил, все она исполнит — даже самое заветное его желание.

Мистер Скелмерсдейл, который, должно быть, упорно отводил взгляд от ее губок, произносивших эти слова, сказал, что ему бы не помешал небольшой капиталец — он хочет открыть свою собственную лавку. Могу себе представить слегка удивленное выражение ее карих глаз, о которых он столько мне говорил, но она, видимо, все поняла и стала подробно расспрашивать, какая у него будет лавка, «и этак посмеивалась» все время. Вот и пришлось сказать правду о помолвке и о невесте.

— Все как есть? — спросил я.

— Все, —отвечал мистер Скелмерсдейл.— И кто такая, и где живет, и все вообще без утайки. Словно что меня заставило говорить, правда.

— Все тебе будет, что ни попросишь,— сказала Царица фей.— Считай, что твое *желание выполнено*. И непременно будут у тебя деньги, раз ты этого хочешь. А теперь вот что: ты должен меня поцеловать.

Мистер Скелмерсдейл притворился, что не слышал ее последних слов, и сказал, что она очень добрая. И что он даже не заслужил такой доброты. И...

Царица фей вдруг придвинулась к нему еще ближе и шепнула: «Поцелуй меня!»

— И я, дурак набитый, послушался,— сказал мистер Скелмерсдейл.

Поцелуи, как я слыхал, бывают разные, и этот совсем, наверное, не походил на звучные проявления нежности, которые ему дарила Милли. В этом поцелуе было что-то колдовское, и, безусловно, с той минуты все переменилось. Во всяком случае, об этом событии он рассказывал подробнее всего. Я пытался вообразить, как это было на самом деле, воссоздавал в уме эту волшебную картину из путаницы намеков и жестов, но разве могу я описать, какой мягкий свет пробивался сквозь листву, как все вокруг было прекрасно, удивительно, как волнующе и таинственно молчал сказочный лес. Царица фей снова и снова расспрашивала его о Милли: и какая она и очень ли красивая — все ей надо было знать подробнее. Кажется, на вопрос, хороша ли собой Милли, он ответил «ничего себе». А затем после одного такого разговора фея поведала ему, что, когда он спал при свете луны, она увидела его и влюбилась, и как его

унесли к ним, в страну фей, и она мечтала, не зная ничего о Милли, что, может быть, и он полюбит ее. Но раз уж ты любишь другую, сказала она, то побудь со мной хоть немного, а потом ты должен возвратиться к своей Милли. Она так говорила, а Скелмерсдейл уже был во власти ее чар, но с присущим ему тугодумием все не мог отрешиться от прежнего. Воображаю, как он сидел в странном оцепенении среди этой невиданной красоты и все твердил про Милли и про лавку, которую он заведет, и что нужна лошадь и тележка... И, должно быть, много дней тянулась эта канитель. Я так и вижу — крошечная волшебница не отходит от него ни на шаг, все старается его развлечь, она слишком беспечна, чтобы понять, как тяжко ему приходится, и слишком полна нежности, чтобы его отпустить. А он, понимаете, следует за ней по пятам, настолько поглощенный удивительным новым чувством, что ничего вокруг не замечает, а между тем земные заботы по-прежнему владеют им. Трудно, пожалуй, невозможно передать словами лучезарную прелесть маленькой феи, светившуюся в корявом и сбивчивом рассказе бедняги Скелмерсдейла. Мне по крайней мере она сияла чистым блеском сквозь сумбур неуклюжих фраз, как светлячок в спутанной траве.

А тем временем прошло, должно быть, немало дней, и он многое видел — и один раз, как я понял, феи даже танцевали при лунном свете, водили хороводы по всей лужайке возле Смиза,— но вот всему пришел конец. Она привела его в большую пещеру, «такой там красный ночник горел» и громоздились один на другом сундуки, сверкали кубки и золотые ларцы и — тут мистер Скелмерсдейл никак не мог ошибиться — высились горы золотых монет. Маленькие гномы хлопотали среди этих сокровищ, они поклонились и отступили в сторону. Царица фей обернулась к нему, и глаза ее заблестели.

— Ну вот,— сказала она,— ты такой славный, так долго со мною пробыл, и пора уж тебя отпустить. Ты должен вернуться к своей Милли. Ты должен вернуться к своей Милли, а я свое обещание не забыла, сейчас тебе дадут золота.

— Она словно бы задохнулась,— рассказывал мистер Скелмерсдейл.— А я чувствую,— он коснулся груди,—

будто все у меня тут замерло. Бледнею, дрожу, а сказать ничего не могу, нечего мне сказать.

Он помолчал.

— А потом? — спросил я.

Описать эту сцену было ему не под силу. Я узнал только, что на прощание она его поцеловала.

— И вы ничего не сказали?

— Ничего,— отвечал он.— Стоял, как теленок. Она лишь разок обернулась, улыбается словно и плачет — мне видно было: глаза блестят, а потом пропала, а вся эта мелюзга забегала вокруг меня, и суют мне золото в руки, и в карманы, и за шиворот.

И лишь когда Царица фей исчезла, мистер Скелмерсдейл все понял и осознал. Он вдруг стал отшвыривать золото, которым его осыпали, и закричал, что ему ничего не надо. «Не нужно мне вашего золота,— говорю.— Я не ухожу. Я останусь. Хочу с вашей госпожой еще раз поговорить». Кинулся было за ней, а они меня не пускают. Да, упираются мне в грудь ручонками, толкают назад. И все суют и суют мне золото, из рук уж падает, из карманов высыпается.

— Не нужно мне золота,— говорю им.— Мне бы только вашей госпоже еще хоть словечко сказать.

— И удалось вам с ней поговорить?

— Куда там, драка началась.

— Так ее больше и не увидели?

— Не пришлось. Когда их расшвырял, уже ее не было.

И он кинулся ее искать — из этой пещеры, залитой красным светом, по длинному сводчатому переходу, пока не очутился посреди мрачной и унылой пустоши, где роились блуждающие огни. А вокруг, насмехаясь, плясали эльфы, и гномы из пещеры мчались за ним по пятам с руками, полными золота, они швыряли ему золото вслед и кричали: «Прими от феи ласку! Прими от феи злато!»

Когда он услышал эти слова, его охватил страх, что все кончено, и он стал громко звать ее по имени, вдруг пустился бежать от входа в пещеру вниз по склону, продираясь сквозь боярышник и терновник, и все громко звал ее и звал. Эльфы плясали вокруг, щипали его, царапали — он ничего не замечал, и блуждающие огни ви-

лись над головой, кидались ему в лицо, а гномы неслись следом и кричали: «Прими от феи ласку! Прими от феи злато!» Он бежал, и за ним гналась эта странная орава, сбивала его с пути, он то проваливался по колено в болото, то спотыкался о сплетенные толстые корни и вдруг зацепился ногой за один из них и упал.

Упал ничком, перевернулся на спину — и в тот же миг увидел, что лежит на Олдингтонском Бугре и вокруг ни души — лишь звезды над головой.

По его словам, он тут же сел, чувствуя, что продрог, все тело затекло, а одежда намокла от росы. Занимался бледный рассвет, повеяло холодным ветерком. Он было подумал, что все это ему пригрезилось в каком-то небывало ярком сне, но сунул руку в карман и увидел, что карман набит золой. Сомневаться не приходилось — это волшебное золото, которым его одарили. Он чувствовал, что весь исщипан, исколот, хотя на нем не было ни царапины. Таким было внезапное возвращение мистера Скелмерсдейла из страны фей в этот мир, где обитают люди. Ему казалось, что прошла одна только ночь, но, вернувшись в лавку, он обнаружил, что, к всеобщему изумлению, пропадал целых три недели.

— Господи! И намучился я тогда!

— Почему?

— Объяснять нужно было. Вам, думаю, ни разу не приходилось объяснять такое.

— Ни разу,— сказал я.

Он некоторое время бубнил о том, кто и как себя вел. Лишь одного имени не упомянул.

— А Милли? — спросил я наконец.

— Мне, по правде, и видеть ее не хотелось,— последовал ответ.

— Она, должно быть, изменилась?

— Все изменились. Навсегда изменились. Такие стали здоровенные, неуклюжие. И вроде очень горластые. А когда утром солнце, бывало, встанет, так мне аж глаза резало.

— Ну, а Милли?

— И видеть-то ее не хотелось.

— А когда увидели?

— Она мне повстречалась в воскресенье, из церкви шла. «Ты где пропадал?» — спрашивает, а я гляжу —

быть ссоре. Мне-то было наплевать, пусть ссора. Я вроде ее и не замечаю, хоть она тут рядом и говорит со мной. Словно ее и нет. Сообразить не мог, чем это она мне раньше приглянулась. Иногда, если подолгу ее не видел, будто возвращалось старое. А когда увижу, тут словно та, другая придет и заслонит ее... Ну, да и Милли не очень-то убивалась.

— Вышла замуж? — спросил я.

— За двоюродного брата,— ответил мистер Скелмерсдейл и некоторое время пристально изучал узор на скатерти.

Когда он снова заговорил, было ясно, что от первой любви не осталось и следа, наша беседа вновь возродила в его сердце образ Царицы фей. Он опять принялся говорить о ней. Он открыл мне необычайные секреты, странные любовные тайны — повторять их было бы предательством. И вот что казалось мне самым поразительным во всей этой истории: сидит маленький франтоватый приказчик из бакалейной лавки, рассказ его окончен, на столе перед ним рюмка виски, в руке сигара — и от него ли я слышу горестные признания, пусть теперь уже и притупилась эта боль, о безысходной тоске, о сердечной муке, которая терзала его в те дни?..

— Не ел,— рассказывал он.— Не спал. В заказах ошибался, сдачу путал. Все о ней думал. И так по ней тосковал! Так тосковал! Все там пропадал, чуть не каждую ночь пропадал на Олдингтонском Бугре, часто и в дождь. Брожу, бывало, по Бугру, снизу доверху облазал, кличу их, прошу, чтобы пустили. Зову. Чуть не плачу. Ополоумел от горя. Все повторял, что, мол, виноват. А по воскресеньям и днем туда лазал и в дождь и в вёдро, хоть и знал не хуже вашего, что ничего днем не выйдет. И еще старался там уснуть.

Он неожиданно замолчал и отхлебнул виски.

— Все старался там уснуть,— продолжал он, и, готов поклясться, у него дрожали губы.— Сколько раз хотел там уснуть. И, знаете, сэр, не мог — ни разу. Я думал: если там усну, может, что и выйдет... Но сижу ли там, бывало, лягу ли — не заснуть, думы одолевают и тоска. Тоска... А я все хотел...

Он тяжело вздохнул, залпом допил виски, неожиданно поднялся и, пристально и неодобрительно раз-

глядывая дешевые олеографии на стене у камина, стал застегивать пиджак. Маленький блокнот в черной обложке, куда он заносил ежедневно заказы, выглядывал у него из нагрудного кармана. Он застегнулся на все пуговицы, похлопал себя по груди и вдруг обернулся ко мне.

— Ну,— сказал он,— пойду.

Во взгляде, во всем его облике сквозило что-то такое, чего он не мог передать словами.

— Заговорил вас совсем,— промолвил он уже в дверях, слабо улыбнулся и исчез с моих глаз.

Такова история приключений мистера Скелмерсдейла в стране фей, как он сам мне ее рассказал.

1903

НОВЕЙШИЙ УСКОРИТЕЛЬ

Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю профессору Гибберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гибберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем Гибберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат и теперь просто опишу его действие на мой организм — так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений.

Мы с профессором Гибберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов, и в молодости и в зрелом возрасте, были помещены в журнале «Стрэнд», кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гибберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское.

Профессор Гибберн живет на Аппер-Сэндгейт-роуд, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика

островерхая, во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гибберна смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гибберн — большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание «Новейшего ускорителя». Разумеется, большую часть опытов Гибберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой, прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый и обосновался.

Как известно, если не всем, то уж образованным-то людям, во всяком случае, Гибберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему, говорят, нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные им маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области.

В последние годы, еще до открытия «Новейшего ускорителя», Гибберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по крайней мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп «Б» д-ра Гибберна» сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье.

— Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют,— сказал он мне однажды около года назад.— Все эти препараты либо подхлестывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних ор-

ганов, но притупляют мозг; другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь — и добьюсь, вот увидите! — такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два... даже в три раза против нормы. Да! Вот чего я ищу!

— Это подействует на организм изнуряюще,— заметил я.

— Безусловно! Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю! Представьте себе пузырек... ну, скажем, такой,— он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам,— и в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать.

— Неужели это достижимо?

— Надеюсь, что да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Ладно! Пусть подействует только в полтора раза — и то хорошо!

— И то хорошо! — согласился я.

— Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься.

— Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря.

— И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу...

— Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее.

— Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат. Или готовитесь к экзаменам...

— Да с таких по гинее за каждую каплю вашего препарата! — воскликнул я.— Если не дороже!

— Или, скажем, дуэль, — продолжал Гибберн.— Когда все зависит от того, кто первый спустит курок.

— Или фехтование,— подхватил я.

— Если мне удастся сделать этот препарат универсальным,— сказал Гибберн,— вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы...

— А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно...— в раздумье начал я.

— Это уж как решат секунданты,— заявил Гибберн.

Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы.

— И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?

— Совершенно уверен,— сказал Гибберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом.— Вот изобрели же автомобиль! Собственно говоря...

Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком.— Собственно говоря, я такой состав знаю... Кое-что уже сделано...

По той нервной усмешке, с какой Гибберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу.

— И, может быть... может быть, мой препарат будет ускорять даже больше чем вдвое.

— Это грандиозно,— сказал я не очень уверенно.

— Да, грандиозно.

Но мне кажется, тогда Гибберн и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия.

Помню, мы несколько раз возращались к этому разговору. И с каждым разом Гибберн говорил о «Новейшем ускорителе» — так он назвал свой препарат — все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его «Ускоритель» каких-либо непредвиденных физиологических последствий; потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела.

— Это — открытие! — говорил Гибберн.— Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высóты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на десять. В конце концов почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники!

Мой интерес к новому изобретению Гибберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гибберн готовит нам не больше

и не меньше, как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом: дни его будут насыщены до предела, но к одиннадцати годам он достигнет зрелости, в двадцать пять станет пожилым, а в тридцать уже ступит на путь к дряхлости. Следовательно, думал я, Гибберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока: ведь в тринадцать-четырнадцать лет они совсем взрослые люди, к пятидесяти старики, а мыслят и действуют быстрее нашего.

Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить; могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку; могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие! А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо! Но Гибберна такие мысли мало занимали: он был весь поглощен технологией своего изобретения.

И вот седьмого или восьмого августа — время бежало быстро — профессор Гибберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение, а десятого все было закончено, и «Новейший ускоритель» стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сэндгейт-хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его — он спешил ко мне, поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки.

— Готово! — крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро.— Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами.

— Неужели правда?

— Правда! — воскликнул Гибберн.— Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!

— И ускоряет... вдвое?

— Больше, гораздо больше. Мне даже страшно. Да вы посмотрите. Попробуйте его сами! Испытайте на себе! В жизни ничего подобного не было! — Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить,

потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей.

Стоял один их тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, все контуры — необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде.

— Неужели слишком быстро? — удивился Гибберн и перешел с рыси на маршевый шаг.

— Вы что, уже приняли свое лекарство? — еле выговорил я.

— Нет,— ответил он.— Только выпил воды из той мензурки, самую капельку... Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу. Но это — дело прошлое.

— И ускоряет вдвое? — спросил я, весь в поту подходя к его дому.

— В тысячу раз, во много тысяч раз! — выкрикнул Гибберн, театральным жестом распахивая настежь резную — в стиле Тюдоров — калитку своего садика.

— Фью! — свистнул я и последовал за ним.

— Я даже не могу установить точно, во сколько раз,— продолжал он, вынимая из кармана ключ.

— И вы...

— Это проливает новый свет на физиологию нервной системы, это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений... Одному богу известно, во сколько раз. Мы займемся этим позднее... А сейчас надо испробовать на себе.

— На себе? — переспросил я, идя за ним по коридору.

— Непременно! — сказал Гибберн уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. — Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы боитесь?

Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь.

— Значит, вы пробовали? — Я старался оттянуть время.

— Пробовал,— ответил Гибберн.— И, кажется, нисколько не пострадал от этого. Правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие...

Я сел в кресло.

— Дайте мне ваше зелье,— сказал я.— На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?

— С водой,— ответил Гибберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин.

Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки.— Это препарат не совсем обычный,— сказал он.

Я махнул рукой.

— Прежде всего должен вас предупредить: как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться.

— Есть! — сказал я.— Зажмурюсь.

— Далее: сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы и не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность.

— Боже мой! — воскликнул я.— Значит...

— Сейчас увидите,— сказал Гибберн, беря мензурку, и обвел взглядом письменный стол.— Стаканы, вода. Все готово. На первый раз нальем поменьше.

Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку.

— Не забудьте, что я вам говорил,—сказал Гибберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски.— Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную непод-

вижность в течение двух минут. Я скажу, когда можно открыть.

Он добавил в оба стакана немного воды.

— Да, вот еще что! Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так... Правильно. А теперь...

Он поднял свой стакан.

— За «Новейший ускоритель»! — сказал я.

— За «Новейший ускоритель»!—подхватил Гибберн, и мы чокнулись, выпили, и я тотчас же закрыл глаза.

Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гибберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гибберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.

— Ну? — сказал я.

— Ничего особенного не чувствуете?

— Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение. А больше ничего.

— Звуки?

— Тишина,—ответил я.—Да! Честное слово, полнейшая тишина! Только где-то кап-кап... точно дождик. Что это такое?

— Звуки, распавшиеся на свои элементы,— пояснил Гибберн.

Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.

Он повернулся к окну.

— Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?

Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.

— Нет, не случалось,— ответил я.— Что за странность!

— А это? — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан.

Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности.

— Грубо говоря,— сказал Гибберн,— в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду

футов шестнадцать. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом — из расчета шестнадцать футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего «Ускорителя».— И Гибберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана, потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся.

— Ну-с?

— Недурно, — сказал я, осторожно поднимаясь с кресла.

Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист, с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища.

— Гибберн! — вырвалось у меня.— Сколько времени действует ваше зелье?

— Одному богу известно! — ответил он.— Последний раз я, доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. На сколько времени его хватит, не знаю, наверно, на несколько минут, а минуты кажутся часами. Но вообще-то сила действия начинает спадать довольно резко.

С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха... может быть, потому, что был не один.

— А что, если нам пойти погулять? — предложил я.

— И в самом деле!

— Но нас увидят.

— Что вы! Что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идем! Как вы предпочитаете: в окно или в дверь?

И мы выскочили в окно.

Из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулочка по Фолкстону в обществе профессора Гибберна после приема «Новейшего ускорителя» была самым

странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь.

Мы выбежали из садика Гибберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора (он, видимо, собирался зевнуть) чуть заметно двигались, но кузов этого неуклюжего рыдвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные одиннадцать человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов! Девушка и молодой человек, улыбаясь, делали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки; женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гибберна; мужчина закручивал ус — ни дать ни взять восковая фигура в музее, а его сосед протянул окостеневшую руку и растопыренными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу.

Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.

— Бог мой! — вдруг воскликнул Гибберн. — Посмотрите-ка!

Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток — кто бы вы думали? — пчела!

И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который под-

скочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.

— Смотрите, смотрите! — крикнул Гибберн. Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание — если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы,— вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока.

— Отныне,— заявил я,— если господь бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать.

— А также и улыбаться,— подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам.

— Однако становится невыносимо жарко,— сказал я.— Давайте убавим шаг.

— А-а, бросьте! — крикнул Гибберн.

Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть. Апоплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я преисполнился чувства собственного превосходства. Вы только представьте себе! Ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как «Новейший ускоритель» проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю секунды!

— Ваш препарат...— начал было я, но Гибберн перебил меня.

— Вот она, проклятая старуха!

— Какая старуха?

— Моя соседка,—сказал Гибберн.—А у нее болонка, которая вечно лает. Нет! Искушение слишком велико!

Гибберн — человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело! Собачонка, которую, кроме нас, никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни — даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гибберн держал ее за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка.

— Гибберн! — крикнул я.— Отпустите ее! — И добавил еще кое-что. Потом снова воззвал к нему: — Гибберн, стойте! На нас все загорится. Смотрите, брюки уже тлеют.

Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.

— Гибберн! — продолжал я, настигая его.— Отпустите собачонку. Бегать в такую жару! Ведь мы делаем две-три мили в секунду. Сопротивление воздуха! — заорал я.— Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся. Как метеориты! Все раскалилось! Гибберн! Гибберн! Я весь в поту, у меня зуд во всем теле. Смотрите, люди оживают. Ваше зелье перестает действовать. Отпустите наконец собаку!

— Что?

— «Ускоритель» перестает действовать! — повторил я.— Мы слишком разгорячились. Действие «Ускорителя» кончается. Я весь взмок.

Гибберн посмотрел на меня. Перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвилась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гибберн схватил меня за локоть.

— Черт возьми! — крикнул он.— Вы правы. Зуд во всем теле и... Да! Вон тот человек вынимает носовой платок. Движение совершенно явственное. Надо убираться отсюда, и как можно скорее.

Но это было уже не в наших силах. И, может статься, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться не-

чего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гибберном сдвинуться с места, как действие «Ускорителя» прекратилось—мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гибберна: «Садитесь!» — и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте и по сию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение кончилось. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию, гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда, газеты и флажки затрепетали на ветру, вслед за улыбками послышались слова, франт в соломенной панаме кончил свое подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше; те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили.

Мир снова ожил и уже не отставал от нас, вернее, мы перестали обгонять его. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я почувствовал приступ тошноты... и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гибберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам!

Это и спасло нас с Гибберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул при виде нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшей его сиделке. Раз! Вот и мы! Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде! Все повскакали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там

все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружение и общую растерянность, мы с Гибберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью «Надзиратель».

— Ах, не вы швырнули собаку? — бушевал он.— Тогда кто же?

Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также, вполне понятно, опасения за самих себя (одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гибберна превратились из белых в темно-бурые) помешали мне заняться наблюдениями. Вообще на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Пчелы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сэндгейт-роуд, я поискал глазами велосипедиста, но то ли он успел укатить, то ли его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди.

Добавлю еще, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног.

Таковы были результаты моего первого знакомства с «Новейшим ускорителем». По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во время нее, заняли две-три секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь два такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и главным образом опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее: Гибберну придется еще немало потрудиться над своим «Ускорителем», прежде чем он ста-

нет годным для употребления, но эффективность его несомненна — тут придраться не к чему.

После наших с ним приключений Гибберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат, и мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы «Новейшего ускорителя» под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дому в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ (вот вам пример действия «Ускорителя») написан мною за один присест. Я отрывался от работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в шесть часов двадцать пять минут вечера, а сейчас на моих часах тридцать одна минута седьмого. Не передашь словами, какое это удобство — вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе!

Теперь Гибберн занят вопросом дозировки «Ускорителя» в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и «Замедлитель», с тем чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. «Замедлитель», разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам «Ускорителя». Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть, наподобие ледника, в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении.

Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от «Покровов времени», о которых писал Карлейль. «Ускоритель» поможет нам сосредоточиваться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей, а «Замедлитель» дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий «Замедлитель», но что касается «Ускорителя», то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в хорошо усваиваемом, удобном для пользования разведении — дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но,

принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы. Патент д-ра Гибберна», и Гибберн надеется выпустить его трех степеней ускорения: 1 : 200, 1 : 900 и 1 : 2 000,— чему будут соответствовать разноцветные этикетки — желтая, розовая и белая.

С помощью «Ускорителя» можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей, ибо и самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильно действующее средство, «Новейший ускоритель» не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гибберном пришли к выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача — изготовить и продавать «Ускоритель», а что из этого выйдет — посмотрим.

1903

КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ЛЕДБЕТТЕРА

Мой друг мистер Ледбеттер — круглолицый маленький человек; сияние его кротких от природы глаз прямо-таки ослепляет, когда он смотрит на вас через толстые стекла своих очков; у него низкий голос и неторопливая речь, раздражающая раздражительных людей. Став приходским священником, мистер Ледбеттер сохранил две привычки, приобретенные в ту пору, когда он был еще школьным учителем: манеру говорить слишком размеренно и четко, а также довольно беспокойное стремление быть твердым и прямолинейным во всех решительно случаях жизни. Он клерикал и шахматист, и над ним тяготеет подозрение, что он дает частные уроки высшей математики — занятие скорее похвальное, нежели прибыльное. Он словоохотлив, и речь его изобилует ненужными подробностями. Поэтому многие избегают разговоров с ним, считая его «надоедой», и даже своеобразно льстят мне, интересуясь, чего ради я знаюсь с ним. С другой стороны, еще больше людей дивится тому, что он водит знакомство с таким беспутным и сомнительным субъектом, как я. Лишь немногие равнодушно взирают на нашу дружбу. Однако никто из них не знает толком, что же нас связывает и какая мне выпала роль в прошлом мистера Ледбеттера, когда тот был на Ямайке.

Вспоминая об этом своем прошлом, он проявляет прямо-таки пугающую скромность. «Ума не приложу, что мне делать, если все откроется,— обычно говорит он и трагически повторяет: — Ума не приложу, что мне делать». Сомневаюсь, впрочем, что он мог бы что-нибудь

сделать — разве только покраснеть до самых ушей. Однако все это случилось позже; умолчу сейчас и о первой нашей случайной встрече, ибо, как полагается, концу рассказа место в конце, а не в начале, хотя сам я частенько нарушаю это правило. А началось это давным-давно; да, прошло около двадцати лет с тех пор, как Судьба хитроумным и удивительным образом толкнула мистера Ледбеттера, если можно так выразиться, прямо в мои объятия.

Я жил тогда на Ямайке, а мистер Ледбеттер учительствовал в школе, в Англии. Он был духовной особой и внешне выглядел совершенно так же, как теперь: та же круглая физиономия, те же или точно такие же очки, та же легкая тень изумления на безмятежном лице. Правда, когда мы встретились впервые, он смахивал на оборванца, а воротничок его — на мокрую тряпку; возможно, именно это и помогло нам сблизиться, но об этом, повторяю, позже.

Вся эта история началась в приморском городке Хизергейте, куда мистер Ледбеттер приехал на летние каникулы, чтобы вкусить долгожданный отдых. Он привез с собой блестящий коричневый чемодан с монограммой «Ф. У. Л.», новую, белую с черным соломенную шляпу и две пары белых фланелевых брюк. Понятно, что по случаю обретенной свободы настроение у него было превосходное: он не очень-то жаловал школу и своих учеников. После обеда с ним завязал разговор какой-то болтливый субъект — сосед по пансиону, где он остановился по совету своей тетушки. Кроме этого болтуна и его самого, других мужчин в доме не было. Их беседа вертелась вокруг массы вопросов: прискорбного исчезновения чудес и приключений в наши дни, популярности кругосветных путешествий, сокращения расстояний с помощью пара и электричества, безвкусицы рекламы, вырождения людей под влиянием цивилизации и еще многого другого. Особенно цветисто разглагольствовал этот субъект о том, что человеческая храбрость идет на убыль из-за того, что люди привыкли чувствовать себя в безопасности, и к оплакиванию этого несчастья довольно необдуманно присоединился мистер Ледбеттер. Первый восторг свободы от «служебных обязанностей» ослепил его, и, не желая ударить лицом в грязь на холостяцкой пирушке, он от-

ведал куда больше, чем следовало, отличного виски, предложенного ему болтуном. Однако он настаивает, что отнюдь не охмелел.

И хотя он стал красноречивее обычного, его суждения не блистали остроумием. И после затянувшейся беседы о героическом прошлом, исчезнувшем навеки, он в полном одиночестве побрел в ярко освещенный луной Хизергейт и стал подниматься по крутой дороге, вдоль которой теснились виллы.

Душа его была полна скорби, и, шагая по пустынной дороге, он продолжал оплакивать судьбу, обрекшую его на серую жизнь школьного учителя. Какое он влачил прозаическое существование — такое затхлое, такое бесцветное! Тихая, мирная жизнь, одно и то же из года в год — где уж тут взяться храбрости! Он с завистью думал о бурных днях средневековья — таких близких и таких далеких, о допросах, шпионах и кондотьерах и о схватках не на жизнь, а на смерть. И внезапно его пронзило сомнение, странное сомнение: оно выплыло из какой-то случайной мысли о пытках и грозило разрушить настроение, которому он поддался в тот вечер.

А был ли он, мистер Ледбеттер, действительно так уж храбр, как ему казалось? И так ли уж было бы ему приятно, исчезни вдруг с лица земли железные дороги, полисмены и его собственная безопасность?

Болтун с завистью толковал о преступлениях. «На свете остался только один настоящий искатель приключений,— говорил он,— это грабитель. Подумайте только: он один на один против всего цивилизованного мира». И мистер Ледбеттер поддакивал, разделяя его зависть. «Они-то знают толк в жизни! — восклицал мистер Ледбеттер.— Кто еще может похвалиться этим? Вот бы попробовать!» И он озорно рассмеялся. Теперь, углубившись в самоанализ, он обнаружил, что хочет знать, есть ли разница между его храбростью и храбростью рядового преступника. Он решил, не раздумывая, ринуться навстречу этой предательской проблеме. «Я не прочь проделать все это,— сказал он.— Ведь меня так и тянет. Просто я не даю ходу своим преступным наклонностям. Меня сдерживает душевная стойкость». Однако, даже убеждая себя в этом, он все-таки сомневался.

В это время мистер Ледбеттер проходил мимо боль-

шой виллы, стоявшей в стороне от других. Над прочным широким балконом виднелось окно — оно было распахнуто настежь и зияло темнотой. В ту минуту он и не взглянул на него, но вид этого окна твердо запомнился ему и врезался в его мозг. Ему представилось, как, сжавшись в комок, он карабкается на этот балкон и ныряет в загадочную тьму комнаты. «Э, куда тебе!» — сказал дух сомнения. «Мне запрещает это мой долг по отношению к моим собратьям»,— сказало чувство собственного достоинства.

Время шло к одиннадцати часам, и приморский городок уже затих. Казалось, луна усыпила всех. Только где-то далеко внизу неяркая полоска света между шторами напоминала о том, что кое-кто еще бодрствует. Он повернулся и медленно побрел обратно, к вилле с открытым окном. Некоторое время он стоял у калитки: его раздирали противоречия. «А ну, посмотрим, на что ты способен,— сказало сомнение.— Докажи, что осмелишься войти в этот дом, и все разрешится само собой. Соберись с духом и соверши кражу просто так. В конце концов разве это преступление?» Он беззвучно открыл и притворил за собой калитку и скользнул в тень кустарника. «Глупо»,— сказала осторожность мистера Ледбеттера. «Этого надо было ожидать»,— промолвило сомнение. Сердце его сильно билось, но, конечно, он ничуть не боялся. Нет, он ни чуточки не боялся! Он простоял в этих кустах довольно долго.

Ясно, что атака на балкон должна быть стремительной: луна светила ярко, и с улицы его мог увидеть любой. Зато даже ребенок взобрался бы на балкон по шпалере, обвитой худосочными, но честолюбиво стремящимися вверх розочками. Там можно было укрыться в густой тени алебастровой вазы с цветами и поближе рассмотреть открытое окно — эту зияющую брешь в защитных укреплениях дома. На мгновение мистер Ледбеттер замер, подобно самой ночи, а потом коварное виски перетянуло чашу весов. Он ринулся вперед. Быстро, судорожно вскарабкался по шпалере, перекинул ноги через парапет и, пыхтя, присел в тени — все, как он и наметил. Он задыхался, дрожал, сердце колотилось, но душа его ликовала. Он готов был заорать во всю мочь от восторга, что не струсил.

Пока он там отсиживался, ему пришла в голову удачная строчка из «Мефистофеля» Уиллса. «Я чувствую себя котом на крыше»,— прошептал он. Сверх его ожиданий это забавное приключение окончилось благополучно. Он даже посочувствовал тем несчастным, которым неведомо воровство. Все в порядке. Он в полной безопасности. И показал себя молодцом!

А теперь в окно, чтобы завершить задуманное! Стоит ли рисковать? Окно это находилось над входной дверью, и, по всей вероятности, за ним была лестничная площадка или коридор; он не заметил ни зеркал, ни других признаков спальни, и вообще на первом этаже окон больше не было — значит, никакой опасности сразу же наткнуться на спящего нет. Сначала он сидел под окном, прислушиваясь, потом заглянул внутрь. И вздрогнул — около самого окна на пьедестале стояла бронзовая статуя почти с него ростом, с распростертыми руками. Он быстро пригнулся, потом заглянул снова. На другом конце коридора виднелась широкая, слабо освещенная лестничная площадка; окно рядом было задернуто тонким занавесом из очень черных граненых бусин; широкая лестница шла вниз, в темноту, и другая — на второй этаж. Он мельком огляделся, но ничто не нарушало ночного покоя. «Преступление,— шептал он,— преступление»,— и бесшумно, быстро перемахнул через подоконник. Ноги его неслышно утонули в медвежьей шкуре. Да, сомнений нет, он настоящий грабитель!

Он присел на корточки, весь зрение и слух. В саду послышалась какая-то беготня и шорох, и он чуть было не раскаялся в своем предприятии. Короткое «мяу», фырканье и прыжки убедили его, что там кошки. Он окончательно расхрабрился. Выпрямился. Вероятно, все уже спят. Кража со взломом—что может быть легче! Он был доволен, что наконец решился. Ему захотелось прихватить с собой какой-нибудь трофей — просто, чтобы показать, что ему чужд малодушный страх перед законом,— и выбраться оттуда тем же путем.

Он огляделся, и вдруг в нем снова заговорил дух сомнения. Настоящие грабители не остановились бы на этом: они не только входят в дом, они врываются в комнаты, они взламывают сейфы. Нет, он не боится. Но он не станет взламывать сейфы, чтобы хозяева дома не

подумали о нем превратно. Но в комнаты он должен войти, надо подняться наверх. Более того, он уверил себя, что ему ничего не грозит: в доме было так тихо, будто все вымерло. Однако ему пришлось сжать кулаки и напрячь все силы, прежде чем он стал подниматься на цыпочках по темной лестнице, замирая на каждой ступеньке. Наверху была квадратная площадка, куда выходило несколько закрытых дверей и одна открытая; во всем доме стояла тишина. Он приостановился, рисуя себе, что произойдет, если кто-нибудь проснется и выйдет из комнаты. Луна за открытой дверью ярко освещала спальню, на постели белело несмятое покрывало. Туда-то он и пробрался за три минуты, показавшиеся ему вечностью, и захватил трофей — кусок мыла! Он направился к двери, чтобы спуститься еще тише, чем поднимался. Это же сущий пустяк... Тсс!..

Шаги! Треск гравия около дома, потом щелчок ключа в замочной скважине, зевок, стук захлопнувшейся двери и чирканье спички в холле внизу. И тут он оцепенел, сообразив, куда завело его безрассудство. «Как же я выкарабкаюсь, черт возьми?» — подумал мистер Ледбеттер.

В холле зажгли свечу, что-то тяжелое стукнулось о стойку для зонтиков, и по лестнице заскрипели шаги. Мистер Ледбеттер моментально понял, что отступление невозможно. На мгновение он замер — жалкая фигура кающегося грешника. «Господи боже мой! И свалял же я дурака!» — прошептал он и опрометью кинулся через темную площадку в пустую спальню, из которой только что вышел. Там он остановился и прислушался, дрожа всем телом. Шаги слышались уже на площадке между этажами.

О ужас! Вероятно, он в спальне этого полуночника! Не терять ни секунды! Мистер Ледбеттер подбежал к кровати, нагнулся, возблагодарил бога за полог, и не прошло и десяти секунд, как он заполз под него. Ни жив ни мертв, он стоял под кроватью на четвереньках. Сквозь тонкие складки полога он различил свет приближающейся свечи, тени беспорядочно заметались и замерли снова, когда свечу поставили на место.

— Ну и денек! — отдуваясь, сказал вошедший и свалил какой-то увесистый груз на стол — письменный,

как догадался мистер Ледбеттер: он видел ножки этого стола. Потом невидимка направился к двери и запер ее на ключ, тщательно проверил оконные задвижки, спустил шторы и, вернувшись обратно, рухнул на кровать всей своей тяжестью, поразившей мистера Ледбеттера.

— Ну и денек! — повторил он.— Ну и ну! — И снова запыхтел. Тут мистер Ледбеттер был склонен думать, что он утирает лицо. Мистер Ледбеттер видел его сапоги — добротные, прочные сапоги; судя по тени от его ног на пологе, он отличался редкой толщиной. Немного погодя он снял какую-то верхнюю одежду — по мнению мистера Ледбеттера, сюртук и жилет — и, бросив их на спинку кровати, стал дышать размеренней, как бы остывая. Время от времени он бормотал что-то про себя и один раз тихо рассмеялся. Мистер Ледбеттер тоже бормотал про себя, но ему было не до смеха. «Ну и маху же я дал,— говорил мистер Ледбеттер.— Что мне теперь делать?»

Из-под кровати его взору открывалось немногое. Хотя щелки между складками полога и пропускали чуточку света, но увидеть что-либо было невозможно. Кроме резких очертаний ног на пологе, остальные тени были загадочны и терялись в пестром узоре ситца. Из-под полога виднелась полоска ковра, и, с опаской заглядывая вниз, мистер Ледбеттер обнаружил, что этот ковер тянется по всему полу, насколько хватает глаз. Ковер был роскошный, комната просторная и, судя по колесикам и украшениям на ножках мебели, отлично обставленная.

Он плохо представлял, что ему делать дальше. Оставалось одно: ждать, пока этот тип ляжет спать, и потом, когда он уснет, прошмыгнуть к двери, отпереть ее и выскочить на балкон. Сможет ли он спрыгнуть с балкона? Тут и разбиться недолго! Поразмыслив о своих шансах, мистер Ледбеттер пришел в отчаяние. Он уже готов был высунуть свою голову рядом с сапогами этого джентльмена, кашляя, если нужно, чтобы привлечь его внимание, с улыбкой извиниться и объяснить свое неудачное вторжение несколькими учтивыми фразами. Однако он увидел, что эти фразы трудно придумать. «Разумеется, сэр, мое появление покажется вам странным» или «Я надеюсь, сэр, вы простите мне несколько двусмысленное появление из-под вашей кровати?» — вот и все, что он смог из себя выжать.

Тут его одолели тяжкие сомнения. А если ему не поверят, что тогда? Неужели его безупречная репутация ничего не стоит? Конечно, спору нет, фактически он вор. И он уже принялся сочинять красноречивую защитительную речь, которую он произнесет на скамье подсудимых, когда ему предоставят последнее слово; тем временем тучный джентльмен встал и начал прохаживаться по комнате. Он выдвигал и задвигал ящики, и у мистера Ледбеттера мелькнула робкая надежда, что он раздевается. Не тут-то было! Он уселся за письменный стол и заскрипел пером, а потом стал рвать какие-то документы. И вскоре ноздри мистера Ледбеттера защекотал смешанный запах сигары и горящей бумаги верже.

«Положение мое,— рассказывал мне впоследствии мистер Ледбеттер,— оказалось трагическим во многих отношениях. Головой я до боли упирался в поперечную планку кровати, поэтому мой вес приходился главным образом на руки. Потом я почувствовал, что у меня, как говорится, одеревенела шея. Заболели руки, так как ковер под ними собрался крупными складками. Колени тоже заныли, брюки на них туго натянулись. Тогда я носил воротнички гораздо выше, чем сейчас,— два с половиной дюйма,— и я заметил, что края слегка врезаются мне в подбородок, раньше я этого не ощущал. Но самое ужасное — у меня зачесалось лицо, я хотел поднять руку, но шуршание рукава напугало меня, и я мог облегчить свои страдания только жуткими гримасами. Потом мне пришлось отказаться и от этого утешения, так как я, по счастью, вовремя, заметил, что мои гримасы сдвинули очки на кончик носа. Если бы они соскочили, конечно, это выдало бы меня, но они кое-как удержались, поминутно грозя упасть. Вдобавок я был немного простужен, и мне не давало покоя непреодолимое желание то чихнуть, то высморкаться. Словом, хотя мое положение в целом и внушало мне крайнюю тревогу, физические страдания скоро стали совершенно невыносимыми. А я не мог позволить себе даже шевельнуть пальцем».

После бесконечной тишины послышалось звяканье. Понемногу оно стало ритмичным: звяк-звяк-звяк...— двадцать пять раз,— стук по столу и ворчание обладателя толстых ног. Мистеру Ледбеттеру пришло в голову, что звякает золото. Он недоверчиво прислушивался, заинте-

ресованный, а звяканье все продолжалось. Любопытство его росло. Если в самом деле звякает золото, этот странный человек насчитал, вероятно, сотни фунтов. Наконец мистер Ледбеттер уже не мог больше сдерживаться и с величайшей осторожностью начал опускать руки и пригибать голову к самому полу в надежде рассмотреть что-нибудь из-под полога. Он шевельнул ногой, и пол слегка скрипнул. Звяканье сразу прекратилось. Мистер Ледбеттер замер. Звяканье возобновилось. Потом снова смолкло, и воцарилась полная тишина, только сердце мистера Ледбеттера стучало, как барабан.

Ничто не нарушало тишины. Голова мистера Ледбеттера в это время лежала на полу, и взору его открывались могучие ноги до самых колен. Они были совершенно неподвижны, стояли на носках и были задвинуты под кресло. Все было тихо, необыкновенно тихо. Мистера Ледбеттера осенила безумная надежда, что с неизвестным обморок или, может быть, он скоропостижно скончался, уронив голову на письменный стол...

По-прежнему стояла тишина. Что случилось? Терпение мистера Ледбеттера лопнуло. Почти не дыша, он подвинул вперед руку и указательным пальцем стал приподнимать полог до уровня глаз. Ничто не нарушало тишины. Теперь он видел колени незнакомца, письменный стол и... дуло тяжелого револьвера, направленного прямо ему в голову.

— А ну-ка, выходи, негодяй! — с тихим бешенством сказал голос толстого джентльмена.— Вылезай! Сюда, ну! И без всяких там фокусов, вылезай, живо!

Мистер Ледбеттер вылез, может быть, и неохотно, но без всяких фокусов и, как ему было приказано, без задержки.

— На колени! — скомандовал толстяк.— Руки вверх!

Полог снова упал за спиной мистера Ледбеттера, и, стоя на коленях, он поднял руки.

— Тоже мне, вырядился священником,— сказал толстяк.— Пропади я пропадом, если нет! Вот ведь попался коротышка, а? Ну ты, мерзавец! Кой черт принес тебя сюда? Кой черт ты залез под мою кровать?

И, не дожидаясь ответа, он тут же стал осыпать оскорблениями мистера Ледбеттера, издеваясь над его внешностью. Сам он тоже был не очень-то высок, зато

выглядел куда сильнее мистера Ледбеттера; толщина его ног вполне соответствовала тучности тела; у него было широкое бледное лицо с мелкими тонкими чертами и двойной подбородок. Говорил он вполголоса, с каким-то пришепетыванием.

— Какого черта, говорю я, тебя понесло под мою кровать?

Мистер Ледбеттер с трудом выдавил жалкую, просящую улыбку. Откашлялся.

— Я, конечно, понимаю...— начал он.

— Что? Ах, черт! Мыло? Нет! Не шевели этой рукой, мерзавец!

— Это мыло,— сказал мистер Ледбеттер.— С вашего умывальника. Разумеется, если...

— Молчи,— сказал толстяк.— Вижу, что мыло. Черт знает что!

— Позвольте мне объяснить...

— Нечего объяснять. Соврешь, наверное. Да и времени нет. Так что̀ все-таки я хотел узнать? А! Есть у тебя сообщники?

— Сейчас я все объясню...

— Сообщники есть? Чтоб тебя черт побрал! Начнешь болтать чепуху — стрелять буду. Сообщники, говорю, есть?

— Нет,— сказал мистер Ледбеттер.

— Заливаешь, небось,— сказал толстяк.— Но ты поплатишься, если соврешь. Какого же дьявола ты зевал и не напал на меня, когда я шел по лестнице? На что ты *рассчитывал? Подумать только* — *залез под кровать!* В общем, ты пойман на месте преступления.

— Не знаю, как мне доказать свое alibi,— промолвил мистер Ледбеттер, желая показать, что он человек образованный.

Воцарилось молчание. Мистер Ледбеттер заметил, что на стуле около его мучителя, на груде смятых бумажек, лежит большой черный портфель, а стол засыпан пеплом и клочками бумаги. Зато параллельно краю стола аккуратными рядами стояли столбики желтых монет — в сто крат больше золота, чем довелось видеть мистеру Ледбеттеру за всю его жизнь. Две свечи в серебряных подсвечниках освещали этот живописный натюрморт. Молчание длилось.

— Весьма утомительно держать руки вот этак,— сказал мистер Ледбеттер, заискивающе улыбаясь.

— Потерпишь,— сказал толстяк.— Что прикажешь мне все-таки с тобой делать?

— Я знаю, что положение мое двусмысленно.

— О господи! — воскликнул толстяк.— Подумать: двусмысленно! Шляется здесь со своим собственным мылом и носит этакий высоченный клерикальный воротник! Ты проклятый вор, такого еще свет не видывал!..

— Чтобы быть абсолютно точным...— начал мистер Ледбеттер, и вдруг очки его соскочили и звякнули о пуговицы жилета.

На изменившемся лице толстяка вспыхнула яростная решимость, и в револьвере что-то щелкнуло. Он положил на него другую руку. Потом посмотрел на мистера Ледбеттера и кинул взгляд на упавшие очки.

— Ну, теперь-то он взведен,— сказал толстяк после паузы и перевел дыхание.— Но знаешь, скажу я тебе, никогда ты не был так близко от смерти, как сейчас. Бог ты мой! А я даже рад. Твое счастье, что была осечка, а то здесь уже лежал бы твой труп.

Мистер Ледбеттер промолчал, но комната будто закачалась вокруг него.

— Что ж поделаешь! Хорошо, что так вышло. Нам же обоим лучше. О господи! — Толстяк шумно вздохнул.— И чего ты позеленел от такой-то ерунды?

— Я заверяю вас, сэр... — пролепетал мистер Ледбеттер.

— Остается одно. Если заявить в полицию, пиши пропало: дельце, которое я затеял, лопнет. Это не годится. Если связать тебя и бросить здесь, все равно завтра все откроется. Завтра воскресенье, а в понедельник банк не работает,— я рассчитывал как раз на свободные три дня. Застрелить тебя—пахнет убийством, за это по головке не погладят. И это загубит все дело. Будь я проклят, если я знаю, что с тобой делать,—да, будь я трижды проклят!

— Если вы мне позволите...

— Ты болтаешь, будто и впрямь священник, пропади я пропадом, если нет. Из всех воров ты... Ну ладно! Нет, все равно не позволю! Нет времени. Если снова начнешь трепаться, я всажу тебе пулю прямо в живот. Ясно? При-

думал, придумал! Сначала мы сделаем вот что: обыщем тебя, дружок, обыщем — нет ли оружия,— да, всего обыщем! И слушай! Когда я велю тебе сделать что-нибудь, не разводи антимонии, а делай, да поживее!

И, не отводя из предосторожности револьвера от виска мистера Ледбеттера, толстяк велел ему встать и обыскал.

— Настоящий грабитель, как бы не так! — заключил он.— Да ты же типичный любитель. У тебя даже заднего кармана нет. Замолчи! И немедленно!

И как только вопрос был решен, мистер Ледбеттер по приказанию толстяка снял сюртук, засучил рукава и с револьвером у виска продолжил сборы, прерванные его появлением. С точки зрения толстяка, это был единственно возможный выход, ибо, если бы он занялся этим сам, ему пришлось бы выпустить из рук револьвер. Так что даже золото на столе было упаковано руками мистера Ледбеттера. Довольно оригинально выглядели эти ночные сборы. Толстяк непременно хотел разложить золото так, чтобы вес его равномерно и незаметно распределился по всему багажу. Нет сомнений, рассказывал мистер Ледбеттер, что вес этот был довольно основательный. На столе и в черном портфеле лежало около 18 тысяч фунтов золотом. Было и много маленьких пачек из пятифунтовых банкнот. Каждую пачку в 25 фунтов мистер Ледбеттер завертывал в бумагу. Эти пачки, аккуратно уложенные в сигарные коробки, разместились в дорожном багаже, кожаном саквояже и шляпной картонке. Около 600 фунтов отправлялось в путь в табачной жестянке и несессере. Десять фунтов золотом и несколько пятифунтовых бумажек толстяк рассовал по карманам. Время от времени он пенял мистеру Ледбеттеру за медлительность, торопил его и спрашивал, который час.

Мистер Ледбеттер перетянул ремнями саквояж и чемодан и вернул ключи толстяку. Было уже без десяти двенадцать, и часы еще не пробили полночь, когда толстяк усадил его на саквояж на почтительном от себя расстоянии, а сам поместился на чемодане с револьвером наготове и ждал. Его воинственное настроение как будто улеглось, и он некоторое время присматривался к мистеру Ледбеттеру, а потом поделился с ним некоторыми своими соображениями.

— По твоему произношению я думаю, что ты из образованных,— сказал он, раскуривая сигару.— Нет, ты уж лучше помолчи. Я по твоей физиономии вижу, что ты зануда и ничего путного не расскажешь, а ведь я сам такой старый враль, что чужое вранье меня не интересует. Так вот, говорю я, ты образованный человек. Ты это ловко придумал, что оделся священником. Ты сойдешь за священника даже среди образованных.

— Да я и есть священник,— сказал мистер Ледбеттер,— или по крайней мере...

— ...ты им прикидываешься. Меня не проведешь. Но ты не должен воровать. Не такой ты человек, чтоб воровать. Ты же просто трус, если можно так выразиться,— говорили тебе об этом раньше?

— Видите ли,— сказал мистер Ледбеттер, в последний раз стараясь завязать разговор,— именно это и интересовало меня...

Толстяк отмахнулся от него.

— Ты ведь зря загубишь свое образование, если будешь воровать. Ты выбери одно из двух: или занимайся подлогом, или хапай чужие деньги. Я лично хапаю. Да, именно хапаю. Откуда, ты думаешь, у меня это золото? А! Слышишь? Полночь!.. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Меня всегда необычайно волнует этот медленный бой часов. Время — пространство... Сколько в них тайн! Почему тайны?.. Однако нам пора. Вставай.

И вежливо, но твердо он заставил мистера Ледбеттера повесить через плечо несессер на веревке, взвалить на спину чемодан и, невзирая на его глухие протесты, взять в свободную руку саквояж. Навьюченный донельзя, мистер Ледбеттер с опасностью для жизни начал спускаться по лестнице. Толстяк следовал за ним с пальто, шляпной картонкой и револьвером, отпуская язвительные замечания по поводу физической силы мистера Ледбеттера и помогая ему на лестничных поворотах.

— Валяй к черному ходу,— распорядился он, и мистер Ледбеттер, шатаясь, прогрохотал через оранжерею, оставляя в кильватере разбитые цветочные горшки.— Плевать на них,— сказал толстяк.— Это к счастью. Подождем тут до четверти первого. Можешь поставить вещи. Ну!

Мистер Ледбеттер, задыхаясь, рухнул на чемодан.

— Ведь только прошлой ночью,— выдохнул он,— я спал в своей маленькой комнатке, и мне и не снилось...

— Не к чему заниматься самобичеванием,— сказал толстяк, поглядывая на револьвер. Он замурлыкал себе под нос. И мистер Ледбеттер и тут не воспользовался предоставленной возможностью для объяснений.

Потом зазвенел колокольчик, и мистера Ледбеттера послали открыть дверь черного хода. Вошел блондин в костюме яхтсмена. Увидев мистера Ледбеттера, он страшно вздрогнул и хлопнул себя по заднему карману. Тут он заметил толстяка.

— Бингем! — воскликнул он.— Кто это?

— А я тут немножко занимаюсь филантропией: стараюсь перевоспитать этого грабителя. Только что поймал его: сидел под моей кроватью. Он ничего себе. Трусливый осел. Поможет нам, понесет вещи.

Сначала присутствие мистера Ледбеттера как будто встревожило блондина, но толстяк успокоил его:

— Да он один. Ни одна банда на свете не станет с ним связываться. Нет!.. Ради бога, ни слова, помалкивай!

Они вышли в темный сад. Чемодан по-прежнему покачивался на плечах мистера Ледбеттера. Человек в костюме яхтсмена шел впереди с саквояжем и револьвером, за ним — мистер Ледбеттер, нагруженный, как Атлас; шествие, как и прежде, замыкал мистер Бингем — с шляпной картонкой, пальто и револьвером. Вилла эта была из тех, где сады поднимаются по отвесной скале. Крутая деревянная лестница спускалась оттуда к купальне, смутно видневшейся на берегу. Внизу на привязи болталась лодка, а рядом стоял молчаливый маленький человек со смуглым лицом.

— Минуту! Я все объясню,— сказал мистер Ледбеттер.— Уверяю вас...

Кто-то дал ему пинка, и он умолк.

Они заставили его идти вброд с чемоданом до самой лодки, они втащили его на борт за волосы, они всю ночь напролет называли его не иначе, как «мерзавец» и «грабитель». Но говорили они вполголоса, так что, если бы рядом и случился посторонний, он не заметил бы позора бедняги. Они привезли его на яхту, команда которой состояла из странных, подозрительных азиатов,

и не то столкнули его с трапа, не то он упал сам, но он оказался в зловонной, темной дыре, где пробыл много дней, сам не зная сколько, потому что потерял счет времени, когда у него началась морская болезнь. Они угощали его сухарями и непонятными словами, они поили его водой с ромом, которого он не выносил. И там бегали тараканы, тараканы днем и ночью, а по ночам вдобавок и крысы. Азиаты очистили его карманы и забрали часы, но мистер Бингем восстановил справедливость, взяв часы себе. И пять или шесть раз корабельная команда: пять ласкаров (если они были ласкарами), китаец и негр — выуживала его из этой дыры и доставляла к Бингему с приятелем, чтобы он составил им партию в бридж, в юкр и в вист и слушал их рассказы и бахвальство, притворяясь, что ему очень интересно.

Кроме того, его принципалы разговаривали с ним, как с закоренелым преступником. Они не позволяли ему и слова сказать в свое оправдание и все время давали понять, что никогда не видели столь отъявленного грабителя. Они без конца твердили это. Блондин был по характеру молчалив, но вспыльчив во время игры; зато оказалось, что мистер Бингем, заметно оживившийся после отъезда из Англии, не чужд жизнерадостной философии. Он распространялся о тайне пространства и времени и цитировал Канта и Гегеля или по крайней мере утверждал, что цитирует. Несколько раз мистер Ледбеттер пытался заговорить: «Видите ли, то, что я оказался под вашей кроватью...»,— но его сразу обрывали приказанием то снять колоду, то передать виски или еще что-нибудь. После третьей неудачной попытки мистера Ледбеттера блондин стал относиться к этому вступлению вполне безучастно и, едва заслышав его снова, разражался хохотом и со всей силой хлопал по спине мистера Ледбеттера.

— И начало старое и история старая,— эх ты, добрый старый грабитель! — приговаривал блондин обычно.

Так мистер Ледбеттер мучился много дней, возможно, двадцать, и однажды вечером его погрузили в лодку вместе с несколькими банками консервов и отвезли на маленький островок, где протекал ручей. Мистер Бингем сел в лодку вместе с ним, всю дорогу давал ему добрые

советы и окончательно отклонил его последние попытки объясниться.

— Да ведь я совсем не вор,— сказал мистер Ледбеттер.

— Ты не будешь им никогда,—ответствовал мистер Бингем.— Не быть тебе вором. Я рад, что ты начинаешь понимать это. Когда выбираешь профессию, надо учитывать свой характер. Если нет, не жди удачи. Вот я, например. Всю свою жизнь я провел в банках. Там я и пошел в гору. Я был даже директором банка. Но был ли я счастлив? Нет. А почему? Потому что это было не в моем характере. У меня слишком романтическая натура, я чересчур непостоянен. Так что фактически я это дело бросил. Вряд ли я еще когда-нибудь стану директором банка. Меня, конечно, были бы рады взять обратно — еще бы! Но теперь уж я знаю свой характер... С этим покончено! Больше я в банк ни ногой!

И так же, как не подходит мой характер для такого почтенного занятия, твой не подходит для преступления. Теперь я пригляделся к тебе получше и не советую заниматься даже подлогом. Вернись-ка ты, приятель, на путь истинный. Ведь твое призвание — филантропия, вот какое у тебя призвание. С твоим голосом тебе самое место в какой-нибудь Ассоциации Содействия Возвращению Заблудшей Молодежи на Стезю Добродетели или что-нибудь в этаком роде. Поразмысли-ка над этим.

У острова, к которому мы подплываем, как будто нет никакого названия,— во всяком случае, на карте он не значится. На досуге ты можешь сам придумать ему название: у тебя там будет вдоволь времени подумать о всякой всячине. Насколько я знаю, вода там вполне пригодна для питья. Это один из Гренадинских островов — из Уордсуортской группы. Вон там, в тумане, синеют остальные Гренадины. Вообще-то их видимо-невидимо, но отсюда разве углядишь? Раньше я часто думал: для чего созданы эти острова? Как видишь, теперь я знаю зачем. К примеру, этот вот остров — для тебя. Со временем тебя вызволит отсюда какой-нибудь абориген. Тогда говори о нас что хочешь, ругай нас последними словами — нам-то что! Возьми вот полсоверена. Не бросай их на ветер, когда вернешься к цивилизации. Если ты потратишь их с умом, ты сможешь начать новую жизнь.

И не... Да не причаливайте вы, проходимцы, он доберется вброд!.. Послушай, не растрачивай драгоценного одиночества на дурацкие мысли. Это одиночество может в корне изменить твою жизнь. Береги деньги и время. Ты умрешь богачом. Сожалею, но консервы тебе придется нести в руках. Нет, тут неглубоко. Да провались ты со своими объяснениями! Нет времени! Нет, нет, нет! И слушать не хочу! Полезай за борт!

И когда наступила ночь, мистер Ледбеттер, тот самый, который когда-то так горько сетовал на недостаток приключений, сейчас сидел возле своих консервных банок, уткнувшись подбородком в колени, и покорно взирал сквозь очки на сияющее пустынное море.

Через три дня его обнаружил там рыбак-негр и отвез на остров св. Викентия, а оттуда, истратив последние гроши, он переправился в Кингстон, на Ямайку. И там бедняга окончательно запутался. Даже теперь он совершенно неделовой человек, а тогда он совсем не знал, что же ему делать. Единственное, на что он решился,— обойти всех тамошних священников, чтобы одолжить денег на дорогу домой. Но он был так грязен и оборван, а рассказы его так фантастичны, что ему никто не верил. Я встретил его случайно. Солнце уже заходило, когда он попался мне на дороге, ведущей к старому форту, где я прогуливался после сиесты; на его счастье, мне было скучно, и я никуда не собирался вечером. Он уныло тащился к городу. Меня заинтересовали его убитое горем лицо и кой-какие остатки пыльной одежды, напоминавшие о священническом сане. Наши взгляды встретились. Он заколебался.

— Сэр,— сказал он, переводя дыхание,— не можете ли вы уделить мне несколько минут, хотя я боюсь, что мой рассказ покажется вам невероятным?

— Невероятным? — повторил я.

— Да,— быстро ответил он.— Никто ему не верит, да и сам я тоже. Но уверяю вас, сэр...

Он беспомощно смолк. Тон его пришелся мне по душе. Этот человек показался мне чудаком.

— Перед вами,— сказал он,— самое несчастное существо на свете.

— Ну, к тому же вы, вероятно, не обедали? — догадался я.

— Да,— мрачно ответил он,— вот уже много дней.

— Так после обеда и расскажете,— сказал я и без лишних слов повел его в одно местечко, где, я знал точно, его костюм не мог никого шокировать. Там я и узнал его историю, правда, с некоторыми пропусками, которые он впоследствии восполнил. Сначала я тоже не поверил, но вино разгорячило его, легкий налет угодничества — следствие его злоключений — исчез, и я поверил. Я был настолько убежден в его искренности, что оставил его ночевать у себя и заверил на следующий день у своего ямайского банкира банковскую справку, которую он дал мне. И — что же поделаешь? — пришлось купить ему белье и прочую одежду, необходимую для человека без определенных занятий. Потом прибыла заверенная справка. Его потрясающая история оказалась правдой. Не буду останавливаться на дальнейшем. Он отбыл в Англию через три дня.

«Вы не можете представить, как я благодарен вам за доброту, с которой вы отнеслись к совершенно незнакомому человеку,— так начиналось письмо, полученное мною из Англии; дальше шло в том же духе.— Если бы не ваша великодушная помощь, я непременно опоздал бы к началу школьных занятий, и та минутная глупость, наверное, погубила бы меня окончательно. А теперь я безнадежно запутался в собственной лжи, к которой мне пришлось прибегнуть, чтобы объяснить, где я пропадал и откуда у меня такой черный загар. По легкомыслию я выдумал две или три истории, нисколько не представляя, чем это мне грозит. Я не осмеливаюсь сказать правду. В Британском музее я просмотрел несколько юридических справочников, и теперь нет никаких сомнений, что я «потворствовал», «содействовал» и «помогал» уголовному преступлению. Я узнал, что этот мерзавец Бингем был директором Хизергейтского банка и теперь обвиняется в огромнейшем хищении. Пожалуйста, прошу вас, сожгите это письмо сразу же по прочтении — я всецело доверяю вам. Хуже всего то, что ни моя тетя, ни хозяин пансиона, в котором я остановился, не верят ни единому моему слову. Они подозревают меня в чем-то позорном, но я не знаю, в чем именно. Тетя говорит, что простит меня, если я расскажу ей все. Но ведь я рассказал ей все, и даже больше, чем все, а она не

верит. Конечно, им незачем знать, с чего все началось, и я представляю дело так, будто бы меня подстерегли на берегу и заткнули рот кляпом. Ну, а тетя желает знать, почему меня подстерегли и заткнули рот кляпом и почему меня увезли на яхте. Не знаю, что ей сказать. Не придумаете ли вы какое-нибудь объяснение? Я уже совершенно отупел. И еще я хочу попросить вас об одной огромной услуге: если вы будете отвечать мне, возьмите, пожалуйста, два листка бумаги и на одном из них напишите такое письмо, чтобы из него стало ясно, что я действительно был на Ямайке этим летом и что меня привезли туда на яхте,— я покажу это письмо тете. Я и без того в неоплатном долгу перед вами и просто не знаю, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас...» и тому подобное. В заключение он повторял просьбу сжечь это письмо.

На этом и кончается удивительный рассказ о каникулах мистера Ледбеттера. Его размолвка с теткой продолжалась недолго. Старая дама простила его перед смертью.

1903

НЕОПЫТНОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Я очень живо помню, как все это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу, как сейчас: он сидит у пылающего камина, в углу знаменитого елизаветинского дивана, а рядом с ним Сэндерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку, на мундштуке которой выгравирована его фамилия. С нами были еще Эванс и Уиш, это чудо среди актеров и, кстати сказать, очень скромный человек. Мы все съехались в клуб «Сирена» в субботу утром, кроме Клейтона, который там ночевал,— с этого, собственно, он и начал свой рассказ. День мы провели за игрой в гольф, пока не наступили сумерки, потом обедали, и теперь все пребывали в том благодушном настроении, которое располагает человека послушать какую-нибудь занятную историю. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, естественно, решили, что он выдумывает. Он и в самом деле, может быть, выдумывал — об этом читатель в самом ближайшем будущем сможет судить не хуже моего.

Правда, он начал серьезно, как рассказывают о каком-нибудь действительном происшествии, но мы тогда сочли это уловкой неисправимого враля.

— Между прочим,— начал он, вволю налюбовавшись огненным дождем искр, летевших вверх из полена, которое разбивал Сэндерсон,— знаете, я ведь ночевал здесь сегодня один.

— Не считая слуг,— заметил Уиш.

— Которые спят в другом крыле,— сказал Клейтон.— Н-да. Так вот...

Некоторое время он молча посасывал сигару, словно все еще сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном:

— Я поймал привидение.

— Привидение? — переспросил Сэндерсон.— Где же оно?

А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона и только что возвратился из Америки, где провел целый месяц, сразу завопил:

— Привидение, Клейтон? Прекрасно! Расскажите же нам, как все это было!

Клейтон ответил, что сейчас расскажет, и попросил его прикрыть дверь.

— Разумеется, здесь не подслушивают,— пояснил он, как бы извиняясь передо мною,— но у нас тут дело так прекрасно поставлено, не хотелось бы вносить сумятицу разговорами о привидениях. Здание здесь, знаете, темноватое, и дубовые панели по стенам — не стоит этим шутить. Да и привидение это было не обычное. Я думаю, оно больше сюда не вернется, никогда не вернется.

— Значит, вы его не задержали? — спросил Сэндерсон.

— Я его пожалел.

Сэндерсон выразил удивление. А мы все рассмеялись. Но Клейтон, криво усмехнувшись, сказал с легкой досадой:

— Я знаю. Но дело в том, что это действительно было привидение, я в этом так же уверен, как и в том, что вот сейчас говорю с вами. Я не шучу. Это правда.

Сэндерсон глубоко затянулся своей трубкой, искоса поглядывая на Клейтона красноватым глазом, и выпустил в его сторону тонкую струю дыма, что было красноречивее всяких слов.

Но Клейтон не обратил внимания на этот выпад.

— Ничего более странного со мной в жизни не случалось. Понимаете, я никогда раньше не верил в духов и во всякую чертовщину, никогда, и вдруг, пожалуйте, загоняю в угол настоящее привидение. Хлопот у меня с ним было — не оберешься.

Он опять погрузился в раздумье и, машинально вытащив вторую сигару, обрезал ее забавным особым ножичком, который он с собою всегда носил.

— Вы с ним говорили? — спросил Уиш.

— Да, наверное, с час, не меньше.

— И что ж он, разговорчив? — поддел я его, беря сторону скептиков.

— Бедный дух попал в затруднение,— ответил Клейтон, склонившись над сигарой, и в тоне его слышался легкий упрек.

— Рыдал? — спросил кто-то.

Клейтон испустил очень правдоподобный вздох.

— Боже ты мой, да! — сказал он.— Еще как, бедяга!

— Где же вы его застукали? — спросил Эванс с чистопробным американским акцентом.

— Я и не предполагал,— продолжал Клейтон, не отвечая ему,— каким жалким может быть привидение.

Он снова прервал рассказ, пока нашаривал в кармане спички, зажигал и раскуривал свою сигару. Но нам было не к спеху.

— Бедный. Мне-то было легко,— сказал он задумчиво.— Характер,— продолжал он,— сохраняется, даже когда человек теряет свою телесную оболочку. Обычно мы об этом забываем. Если человек волевой и целеустремленный, то и дух его будет волевым и целеустремленным,— большинство привидений, я думаю, такие же рабы навязчивой идеи, как и любой маньяк на земле, и упрямы, что твой осел, раз так настойчиво возвращаются все на то же место. Но этот бедняга совсем другой.

Клейтон вдруг поднял голову и странным взглядом обвел комнату.

— Я ничего обидного не хочу сказать,— проговорил он,— но все дело именно в этом: он с первого взгляда произвел на меня впечатление слабого человека.

Он говорил, помахивая зажженной сигарой.

— Знаете, я встретил его вон там, в длинном коридоре. Он стоял ко мне спиной, и я первый его заметил. Я сразу же сообразил, что это — привидение. Он был весь прозрачный, такой белесоватый. Прямо сквозь спину его видно было окошко в дальнем конце коридора. Но не только во всем его облике, даже в самой его позе было

что-то слабое. Понимаете, он стоял, как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам — вот так!

— А собой он каков? — спросил Сэндерсон.

— Тщедушный. Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками позади ушей — вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши. И плечи никудышные, поуже бедер; отложной воротник, дешевый пиджак, брюки мешковатые, обтрепанные над каблуками. Вот таким он передо мной и предстал. Я спокойно поднимался по лестнице. Свечки я не нес: свечи стояли там, на столике на лестничной площадке, да и лампа горела,— и на ногах у меня были комнатные туфли. Поднявшись наверх, я сразу его заметил. Остановился как вкопанный и принялся его разглядывать. И, представьте, ничуть не испугался. Наверное, в таких случаях вообще никогда не бывает так страшно, как люди воображают. Удивился, конечно, и заинтересовался очень. «Господи ты боже мой,— думаю,— привидение! Наконец-то!» А ведь я вот уж двадцать пять лет как и на секунду не допускал существования привидений.

— Гм,— сказал Уиш.

— Но через минуту он, вероятно, почувствовал мое присутствие на площадке. Он резко повернул голову, и я увидел профиль незрелого юнца, маленький нос, усы щеточкой, слабо очерченный подбородок. Так мы с ним стояли — он смотрел на меня через плечо — и разглядывали друг друга. Потом он, видно, вспомнил свое высокое призвание. Повернулся, вытянулся, голова вперед, руки кверху, пальцы растопырил, как полагается привидению, и двинулся мне навстречу. При этом челюсть его отвисла, и он слабо, протяжно завыл: «Бу-у-у-у!» Нет, это было совсем не страшно. Я только что пообедал. Выпил бутылку шампанского и от одиночества прихватил еще две или три, нет, наверное, четыре или даже пять порций виски. Так что я оставался тверд, как скала, и испугался его не больше, чем если бы на меня стала наступать лягушка. «Бу,— говорю,— какая чепуха! Вы не принадлежите к этому клубу. Что же вы здесь делаете?»

Вижу, он вздрогнул. И снова за свое: «Бу-у-у! Бу-у!» «Вот еще! Разве вы состоите членом клуба? — говорю, и,



«ДЖИММИ — ПУЧЕГЛАЗЫЙ БОГ»



«КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ЛЕДБЕТТЕРА»

чтобы показать ему, что он в моих глазах ничто, я прямо шагнул наискось сквозь него и взял со стола свечу.— Вы член клуба?» — снова спрашиваю, глядя на него сбоку.

Он чуть посторонился, чтобы я не занимал его места, и вид у него был при этом угнетенный.

«Нет,— сказал он в ответ на мой вопрошающий взгляд, — я не член этого клуба. Я призрак».

«Это еще не дает вам права доступа в клуб «Сирена». Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть?»

Спокойно, не торопясь, чтобы нетвердость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажег свечу. И повернулся к нему, держа огонь перед собою.

«Что вы здесь делаете?» — спросил я.

Он опустил руки, перестал выть и стоял, смущенный и неловкий, призрак бесхарактерного, глупого юнца.

«Я явился на землю»,— говорит.

«Сюда вам совершенно незачем было являться»,— сказал ему я твердым голосом.

«Но ведь я привидение»,— возразил он в свое оправдание.

«Очень возможно,— говорю,— но сюда вам совершенно незачем являться. Здесь солидный частный клуб; приезжие останавливаются здесь с детьми, с няньками, а вы бродите здесь так неосмотрительно. Какая-нибудь малышка легко может набрести на вас и насмерть перепугаться. Об этом вы, конечно, не подумали?»

«Нет, сэр,— ответил он,— не подумал».

«А не мешало бы. У вас ведь нет никаких особых притязаний именно на этот дом? Вы не были здесь убиты, надеюсь?»

«Нет, сэр, никаких особых притязаний; просто я подумал: раз он такой старый и дубовые панели по стенам...»

«Это вас не извиняет.— Я поглядел на него строго.— Ваше появление здесь было ошибкой,— сказал я снисходительно. Потом я сделал вид, будто ищу спичку по карманам. А потом снова посмотрел на него и сказал напрямик: — На вашем месте я не стал бы дожидаться петухов. Я исчез бы немедленно».

«Дело в том, сэр...» — начал он растерянно.

«Исчез бы»,— повторил я для пущей ясности.

«Все дело в том, сэр, что... я... у меня не получается».

«Не получается?»

«Нет, сэр. Вероятно, я что-то забыл. Я здесь со вчерашней полуночи прячусь по закоулкам, по комодам, в пустых номерах. Сам не знаю, что со мной. Я никогда раньше не являлся и с непривычки чувствую себя совсем сбитым с толку».

«Сбитым с толку?»

«Да, сэр. Я пробовал несколько раз, но у меня ничего не выходит. Верно, я упускаю какую-то мелочь, но из-за этого я не могу вернуться назад».

Я, знаете ли, просто пришел в замешательство. А он глядел на меня так уныло, что я, хоть убейте, не мог продолжать с ним разговор в прежнем высокомерном, назидательном тоне.

«Вот странно,— говорю, и тут мне почудилось, что внизу кто-то ходит.— Идемте в мою комнату,— сказал я ему,— и там вы мне все расскажете подробнее. Я ничего не понял».

И я хотел было взять его под руку. Но, разумеется, это было все равно, что хвататься за дым.

Номер своей комнаты я, видно, позабыл, потому что мы с ним заглядывали в одну дверь за другой — хорошо еще, что я был один на всем этаже,— пока наконец я не признал мои пожитки.

«Ну вот,— сказал я и уселся в кресло,— присаживайтесь и расскажите мне все толком. По-моему, вы попали в крайне щекотливое положение, старина».

Ну, он сказал, что сидеть ему не хочется, лучше он полетает по комнате, если, конечно, я ничего не имею против. И стал летать взад-вперед, покуда мы вели с ним длинный и серьезный разговор. Очень скоро выпитое виски начало испаряться из моей головы, и мне вполне ясно представилось, в какую дьявольски дикую и невероятную переделку я попал. Я сижу, а у меня перед глазами, по моей чистой, уютной спальне с ситцевыми старинными занавесями в цветочек, летает взад-вперед настоящее, классическое привидение, полупрозрачное, бес-

шумное, только чуть слышно звучит его слабый голос. Сквозь его силуэт виден блеск начищенных медных подсвечников, блики огня на каминной решетке и рамки развешанных по стене гравюр, а он рассказывает мне о своей нескладной, злополучной жизни на этом свете, совсем недавно оборвавшейся.

Лицо у него было не то чтоб очень честное, но поскольку уж его видно было всего насквозь, иначе как правду он, конечно, говорить не мог.

— Как это? — спросил Уиш, вдруг выпрямившись в кресле.

— Что? — не понял Клейтон.

— Как это — поскольку его было видно насквозь, он мог говорить только правду? Я не понимаю.

— Я тоже,— ответил Клейтон с неподражаемой серьезностью.— Но тем не менее это так, могу вас уверить. Знаю только, что он ни разу ни на йоту не отступил от святой истины. Рассказывал он мне, как погиб: спустился с зажженной свечой в подвал посмотреть, где протекает газ... А работал он, когда обнаружилась эта утечка, как он мне объяснил, учителем английского языка в одной лондонской закрытой школе.

— Бедняга,— сказал я.

— И я так подумал, и чем больше он рассказывал, тем больше укреплялся в этой мысли. Существование его было бессмысленно и при жизни и после смерти тоже. Об отце, о матери и о своем школьном учителе — обо всех своих близких он говорил с озлоблением. Он был слишком обидчив, нервозен, считал, что никто его не ценил по-настоящему и не понимал. Кажется, у него за всю жизнь не было ни одного близкого человека, и никогда ни в чем он не добился успеха. От спорта увиливал, на экзаменах проваливался. «С некоторыми вот так бывает,—объяснил он мне.— Как только я входил, например, в экзаменационный кабинет, все сразу вылетало из головы». И, разумеется, был помолвлен — с такой же слабохарактерной особой, как он сам, надо полагать,— когда случилась эта досадная оплошность с газом, положившая конец всем его земным делам. «Ну и где же вы теперь? — спросил я его.— Не в...»

Но на эту тему он изъяснялся как-то туманно. Я понял его так, что он находился в некоем неопределенном,

промежуточном состоянии, в каком-то особом резерве для душ, слишком ничтожных для таких определенных вещей, как грех или добродетель. В общем, не знаю. Он был слишком неразвит и занят собой, чтобы я мог из его рассказа составить себе ясное представление о том месте, о той области, что лежит по Ту Сторону Добра и Зла. Но где бы он ни обретался, он, видимо, попал в общество себе подобных призраков — таких же малодушных юнцов из лондонского простонародья, которые все были между собой на дружеской ноге, и у них там, вероятно, без конца велись разговоры о том, кто и когда выходил являться, и о прочих подобных делах. Да, так он и говорил: «Выходил являться»! У них это там почитается величайшей доблестью, и большинство из них так никогда и не отваживается на такое предприятие. Ну, подзудили его, знаете, он и явился.

— Удивительно! — воскликнул Уиш, глядя в камин.

— Так, во всяком случае, я его понял,— скромно пояснил Клейтон.— Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он все летал по комнате и говорил, говорил своим слабым, глухим голоском— все о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала и до конца не произнес ни единого твердого суждения. Он был еще тщедушнее и бестолковее, еще никчемнее, чем если бы он стоял там живой. Но только тогда бы он, как вы понимаете, не стоял в моей спальне — то есть будь живой, я хочу сказать. Я бы вышвырнул его вон.

— Разумеется,— сказал Эванс,— есть такие жалкие существа на свете.

— И у них точно так же, как и у нас, могут быть свои призраки,— согласился я.

— Одно только можно сказать о нем определенно: он начал в какой-то мере осознавать собственное ничтожество. Неразбериха, в которую он попал с этим «появлением», страшно его подкосила.

Ему было сказано, что он «повеселится в свое удовольствие», он и вышел «повеселиться» — и вот, нате вам, ничего не получилось, только еще одна неудача на его счету! Он сказал, что считает себя полным, безнадежным неудачником. Он говорил — и я охотно этому верю,—

что за что бы он в жизни ни брался, у него никогда ничего не выходило и не будет выходить впредь до скончания веков.

Вот если бы он встретил у кого-нибудь сочувствие, тогда... При этом он замолчал и посмотрел на меня. Потом сказал, что мне это, вероятно, покажется странным, но ни от кого никогда не видел он такого сочувствия, как сейчас от меня. Я сразу понял, к чему он клонит, и решил немедленно его осадить. Может быть, конечно, я бессердечный негодяй, но, знаете ли, быть Единственным Другом и Наперсником такого эгоцентричного ничтожества, призрачного или во плоти, все равно,— это выше моих сил. Я быстро встал.

«Не убивайтесь вы из-за этого,— говорю ему.— Вам нужно подумать о другом: как выпутаться из этой истории, да поживей. Возьмите себя в руки и постарайтесь». «Не получается»,— говорит он. «А вы попробуйте».

Ну, он и стал пробовать.

— Пробовать? Что именно? — спросил Сэндерсон.

— Пассы,— ответил Клейтон.

— Пассы?

— Да, сложный ряд жестов и пассов, движений руками. Таким путем он явился сюда и так же должен уйти назад. Господи! Ну и намучился же я!

— Но как можно какими-то жестами?..— начал я.

— Дорогой мой,— с особым ударением сказал Клейтон, поворачиваясь ко мне,— вам подавай ясность во всем. Как можно, я не знаю. Знаю только, что так это делается, то есть он, во всяком случае, так делал. Он ужасно долго бился, но потом наладил свои пассы и внезапно исчез.

— И вы,— медленно сказал Сэндерсон,— видели эти пассы?

— Да,— ответил Клейтон и задумался.— Очень это было странно,— продолжал он.— Только что мы с ним стояли здесь, я и этот тощий, смутный дух, в этой тихой комнате, в этой тихой, безлюдной гостинице, в этом тихом городке, безмолвной ночью. Ни звука нигде, кроме наших голосов и его тяжелого дыхания, когда он махал руками. Одна свеча горела на камине, а другая — на ночном столике, только всего света и было, и по временам

либо та, либо эта вдруг вспыхивала высоким, узким, дрожащим пламенем... И странные происходили вещи...

«Не выходит,— сказал он.— Я теперь никогда...» И сел вдруг на маленький пуфик у постели и зарыдал, зарыдал... Господи! Какой он был жалкий, какой несчастный! «Ну, ну, не расстраивайтесь,— сказал я ему и хотел было похлопать его по спине, но, будь я проклят, рука моя прошла сквозь него! Понимаете, к этому времени я уже был не таким несокрушимо спокойным, как сначала, на лестнице. Я уже полностью ощутил всю нелепость происходящего. Помню, я отдернул руку чуть не с оторопью и отошел к ночному столику. «Соберитесь с силами,— сказал я ему,— и попробуйте еще раз».

И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним.

— Что? — сказал Сэндерсон. — Вы стали делать пассы?

— Да, пассы.

— Но ведь...— начал я, взволнованный мыслью, которую сам еще не мог толком выразить.

— Это интересно,— перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке.— Так вы говорите, что этот дух ваш открыл вам...

— Изо всех сил старался открыть свой секрет, безусловно.

— Да нет,— возразил Уиш.— Он не мог. Иначе бы и вы за ним последовали.

— Вот именно! — подхватил я, обрадованный тем, что он сформулировал за меня мою мысль.

— Именно,— повторил Клейтон, задумчиво глядя на огонь.

Некоторое время мы все молчали.

— Но в конце концов у него все-таки вышло? — спросил Сэндерсон.

— В конце концов вышло. Я заставил его потрудиться как следует, но потом у него получилось, и довольно неожиданно. Он уже совсем отчаялся, мы с ним повздорили, а потом он вдруг встал и попросил меня проделать все это медленно, чтобы он мог видеть. «Мне кажется,— он сказал,— что если бы я мог увидеть со стороны, я бы сразу заметил, в чем ошибка». И так и было. «Знаю!» — вдруг сказал он. «Что вы знаете?» — спрашиваю. Но он

только повторил: «Знаю. Знаю». А потом говорит мне этаким раздраженным тоном: «Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу — и все. С самого начала в этом и было дело отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете». Ну, тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он был упрям, как мул, и я вдруг уступил: я устал, как собака, он меня страшно утомил. «Ладно,— говорю,— не буду я на вас глядеть». А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать все сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале, мне хотелось увидеть, в чем у нас была заминка.

Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались — так и так и вот этак, и вот уже последнее движение: когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его! Не стоит больше! Исчез. Отворачиваюсь от зеркала — пусто! Я один, только свечи вспыхивают, и в голове сумбур. Что это было? Да и было ли что-нибудь? Может, мне приснилось?.. И в это самое мгновение, словно ставя нелепую точку и возвещая конец, часы на лестнице сочли уместным пробить один раз. Вот так: «Бомм!» Я был трезв, как судья. Мысли были ясные. Мое шампанское и виски испарились в глубине Вселенной. И я чувствовал себя чертовски странно, признаюсь, чертовски странно. Как-то чудно! Бог мой!

Некоторое время он молча разглядывал пепельный кончик своей сигары.

— Вот и все, что со мной произошло,— произнес он наконец.

— И тогда вы легли спать? — спросил Эванс.

— А что же еще мне было делать?

Мы переглянулись с Уишем. Нам хотелось позубоскалить, но было что-то такое, что-то необычное в голосе и в манерах Клейтона, не дававшее нам шутить.

— А как же насчет этих пассов? — спросил Сэндерсон.

— Да я, наверное, мог бы вам их показать.

— О! — произнес Сэндерсон и, вытащив перочинный ножик, принялся выковыривать нагар из своей глиняной трубки.

— Почему бы вам не проделать их прямо сейчас? — спросил он, закрывая ножичек.

— Я и собираюсь,— ответил Клейтон.

— Они не подействуют,— сказал Эванс.

— А если подействуют...— возразил я.

— Знаете, по-моему, лучше не надо,— сказал Уиш, вытягивая ноги.

— Почему? — удивился Эванс.

— Лучше не надо,— повторил Уиш.

— Да ведь он даже не знает, как их нужно правильно делать,— сказал Сэндерсон, набивая в трубку слишком много табаку.

— Все равно, по-моему, лучше не надо,— сказал Уиш.

Мы заспорили с Уишем. Он утверждал, что со стороны Клейтона это будет похоже на издевательство над серьезными вещами.

— Но ведь вы же не верите?..— спросил я.

Уиш бросил взгляд на Клейтона, который, глубоко задумавшись, глядел в огонь.

— Верю... во всяком случае, больше, чем наполовину,— ответил Уиш.

— Клейтон,— сказал я,— вы для нас чересчур умелый враль. Все бы вообще ничего. Но это исчезновение... оно, знаете ли, было уж слишком убедительно. Признайтесь теперь, что все это вы сочинили.

Он встал, не отвечая, вышел на середину комнаты и повернулся лицом в мою сторону. Минуту он сосредоточенно разглядывал носы своих ботинок, а потом перевел напряженный взгляд на противоположную стену и так и замер. Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал...

Дело в том, что Сэндерсон у нас масон, член ложи Четырех Королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн, и среди ученых этой ложи Сэндерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своем красноватом глазу.

— Неплохо,— сказал он, когда все было кончено.— Вы знаете, Клейтон, вы действительно проделали все

это на удивление правильно. В одном месте только упустили одну деталь.

— Знаю,— ответил Клейтон.— Я даже, наверное, смог бы показать вам, в каком именно.

— В каком же?

— Вот.— И Клейтон странным образом изогнул и вывернул руки, выставив вперед ладони.

— Да.

— Вот это-то как раз у него и не получалось,— пояснил Клейтон.— Но вы-то откуда?..

— Во всей вашей истории мне многое непонятно, в особенности, как вы могли это сочинить,— сказал Сэндерсон.— Но вот с этой стороной я как раз знаком.— Он подумал немного, а потом продолжал: — Эти пассы... связаны с определенным мистическим течением внутри масонства... Вам, наверное, известно... а иначе откуда бы вы?..— Он подумал еще немного.— По-моему, не будет вреда, если я покажу вам правильный поворот ладоней. В конце концов, раз вы знаете, так знаете, а не знаете, так не знаете.

— Я не знаю ничего,— сказал Клейтон,— кроме того, что открыл мне этот бедняга минувшей ночью.

— Ну, все равно,— произнес Сэндерсон, с величайшей осторожностью положил на каминную доску свою глиняную трубку и проделал какое-то быстрое движение кистями рук.

— Вот так? — спросил Клейтон, повторяя движение за ним.

— Так, — ответил Сэндерсон и снова взял свою трубку.

— Ну, а теперь,— сказал Клейтон,— я могу проделать все правильно от начала до конца.

Он стоял перед прогоревшим камином и, улыбаясь, обвел нас взглядом. Но, по-моему, в его улыбке сквозила тень нерешительности.

— Если я сейчас начну...— проговорил он.

— По-моему, лучше не начинать,— сказал Уиш.

— Что вы! — возразил Эванс.— Материя не уничтожается. Неужели вы думаете, что все эти фокусы-покусы могут перенести Клейтона в мир теней? Ну уж нет! Что до меня, Клейтон, то можете упражняться сколько вам будет угодно, пока руки не отвалятся.

— Я не согласен,— сказал Уиш, вставая, и обнял Клейтона за плечи.— Вы заставили меня наполовину поверить этому вашему рассказу, и я не хочу видеть, как все это будет на деле.

— Бог ты мой! — удивился я.— Уиш-то испугался.

— Да,— сказал Уиш с истинным или восхитительно наигранным чувством.— Я верю, что если он проделает все, как надо, его не станет.

— Да что вы! — воскликнул я.— Для смертных есть только один путь из этого мира, и Клейтона отделяет от него по меньшей мере тридцать лет. Да к тому же... Такое жалкое привидение! Неужели вы думаете?..

Но Уиш, не дав ему договорить, раздвинул наши кресла и подошел к столу.

— Клейтон,— сказал он,— вы глупец.

Клейтон, оживившись, улыбнулся ему в ответ.

— Уиш прав,— сказал он,— а вы все неправы. Я исчезну. Я проделаю все пассы до конца, и когда я последним взмахом рук разрежу воздух — р-раз! — на этом коврике уже не будет никого, в комнате воцарится немое изумление, а почтенный джентльмен пяти пудов весом окажется перенесенным в мир теней. Я убежден в этом. И вы тоже убедитесь. Не желаю больше спорить. Давайте испытаем на деле.

— Нет! — Уиш сделал было шаг вперед, но остановился, и Клейтон, подняв руки, приготовился еще раз проделать пассы бедного духа.

К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша. Мы не сводили глаз с Клейтона, и у меня по крайней мере при этом в спине было такое ощущение, будто я весь, от затылка до копчика, превратился в стальную пружину. А Клейтон с полной серьезностью, с какой-то уже высшей невозмутимостью качался и кланялся, выворачивая ладони, и крутил руками. И по мере того, как он приближался к концу, это становилось невозможно переносить, даже в зубах начался какой-то зуд. Последнее движение, как я уже говорил, состояло в том, что руки разводились в стороны и голова запрокидывалась кверху. И когда он, размахивая руками, дошел до этого последнего пасса, у меня перехватило дыхание. Глупо, конечно, но знаете это чувство, которое испытываешь,

слушая рассказы о привидениях? Дело было вечером, после ужина, в старом, темном, таинственном доме. А что, если все-таки...

Долго, невыносимо долго он стоял так, раскинув руки и подняв спокойное лицо к ясному, прозаическому свету люстры. Мы замерли, казалось, на целую вечность, а затем с наших губ сорвался не то вздох облегчения, не то разочарованный возглас: «Нет!» Ибо мы увидели, что он не исчезает. Все это был вздор. Он рассказал нам досужую побасенку и едва не заставил нас в нее поверить, только и всего!.. Но в это мгновение лицо Клейтона изменилось.

Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он все стоял на месте. Стоял и легонько покачивался.

Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, все попадало, мы бросились к нему... Его колени подогнулись, и он рухнул вперед, прямо в объятия к подскочившему Эвансу.

Мы все оторопели. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили и все-таки никак не могли поверить... Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона, рубашка на груди у него разодрана, и рука Сэндерсона лежит прямо на сердце...

Ну, вот и все. То, что было перед нами, уже не требовало спешки: можно было подождать, пока происшедшее не будет осознано нами до конца. Он пролежал так целый час — он и по сей день лежит на моей памяти черным грузом недоумения. Клейтон и в самом деле перешел в иной мир, столь близкий и столь далекий от нашего, единственным путем, который доступен смертным. Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа или же его поразил апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно: что в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах — мертвый!

1903

КЛАД МИСТЕРА БРИШЕРА

— Жениться надо с разбором, знать, на ком женишься,— сказал мистер Бришер, задумчиво покручивая пухлой рукой длинные жидкие усы, которые скрывали у него отсутствие подбородка.

— Вот почему вы...— вставил я.

— Да,— продолжал мистер Бришер, мрачно глядя перед собой слезящимися серо-голубыми глазами; он выразительно покачал головой и дружески дохнул на меня спиртным перегаром.— Сколько раз пытались меня окрутить. В одном нашем городе я мог бы назвать многих, но никому это еще не удалось, поверьте, никому.

Я окинул взглядом его раскрасневшееся лицо, обширность его экватора, художественную небрежность его туалета и вздохнул, подумав, как опрометчиво поступает женский пол: вот человек поневоле останется последним отпрыском своего рода!

— Шустрым я был малым в прежние годы,— сказал мистер Бришер.— Трудненько иной раз приходилось, но я был настороже, всегда настороже, ну и спасся.

Он нагнулся ко мне через столик, видимо, раздумывая, заслуживаю ли я доверия или нет. Наконец я с облегчением увидел, что вопрос решен в мою пользу.

— Я был однажды помолвлен,— объявил мистер Бришер; он скользнул взглядом по стойке бара и погрузился в воспоминания.

— Так далеко зашло?

Он поглядел на меня.

— Да, так далеко зашло. Собственно говоря...— Он наклонился ко мне, понизил голос и жестом грязнова-

той руки как бы отстранил от себя презренный мир.— Собственно говоря, если она не умерла или не вышла за другого, я и сейчас еще помолвлен. Да, до сих пор,— заявил он, покачивая головой и скривив лицо.— Все еще! — сказал он, перестал гримасничать и, к моему удивлению, расплылся в самодовольной улыбке.— Я! Но я сбежал,— пояснил он, восхищенно вскидывая брови.— Унес ноги! И это еще не все! Верьте не верьте,— продолжал он, — но я нашел клад! Самый настоящий клад!

Я подумал, что это ирония, и, быть может, не проявил достаточного удивления.

— Да,— сказал он.— Нашел клад. И унес ноги. Говорю вам, вы до смерти удивитесь, если я расскажу, что со мной случилось.

Он несколько раз повторил, что нашел клад и не воспользовался им.

Я не стал приставать к нему с расспросами, но поспешил позаботиться о телесных нуждах мистера Бришера и только после этого навел его снова на разговор о покинутой невесте.

— Милая была девушка,— сказал он не без грусти, как мне показалось,— и очень порядочная.

Он поднял брови и поджал губы, изображая исключительную порядочность, идущую гораздо дальше того, что нравится нам, пожилым людям.

— Это случилось далеко отсюда, точнее говоря, в Эссексе. Близ Колчестера. Я тогда жил в Лондоне, подвизался по строительной части. Шикарным пареньком я был тогда, скажу я вам! Стройным! Выходной костюм — мое почтение! И цилиндр, обратите внимание! — Рука мистера Бришера взлетела над головой в беспредельность, показывая, каким высоким был его цилиндр.— Зонтик, отличный зонтик с роговой ручкой. Сбережения! Я знал цену деньгам, расчетливым был.

Он ненадолго задумался, как все мы рано или поздно задумываемся над утраченным блеском юности. Но от прописных истин воздержался, как и подобает в баре.

— Я познакомился с ней через приятеля: он с ее сестрой был помолвлен. Она гостила в Лондоне у тетки, державшей мясную лавку. Тетка была очень строгая — все ее родственники отличались строгостью,— и старуха

пускала свою племянницу гулять с моим приятелем лишь с сестрой, то есть с моей Джен. Вот он и втянул меня в эту затею, ну, просто, чтобы ему удобнее было. Мы всегда в воскресенье под вечер отправлялись в Баттерсипарк. Я в цилиндре, он тоже, и девушки, само собой, в полном параде. И в Баттерси-парке мы были под стать другим. Красивой Джен не назовешь, но лучшей девушки я не встречал. Мне она понравилась с самого начала, и что ж — самому, пожалуй, это говорить и не пристало,— но я ей тоже пришелся по душе. Знаете, как это бывает?

Я сделал вид, что знаю.

— И что же, вы думаете, этот малый сделал, когда женился на ее сестре? Мы с ним были в большой дружбе, ну, он возьми да пригласи меня к себе в Колчестер. Она там поблизости жила. Понятно, меня представили ее родным, так вот и вышло, что скоро мы с ней были помолвлены... Помолвлены! — повторил он.

— Она жила с отцом и матерью, как полагается молодой леди. У них был чудесный домик с садом. На редкость почтенные люди и вдобавок довольно богатые. У них был собственный дом, купили по дешевке у Строительного общества: прежний владелец кого-то ограбил и сидел в тюрьме. Да еще были у них клочок земли и несколько коттеджей, и денежки у них водились под верными закладными. Одним словом, люди хоть куда. Скажу вам прямо, я было уж совсем решился. А мебель! Ух! У них даже пианино было. Джен, ее Джен звали, по воскресеньям играла, и как здорово играла! В книге псалмов не было священной песни, которую она не могла бы сыграть!

Мы часто сходились по вечерам и пели псалмы: и я, и она, и все семейство.

Ее отец был очень видным человеком в церкви. Вы бы посмотрели на него в воскресный день, когда он перебивал священника и сам запевал псалмы! Помню, он носил золотые очки. Бывало, глянет поверх них на вас, а сам так и заливается, уж очень душевно он славил господа. И если случалось ему сбиться с такта, половина прихожан сбивалась вместе с ним, это как пить дать! Вот какой был человек! Идешь иной раз за ним, а он весь в черном, и на голове этакая широкополая шляпа, так невольно гордость возьмет, что тебе такой тесть попался.

Когда настало лето, я поехал туда и гостил у них две недели. Впрочем, надо вам сказать, была в этом деле одна заминка,— вздохнул мистер Бришер.— Мы с Джен хотели пожениться, и делу конец. А папаша говорил, что раньше я должен «занять положение». Вот и вышла заминка. Ну, значит, я поехал туда и из кожи лез, чтобы показать, какой я толковый и нужный малый. Хотел показать, что я мастер на все руки. Понятно?

Я сочувственно хмыкнул.

— А за домом у них, в самой глубине сада, было такое заброшенное местечко. Я и говорю старику: «Почему бы вам не разбить здесь цветник и камнями обложить, все честь честью? Красиво!»

— Дорого обойдется,— говорит.

— Ни гроша не будет стоить,— говорю.— Я дока по части цветников. Давайте я вам сделаю.— Я, видите ли, помогал брату цветник разбивать в саду для гостей за его баром и знал, с какого конца за это взяться.— Давайте,— говорю,— я вам сделаю. Я, правда, в отпуске, но уж такой я человек: не могу,— говорю,— сидеть сложа руки. Разобью вам цветник по всем правилам. Короче сказать, он мне разрешил.

Тут-то я и наткнулся на клад.

— Какой клад? — спросил я.

— Эх! — произнес мистер Бришер.— Тот самый, о котором я вам говорил. Из-за него-то я и остался холостяком на всю жизнь.

— Как?! Вы откопали клад?

— Да, зарытое сокровище, клад нашел. Он сам мне в руки дался. Я же говорил вам, настоящий клад!

Он посмотрел на меня без обычной почтительности.

— Клад был зарыт неглубоко, на крышке земли лежало около фута,— продолжал он.—Я не успел опомниться, как наткнулся на угол.

— И что дальше? — спросил я.— Я что-то не понимаю.

— Чего же там не понимаете? Как только я за сундук взялся, сразу и сообразил, что в нем клад! Чутье подсказало. Словно внутри у меня что-то крикнуло: «Вот твое счастье! Бери и помалкивай!» Хорошо, что я знал законы о ценных находках, а не то я бы тут же заорал. Вы ведь знаете...

— Казна забирает все и выдает один процент. Прямо безобразие! Ну, а дальше? Что же вы сделали?

— Открыл сундук. В саду и вообще кругом ни души. Джен помогала матери убирать комнаты. И волновался же я, скажу вам! Сперва попробовал замок, потом тяпнул по петлям. Сундук открылся. Серебро! Полно серебряных монет! Блестят. Как увидел, меня всего так и затрясло. И надо же, чтобы тут как раз мусорщик вышел из-за дома. У меня чуть сердце не оборвалось. Думаю, какой же я дурак, что у меня все эти деньги на виду. А тут еще сосед —он тоже был в отпуске — вздумал поливать бобы в своем огороде. Что, если бы он взглянул через забор?

— Что же вы сделали?

— Захлопнул крышку и давай скорехонько засыпать. Потом принялся, как сумасшедший, рыть землю в ярде от того места. А рожа у меня улыбалась, можно сказать, сама по себе, пока всю работу не кончил. Одна мысль в голове вертится: как бы скрыть это дело,— больше ни о чем думать не мог. «Клад,— шепчу,— клад! Сотни фунтов! Сотни и сотни фунтов!» Шепчу, а сам рою вовсю. И все мне мерещилось, что сундук торчит наружу и виден, как ноги из-под одеяла, когда человек лежит в постели. Поэтому я еще накидал сверху всю ту землю, что была вырыта из ямы для цветника. И взмок же я! А тут из дома притопал сам папаша. Он мне ничего не сказал. Стоит у меня за спиной и глаз не сводит. Потом я от Джен узнал, что он вернулся в дом и говорит: «Этот твой олух, Джен,— он всегда меня олухом почему-то обзывал,— все-таки умеет на работу приналечь». Ясно, что я на него впечатление произвел.

— Какой длины был сундук? — вдруг спросил я.

— Какой длины? — переспросил мистер Бришер.

— Да, ну каких размеров?

— А! Примерно вот столько на столько.

Мистер Бришер показал длину и ширину сундука средних размеров.

— Полный? — спросил я.

— Доверху полный серебряных монет, полукрон, кажется.

— Послушайте! — воскликнул я.— Ведь это значит сотни фунтов!

— Тысячи! — с каким-то печальным спокойствием подтвердил мистер Бришер.— Я высчитал.

— Но как они туда попали?

— Не знаю. Знаю только, что их нашел. Думаю же я вот что: молодчик, который владел домом до ее отца, был заправский грабитель. Что называется, преступник высшей марки. В собственной коляске, развалившись, ездил.— Мистер Бришер остановился перед сложностями задачи рассказчика и наконец разразился длинным вводным периодом: — Не помню, говорил ли я вам, что это был дом одного разбойника, раньше чем попал к тестю, и я знал, что он раз ограбил почтовый поезд. Это я знал. И вот я подумал...

— Это вполне возможно,— согласился я.— Но что же вы дальше сделали?

— Трудился, можно сказать, до седьмого пота,— отвечал мистер Бришер.— С меня прямо градом текло. Все утро. Я делал вид, что разбиваю цветник, а сам все думал, как мне быть. Пожалуй, я рассказал бы ее отцу, только я сомневался в его честности: боялся, как бы он не обобрал меня и не передал все властям. А потом, раз я собирался жениться и войти в семью, я считал, пусть лучше эти деньги принесу в дом я, и они, так сказать, поднимут мне цену в их глазах. Наконец, у меня оставалось еще три дня отпуска, так что спешить было некуда. Я все и засыпал землей и продолжал копать и раздумывать, как уберечь клад. И ничего не мог придумать. Все голову ломал и ломал,— продолжал мистер Бришер.— Меня даже сомнение взяло, вправду ли я видел эти монеты. Я перешел на то место и опять разрыл землю, но как раз вышла мамаша Джен белье развешивать. Опять на меня трясучка напала. А позже, только я собрался еще раз взяться, приходит Джен и зовет обедать. «Яму-то,— говорит,— какую вырыл, верно, проголодался теперь очень!»

За обедом я был, как в тумане. Из головы все не шло: «А вдруг сосед перемахнул через забор и сейчас набивает себе карманы?» Но потом стало легче на душе. «Раз деньги лежали там так долго, — думаю, — еще полежат». Тогда я завел разговор, чтобы выпытать у старика, как он вообще смотрит на всякие там находки.

Мистер Бришер остановился и сделал вид, будто воспоминание об этом разговоре доставляет ему поистине удовольствие.

— Старик оказался язвой,— сказал он.— Настоящей язвой!

— Как? — удивился я.— Неужели он хотел?..

— Вот как было дело,— пояснил мистер Бришер, дружески взяв меня за руку и дыша мне в лицо, чтобы успокоить.— Я хотел выпытать у него, что он думает, и рассказал ему историю про моего приятеля (все нарочно выдумал, понимаете!), который взял напрокат пальто и будто нашел в нем соверен. «Мой приятель оставил золотой себе, но я,— говорю,— не уверен, правильно ли он поступил». Тут старик и начни. Господи, и отчитал же он меня! — Мистер Бришер сделал вид, что его все это очень забавляет.— Старик был, можно сказать, на редкость вредный. Конечно, говорит, он так и знал, других друзей, мол, у меня и быть не может. Иного поведения, говорит, и нельзя было ожидать от друга безработного бродяги, который заводит шуры-муры с чужими дочками. Каково, а? Чего только он не наговорил! И половины не передашь! Как заведенный сыпал, и все такое оскорбительное! Я стал возражать ему, только чтобы побольше выведать. «Разве,— говорю,— вы не взяли бы себе полсоверена, если бы нашли на улице?» «Конечно, нет! — отвечает.— Конечно, не взял бы!» «Как же так? — говорю.— Ведь это было бы вроде клада!» А он мне на это: «Молодой человек, есть мудрость, которая превыше моей. «Кесарево кесарю...», как дальше там сказано? И принялся расписывать. Да! Ничего не скажешь, ловкий был старик, умел трахнуть людей библией по голове. Говорит, удержу нет. Наконец стал подпускать такие шпильки, что терпение у меня лопнуло. Джен-то я обещал не отвечать ему на обидные слова, но тут меня прорвало!

Загадочными гримасами мистер Бришер старался уверить меня, что одержал верх в этом словесном поединке, но меня не так легко было провести.

— Наконец зло меня взяло, и я ушел, когда понял, что клад мне придется поднимать одному. Но я подбодрился, когда подумал, как утру старому черту нос, когда денежки будут у меня...

Он помолчал.

— Так вот, поверите ли, за все три дня у меня не было случая подобраться к проклятому сундуку. Ни полкроны я не вынул оттуда: всегда что-нибудь мешало.

Удивительно, как мало люди задумываются вот над чем,— продолжал мистер Бришер.— Найти клад — не такое уж большое дело. А вот попробуйте унести его. Мне кажется, я в эти ночи ни на минуту глаз не закрыл. Все думал, как мне прибрать его к рукам, да что я с ним буду делать, да как я объясню, откуда взял такое богатство. Прямо заболел. Все дни ходил такой хмурый, что Джен разозлилась. «Ты,— говорит,— совсем не тот, что был в Лондоне». И это она повторила несколько раз. Я пытался взвалить все на папашу и на его шпильки, но, с позволения сказать, у нее свое было на уме: забрала себе в голову, что я втюрился в другую. Говорит, будто я изменил ей. Ну, мы с ней поцапались чуточку, но я так помешался на этом кладе, что мне было наплевать на все ее слова. В конце концов я придумал план. Я всегда был на этот счет мастак; планы составлять — это по моей части, вот только выполнить — с этим у меня похуже. Я обдумал все подробно и, значит, наметил план. Прежде всего я хотел унести полные карманы этих самых полукрон — понятно? А потом... ну, вы дальше увидите.

Я дошел до такого состояния, что не мог и подумать о том, чтобы сунуться к сундуку среди дня. Стало быть, я дождался ночи и, когда все стихло, встал и прокрался к задней двери: хотел набить себе карманы. И надо же мне было в кухне споткнуться о ведро! Тут папаша выскакивает с пистолетом: чутко спал старик, и недоверчив он был притом; пришлось объяснять, что я шел к колодцу попить, потому графин у меня был с трещиной. Ну, сами понимаете, прежде чем уйти, пришлось выслушать разные обидные слова.

— И вы хотите сказать...— начал я.

— Погодите,— остановил меня мистер Бришер.— Я говорил вам, что у меня был план. Вышла маленькая заминка, но главному плану это нисколько не повредило. На другой день я вышел и закончил цветник, словно никаких обидных слов и сказано не было. Обмазал камни цементом, покрыл зеленой краской, и все такое прочее. Еще положил зеленый мазок там, где был сун-

дук. Все вышли посмотреть и говорили, как красиво у меня получилось, и даже старик чуточку подобрел, когда увидел. Но он только сказал: «Жаль, что ты не всегда так трудишься. А то мог бы добиться чего-нибудь путного».

— Да,— говорю (не удержался),— я много вложил в этот цветник. Так и сказал! Чувствуете? Когда я говорил, что много вложил в цветник, я, конечно, имел в виду...

— Чувствую,— поспешил я сказать, ибо мистер Бришер любил растолковывать свои остроты.

— А он не понял,— сказал мистер Бришер.— По крайней мере тогда. А когда все было кончено, я уехал в Лондон... Да, уехал в Лондон.

Пауза.

— Только я вовсе не в Лондон уехал,— снова заговорил мистер Бришер с внезапным оживлением и приблизил свое лицо к моему.— Будьте покойны! Как вы думаете?.. Дальше Колчестера я не поехал ни на шаг. Лопату я оставил в таком месте, что мог сразу найти. Все у меня было обдумано наилучшим манером. В Колчестере я нанял тележку и сказал, что поеду в Ипсвич, там переночую и вернусь на следующий день. Мне пришлось оставить два соверена в залог, и я поехал.

Только вовсе не в Ипсвич.

В полночь я привязал лошадь и тележку у дороги, шагах в пятидесяти от дома Джен, и вмиг был на месте. Ночь была самая подходящая для такого дела. Собрались тучи, душновато было. По всему небу зарницы играли, вскоре надвинулась гроза. И вдруг началось! Сперва упало несколько крупных капель, они вроде как обожгли меня. И сразу град. Я продолжал работать: швырял себе землю и совсем не думал, что старик может услышать. Я даже не заботился о том, чтобы не стукнуть лопатой. Гром, молния, град только раззадоривали меня. Не удивлюсь, если я даже пел. Я так старался, что начисто забыл и про гром, и про свою конягу, и про тележку. Очень скоро я добрался до сундука и начал поднимать его...

— Небось, тяжелый был? — спросил я.

— Ух, тяжеленный! Не поднять! Меня зло разобрало. Ведь об этом я не подумал! Тут я рассвирепел, ска-

жу вам, и начал ругаться. Просто вне себя был. В ту минуту мне не пришло в голову разделить груз на части. Да и не мог же я бросать деньги прямо в тележку. С досады поднял я за один конец сундук, и все содержимое посыпалось оттуда разом, со страшным шумом, настоящий серебряный потоп! И вслед за этим — молния! Осветила все кругом, как днем! Смотрю, задняя дверь открыта и старик ковыляет в сад со своим паршивым старым пистолетом. В ста шагах от меня был.

Ну, скажу вам, я вконец растерялся, совсем уж не соображал, что делаю. Не задержался даже, чтобы набить карманы. Стрелой прямо через забор и во весь дух помчался к тележке. Бегу, а сам ругаюсь, чертыхаюсь. Ну и перетрусил же я — всего перевернуло...

И, поверите ли, когда я добежал до места, где оставил лошадь и тележку, гляжу, а их след простыл. Уф! Как я это увидел, и ругаться больше не мог. Только топал ногами и прыгал, а потом взял и махнул в Лондон... Конченый был человек.

Мистер Бришер задумался.

— Конченый человек,— с горечью повторил он.

— Ну и что же? — спросил я.

— Вот и все,— сказал мистер Бришер.

— Вы не вернулись?

— Будьте покойны! Довольно намучился с этим проклятым кладом. А кроме того, я не знал, что делают с теми, кто присваивает себе находки. Я тут же подался в Лондон.

— И больше не возвращались?

— Нет.

— А как же Джен? Вы ей писали?

— Три раза. Удочку закидывал. Не ответила. Перед разлукой мы повздорили из-за ее ревности. Так что я не мог наверняка решить, отчего ответа нет.

Я не знал, что делать. Не знал даже, разглядел ли меня старик. Просматривал газеты: все хотел знать, когда он сдаст клад в казну. Сомнений у меня на этот счет не было: ведь он таким почтенным считался.

— Ну и как?

Мистер Бришер сжал губы и медленно покачал головой.

— Не таковский он! Джен была милая девушка,— продолжал он,— очень милая девушка, заметьте, хотя и ревнивая. Кто знает, может, я и мог бы вернуться к ней немного погодя. Я думал: если старик не сдал клада, я смог бы вроде как держать его в руках. Ну, хорошо. Как-то проглядываю по привычке газету, нет ли чего из Колчестера, и вдруг вижу его имя. А по какому поводу, как вы думаете?

Я не мог отгадать.

Мистер Бришер понизил голос до шепота, прикрывая рот рукой. Его лицо просто светилось радостью.

— Распространение фальшивых монет,— прошептал он,— понимаете вы, фальшивых монет!

— Неужели вы хотите сказать?..

— Да. Именно! Скверная штука. Из этого сделали громкий процесс. Пришлось старику туго, как он ни вертелся. Сумели доказать, что он спустил — подумайте! — около десятка фальшивых полукрон.

— И вы ничего не...

— Еще чего! Да и какая была бы ему польза, если б это назвали присвоением ценной находки!

1903

ВИДЕНИЕ СТРАШНОГО СУДА

1

Тра-а-ра-а!

Я прислушивался, ничего не понимая.

Та-ра-ра-ра!

— Боже мой! — пробормотал я спросонья.— Что за дьявольский тарарам!

— Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Та-ра-рра-ра!

— Этого вполне достаточно,— сказал я,— чтобы разбудить человека...— И внезапно замолк.— Где же это я?

— Та-рра-рара! — Все громче и громче.

— Это, верно, какое-нибудь новое изобретение или...

Снова оглушительное турра-турра-турра!

— Нет,— сказал я погромче, чтобы расслышать свой собственный голос.— Это трубный глас в день Страшного суда.

— Тууу-рра!

2

Последний звук вытащил меня из могилы, как вытаскивают на крючке пескаря.

Я увидел свой надгробный памятник (довольно-таки заурядная штука; хотел бы я знать, кто это его соорудил?). Затем старый вяз и расстилавшееся вдали море исчезли, как облако пара, и вокруг меня оказалось великое множество людей (ни один смертный не мог бы их сосчитать): представители всех народов, всех языков и всех стран, дети разного возраста — и все это толпилось в необъятном, как небо, амфитеатре. А высоко

над нами, на ослепительно белом облаке, служившем ему престолом, восседал господь бог и весь сонм его ангелов. Я сразу узнал Азраила по его темному одеянию, Михаила—по мечу, а величавый ангел, издававший трубный глас, все еще стоял с трубою в воздетой руке.

3

— Ничего не скажешь, быстро орудуют,— проговорил невысокий человечек, стоявший рядом со мной.— Удивительно быстро! Видите вон того ангела с книгой?! — И, чтобы получше рассмотреть, он то приседал, то вытягивал шею, глядя сквозь множество окружавших нас душ.

— Все здесь,— сказал он.—Решительно все. Теперь-то уж мы узнаем!..

— Вот Дарвин,— прибавил он, внезапно отклоняясь от темы.— Ему здорово попадет! А видите вон того высокого, представительного мужчину — он ловит взгляд господа бога — это сам герцог... Но здесь пропасть незнакомых людей!

— А-а! Вот и Пригглз, издатель. Чудно́й народ эти печатники! Пригглз был умный малый... Но мы узнаем и о нем всю подноготную! Уж я буду слушать во все уши. Я еще успею потешиться. Ведь моя фамилия на букву «С».

Он со свистом втянул воздух.

— А вот и исторические личности! Видите? Вон Генрих Восьмой. Ему-то многое припомнится. Черт побери! Ведь он Тюдор! — Он понизил голос.— Обратите внимание на этого парня, прямо перед нами, он с ног до головы оброс волосами. Это, видите ли, человек каменного века. А там опять.

Но я уже не слушал его болтовни, потому что уставился на господа бога.

4

— Это все? — спросил господь бог.

Ангел с книгой в руках (перед ним лежало бесчисленное множество таких книг, совсем как в читальне Британского музея) бросил на нас взгляд и, казалось, в одно мгновение всех пересчитал.

— Все,— отвечал он и добавил: — О господь, это была очень маленькая планета.

Бог внимательно оглядел всех нас.

— Итак, начнем,— промолвил он.

5

Ангел раскрыл книгу и произнес какое-то имя. Там несколько раз повторялся звук «а», и эхо раздалось со всех сторон, из глубины необозримого пространства. Я не расслышал имени, потому что человечек, стоявший рядом со мной, отрывисто выкрикнул: «Что такое?!» Мне показалось, что имя прозвучало как «Ахав», но это же не мог быть тот Ахав, о котором упоминается в Ветхом завете.

В тот же миг небольшая черная фигура вознеслась на пушистом облаке к стопам господа бога. Это был осанистый мужчина в богатом чужеземном одеянии, с короной на голове; он сложил руки на груди и мрачно опустил голову.

— Итак? — промолвил бог, глядя на него сверху вниз.

Мы могли ясно расслышать ответ, ибо здесь акустика была поистине замечательной.

— Я признаю себя виновным,— сказал человечек.

— Поведай им о своих деяниях,— молвил господь бог.

— Я был королем,— начал человечек,— великим королем. Я был похотлив, горд и жесток. Я воевал, опустошая чужие страны; я воздвигал дворцы, но построены они на человеческой крови. Выслушай, о господь, всех этих свидетелей, взывающих к тебе о возмездии. Сотни и тысячи свидетелей.— Он указал на них рукой.— Мало того! Я велел схватить пророка — одного из твоих пророков.

— Одного из моих пророков,— повторил господь бог.

— Он не желал склониться передо мной, и я пытал его четыре дня и четыре ночи, до последнего его издыхания... Более того, о господь! Я богохульствовал. Я присвоил себе все твои преимущества.

— Присвоил себе мои преимущества,— повторил господь бог.

— Я заставил воздавать себе божественные почести. Нет такого греха, которого бы я не совершил! Нет такого злодеяния, которым я не осквернил бы свою душу! И вот наконец ты, господь, покарал меня!

Бог слегка повел бровями.

— Я был убит в сражении. И вот я стою перед тобою, достойный самой жестокой кары в твоем аду. Я не дерзаю лгать, не дерзаю оправдываться перед лицом твоего величия и возвещаю о своих беззакониях в присутствии всего рода человеческого.

Он умолк. Я хорошо разглядел его лицо. Оно показалось мне бледным и грозным, гордым и странно величавым. Я невольно вспомнил Сатану Мильтона.

— Большая часть сказанного взята с надписи на его обелиске,— молвил ангел, который следил по книге, водя перстом по странице.

— В самом деле? — не без удивления вымолвил тиран.

Тут бог внезапно наклонился, взял этого человека и посадил его себе на ладонь, словно для того, чтобы получше рассмотреть. Человечек казался лишь темным штрихом на середине его длани.

— Он действительно совершил все это? — спросил господь бог.

Ангел провел десницей по книге и молвил как-то небрежно:

— До известной степени это так.

Взглянув опять на человечка, я обнаружил, что его лицо странным образом изменилось. Он смотрел на ангела глазами, полными ужаса, прикрывая одной рукой рот, другой схватившись за голову. Куда девалось его царственное величие и дерзкий вызов?

— Читай,— промолвил господь бог.

И ангел читал, раскрывая перед нами во всех подробностях злодеяния этого изверга. Слушая его, мы испытывали чисто интеллектуальное наслаждение. В его отчете встречались, на мой взгляд, несколько «рискованные» места. Но небеса, конечно, имеют на это право...

6

Все смеялись. Даже у пророка всевышнего, которого подвергал пыткам этот тиран, появилась на устах

улыбка. Великий злодей на поверку оказался смешным, ничтожным человеком!

— И как-то раз,— продолжал ангел с улыбкой, возбудившей наше любопытство,— он переел и пришел в скверное настроение, и вот...

— О, только не это! — завопил изверг.— Никто на свете об этом не знает. Этого никогда не было! — визжал он.— Да, я был скверный человек, можно сказать, злодей. Я совершил немало преступлений, но я не способен на такую глупость, на такую чудовищную глупость...

Ангел продолжал читать.

— О господь! — взмолился злодей.— Они не должны об этом знать! Я готов покаяться! Просить прощения...

И злодей начал неистово прыгать на длани господней, горько плача. Внезапно им овладел стыд. Он кинулся в сторону, собираясь спрыгнуть с господнего мизинца. Но, быстро повернув свое запястье, господь остановил его; тогда он бросился к отверстию между большим и указательным пальцами, но большой палец прижал его к ладони. А между тем ангел все читал и читал, а злодей метался взад и вперед по ладони, потом вдруг повернулся к нам спиной и юркнул в рукав господень.

Я ждал, что господь выгонит его оттуда, но милость божья беспредельна.

Ангел остановился.

— Все,— сказал он.

— Следующий,— ответил бог, и, прежде чем ангел успел назвать имя, на ладони уже стояло обросшее волосами существо в грязных лохмотьях.

7

— Как! Разве ад в рукаве у бога? — спросил мой сосед.

— А существует ли вообще ад? — спросил я, в свою очередь.

— Я все глаза, признаться, проглядел,— сказал он, стараясь рассмотреть в просветах между ногами ангелов,— но что-то нигде не вижу небесного града.

— Ш-ш-ш,— прошептала, сердито нахмурившись, маленькая женщина, стоявшая возле нас.— Послушайте, что поведает нам сей великий святой!

8

— Он был владыкой земли, а я был пророком бога небесного,— вскричал святой,— и, узрев меня, дивились смертные! Ибо я, господи, познал всю славу твоей райской обители. Мне наносили удары ножом, загоняли под ногти лучины, сдирали полосами мясо со спины, но все муки, все терзания я с радостью переносил во славу твою!

Бог улыбнулся.

— И под конец я пошел еле прикрытый лохмотьями, весь в язвах, и смрад исходил от меня, но я объят был святым рвением.

У Гавриила вырвался смешок.

— И я лег у ворот тирана,— продолжал святой,— как некое знамение, как живое чудо...

— Как некая мерзость,— промолвил ангел и начал читать про святого, не обращая внимания, что тот все твердил о жесточайших мучениях во славу божью, которым он себя подвергал, чтобы обрести блаженство рая.

И представьте, все, что было написано в книге об этом святом, также оказалось откровением и чудом.

Мне кажется, не прошло и десяти секунд, как святой, в свою очередь, заметался на великой длани господней. Не прошло и десяти секунд! И вот он тоже завопил, слушая беспощадные разоблачения, и, подобно злодею, спасся бегством под защиту рукава господня. И нам дозволено было туда заглянуть. Там, под сенью божьего милосердия, бок о бок, как братья, сидели эти два существа, утратившие все свои иллюзии.

Туда же спасся бегством и я, когда пришел мой черед.

9

— А теперь,— промолвил бог, вытряхивая нас из своего рукава на планету, где нам суждено было жить, на планету, быстро вращавшуюся вокруг своего солнца, сиявшего зелеными огнями Сириуса.

— Теперь, когда вы стали немного лучше понимать и меня и друг друга... попробуйте-ка снова.

Затем он и окружавшие его ангелы повернулись и внезапно исчезли.

Исчез и престол.

Вокруг меня простиралась прекрасная страна, какая мне и во сне не снилась: пустынная, суровая и чудесная. И меня окружали просветленные души людей в новых, преображенных телах.

1911

ДВЕРЬ В СТЕНЕ

I

Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про «дверь в стене». Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа.

Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной.

— Он мистифицировал меня! — воскликнул я.— Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал.

Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать.

Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным.

Пусть судит сам читатель!

Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека — случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.

Тут у него вдруг вырвалось:

— У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться,— продолжал он, немного помолчав,— я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.

Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном.

— Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? — внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент.

Так вот...— И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казались ему глупыми, скучными и пустыми.

Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня

сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. «Внезапно,— заметила она,— он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним...»

Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать.

Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой.

Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой «двери в стене», о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса.

Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае, для него эта «дверь в стене» была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям.

Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет.

Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло.

— Я увидел перед собой,— говорил он,— ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены. Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья



«КЛАД МИСТЕРА БРИШЕРА»



«СТРАНА СЛЕПЫХ»

конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь, как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца.

По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, «совсем как взрослый», поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец — суровый, поглощенный своими делами адвокат — уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить.

Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо.

Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти.

Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти.

Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону.

Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь.

Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за

угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской.

Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери.

Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь.

Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада.

— В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно...

Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ.

— Видишь ли,— сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным.— Там были две больших пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину.

Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опав-

шими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: «Вот и ты!» — потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку,— это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые-престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби.

Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне

на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь.

Он умолк.

— Продолжайте,— сказал я.

— Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей—все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей — некоторых я помню очень ясно, других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд — все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то...

Он на секунду задумался.

— Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязались друг к другу.

Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти,— это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной.

Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам,— вслед кричали они.— Возвращайся скорей!»

Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на

их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения.

Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью.

Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением.

— Продолжай,—сказал я,— мне понятно.

— Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда, непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх.

— А дальше! — воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.

— Дальше! — настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб.

Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был — маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вер-

нуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: «Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!» Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда?

Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине.

— О, как мучительно было возвращение! — прошептал он.

— Ну, а дальше? — сказал я, помолчав минуту-другую.

— Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой.

— Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: «Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?» Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом.

Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... М-да!

Разумеется, за этим последовал суровый допрос,— мне пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, гувернанткой.

Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим

слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез.

К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!» Как часто мне снился этот сад во сне!

Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю.

Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и другими воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.

— А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? — спросил я.

— Нет,— отвечал Уоллес,— не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили.

Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже?

— Ну еще бы!

— В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?

II

Уоллес посмотрел на меня — лицо его осветилось улыбкой.

— Ты когда-нибудь играл со мной в «северо-запад-

ный проход»?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой.

Это была такая игра,— продолжал он,— в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать «северо-западный проход» в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. «Обязательно пройду»,— сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад.

Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном?

Он замолчал.

— Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли... в голове вертелась лишь одна мысль: поспеть вовремя в школу,— ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу... Подумай,

я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а?

Он задумчиво посмотрел на меня.

— Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями.

Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя.

Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька... Мы еще звали его Пройда...

— Гопкинс,— подсказал я.

— Вот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему.

Ну, а он взял да и выдал мою тайну.

На следующий день, во время перемены, меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его?

И Карнеби и Морли Рейнольдс. Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе...

Удивительное создание — ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу — Кроушоу-старшего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом.

Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре.

— Я сделал вид, что не слышу,— продолжал он.— Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда — каких-нибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ — истинная правда.

В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец вместо того, чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидали ни белой стены, ни зеленой двери...

— Ты хочешь сказать?..

— Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. Я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже,

когда я ходил один, мне также не удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу.

— Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи?

— Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь.

Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, я плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться,— об этой чудесной позабытой игре...

Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках.

Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку.

III

Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил:

— Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кэбе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления.

Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент

странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кэба и опустил руку в карман, вынимая часы.

— Да, сэр? — сказал любезно кучер.

— Э-э, послушайте! — воскликнул я.— Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте!

Мы проехали дальше...

Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене.

«Если бы я остановил извозчика,— размышлял я,— то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру». Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы.

Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь — дверь моей карьеры.

Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло.

— Да,— произнес он, вздохнув.— Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние.

Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями?

Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования...

Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь.

«Как странно,— сказал я себе,— а ведь я думал, что это где-то в Кэмиден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа [1]».

И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день.

Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь,— ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен...

Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными.

С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... и я видел его еще три раза.

[1] Древнейшее культовое сооружение друидов из множества камней.

— Как, сад?

— Нет, дверь. И не вошел.

Уоллес наклонился ко мне через стол и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска.

— Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь снова окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил.

Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год.

Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе.

В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики,— несомненно, это была она!

— Бог мой! — воскликнул я.

— Что случилось? — спросил Хотчкинс.

— Ничего! — ответил я.

Момент был упущен.

— Я принес большую жертву,— сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента.

— Так и надо! — бросил он на бегу.

Но разве я мог тогда поступить иначе?

Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент был опять-таки крайне напряженный.

Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер.

Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом.

Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю.

В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса.

Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хай-стрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь...

Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера — низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши.

Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так и не ответил на этот вопрос. «Они подумают, что я сошел с ума,— размышлял я.— Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля...» Это перетянуло чашу весов. В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений.

Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне.

— И вот я сижу здесь. Да, здесь,— тихо сказал он.— Я упустил эту возможность.

Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло...

— Откуда ты это знаешь?

— Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль, которая так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился.

При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне:

— Вот он, мой успех!

Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. За последние два месяца — да, уже добрых десять недель — я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад...

IV

Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине.

Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме,

близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес.

Я, как в тумане, теряюсь в догадках.

Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя.

Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания?

Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю.

Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело — как бы это сказать? — какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели.

Но кто знает, что ему открылось?

1911

СТРАНА СЛЕПЫХ

За триста с лишним миль от Чимборасо, за сто миль от снегов Котопахи, в самой глуши Эквадорских Анд, отрезанная от мира человеческого, лежит таинственная горная долина — Страна Слепых. Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями, по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди — две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндобамбы, когда семнадцать суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в кипяток, и до самого Гваякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения, и целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в Страну Слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья, и пришлось ему — хочешь не хочешь — забыть жену и ребенка, и всех друзей, и все свое добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал ее сызнова, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живет и поныне.

Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда еще ребенком его привезли привязанным к ламе между двух большущих тюков с пожитками. В долине, говорил он, было все, чего может желать человек: пресная вода, пастбища и ровный климат, склоны

тучного чернозема, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трех сторон серо-зеленые каменные утесы поднимали ввысь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить ее в сплошное, богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился. Одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорожденных, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах; и ему казалось, что причина напасти — небрежение к религии: среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую — недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа — священные реликвии, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво — с настойчивостью неумелого лгуна — он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все свои деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него божью помощь от своей болезни. Я так и вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей низины, и, лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды, и в каком безграничном отчаянии он стоял перед на-

громождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет. Жалким скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то «там за горами», которую можно услышать и сегодня.

А среди малочисленного населения отрезанной с тех пор и забытой долины болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых и не было других животных, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло окончательно, люди все же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронутое испанской культурой, но сохранившее притом некоторые традиции искусства и ремесел древнего Перу да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа. Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение поколением. Настал час, когда в пятнадцатом поколении ро-

дился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра искать помощи у бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ.

Он был уроженец горной страны по соседству с Квито, человек, ходивший в море и повидавший свет, по-своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трех своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параскотопетл — Маттергорн Анд — исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи; как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно драматической силой передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было; кричали и свистели и больше не спали в ту ночь.

Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного, склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там все уже терялось в бездне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой, зажатой между гор долине — утерянной Стране Слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей Страна Слепых, не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Пойнтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сего дня Параскотопетл вздымает свой непокоренный гребень и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах.

А упавший остался жив.

От края склона он пролетел вниз тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его

теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал, погребенный в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вместе и спасших его. Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати; потом с сообразительностью горца он осознал свое положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звезды. Лежа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошел поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез.

Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время он тупо глядел на белесый вздымавшийся перед ним утес, что с каждой минутой вырастал все выше из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической, таинственной красотою зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха.

Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитому лунным светом, он различил как будто темную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги; пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину. Здесь он лег, или скорей упал, у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул.

Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу.

Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножия высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Вни-

зу под ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, Нуньес нашел тесную расселину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться! Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок; а дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал — так как был наблюдателен — папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.

К полудню он выбрался наконец из ущелья на луговину и солнечный свет. Тело одеревенело от усталости. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из родника, выпил все до капли и лег отдохнуть, перед тем как двинуться дальше, к домам.

Вид у них был странный, да и вся долина, чем дольше он на нее смотрел, тем она ему казалась удивительней. Большую часть ее занимал сочный, зеленый луг, точно звездами, усыпанный красивыми цветами и обводненный с редкой заботливостью; покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормежки для тех же лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что придавало глухому поселку странно городской вид, и это впечатление еще усиливалось оттого, что во все концы в строгом порядке расходилось множе-

ство мощенных черным и белым камнем дорожек, и вдоль каждой дорожки тянулась еще какая-то забавная закраина. Дома в деревне не жались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях,— они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на диво чистой; тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры какой-то беспорядочной пестротой — обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или исчерна-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. «Ну и наляпал человек! — подумал он.— Верно, был слеп, как летучая мышь».

Он спустился по круче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая; поближе к деревне — ватагу валявшихся на земле детей, а еще ближе, совсем неподалеку,— трех мужчин, несших на коромыслах ведра по дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах — суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и позевывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна и такой у них был успокоительно-благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул что есть силы. Эхо раскатилось по долине.

Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нуньес махал во всю мочь руками. Но сколько он ни махал, те как будто не видели его и лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками— все так же безуспешно, и тут вторично слово «слепой» всплыло в его сознании. «Дурачье! Слепые они, что ли?» — подумал он.

Когда наконец, накричавшись и позлившись вдосталь, Нуньес пересек по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошел к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в Страну Слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него, и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними ссохлись. Что-то сродное с благоговейным страхом проступило на их лицах.

— Человек,— сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский.— Это человек — человек или дух, вышедший из скал.

А Нуньес подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и Стране Слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица:

«В Стране Слепых и кривой — король».

«В Стране Слепых и кривой — король».

Очень учтиво он поздоровался со слепцами. Он с ними говорил, а сам глядел в оба.

— Откуда он, брат Педро? — спросил один.

— Вышел из скал.

— Я пришел из-за гор,— сказал Нуньес,— из страны за горами, где люди — зрячие. Из окрестностей Боготы — города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно, докуда.

— «Не видно,— повторил про себя Педро.— Глазу не видно...»

— Из скал,— подхватил второй слепец.— Он вышел из скал.

Их одежда, примечал Нуньес, была странного покроя, и у каждого сшита по-своему.

Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперед рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведенных на него растопыренных пальцев.

— Поди сюда,— сказал третий слепец, подступив к нему так же на шаг, и мягко обхватил его.

Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать.

— Осторожно! — крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз. И убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично.

— Странное создание, Корреа,— сказал тот, кого звали Педро.— Какой у него жесткий волос! Как у ламы.

— Шершав, как скалы, породившие его,— сказал Корреа, ощупывая небритый подбородок Нуньеса мягкой, чуть влажной рукой.— Может быть, потом он станет глаже.

Нуньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его.

— Осторожно! — повторил он.

— Говорит,— сказал третий.— Это, конечно, человек.

— Ух! — крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку.

— Итак, ты пришел в мир? — спросил Педро.

— Пришел из мира. Из-за гор и ледников; прямо изза тех вершин, что на полдороге к солнцу. Из большого, большого мира, который простерся на двенадцать дней пути, до самого моря.

Они как будто и не слушали его.

— Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, — сказал Корреа: — теплом, влагой и гниением, да, гниением.

— Отведем-ка его к старейшинам,— предложил Педро.

— Сперва покричим,— сказал Корреа,— чтобы нам не напугать детей. Ведь это — чудище.

Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку.

— Я же зрячий,— сказал он.

— Зрячий? — переспросил Корреа.

— Да, зрячий,— повторил Нуньес, обернувшись к нему, и споткнулся о ведро Педро.

— Его чувства еще несовершенны,— сказал третий слепец.— Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку.

— Как хотите,— сказал Нуньес и, усмехнувшись, дал себя вести.

Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука!

Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице.

Эта первая встреча с населением Страны Слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения — куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалась ему издалека, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины (он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены) обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Все же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли:

— Дикий человек со скал.

— Богота,— сказал он.— Богота. За горным хребтом.

— Дикий человек говорит дикие слова,— пояснил Педро.— Вы когда-нибудь слышали такое слово — «богота»? Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке.

Маленький мальчик ущипнул его за руку.

— Богота,— передразнил он.

— Да. Город, не то что ваша деревня... Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят.

— Его имя — Богота̀,— решили слепцы.

— Он спотыкается,— сказал Корреа.— Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся.

— Отведем его к старейшинам.

Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным-темно и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлету грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Еще кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый

окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук. Получилась какая-то односторонняя драка. Он понял свое положение и затих.

— Я упал,— сказал он.— У вас тут не видно ни зги.

Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Корреа:

— Он лишь недавно сотворен, он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами.

Другие тоже что-то о нем говорили, но он не мог все как следует расслышать и понять.

— Можно мне сесть? — спросил он, воспользовавшись минутным молчанием.— Я больше не буду отбиваться.

Они посовещались и позволили ему сесть.

Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и Нуньес попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах — рассказать о них этим старейшинам, сидевшим во мраке в Стране Слепых. Но что он им ни говорил, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл; стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается, за скалистыми кручами, над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесенных ими от зрячего прошлого, и признали это все праздными домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многое в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные все истончавшимися слухом и осязанием. Нуньес постепенно это понял; ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось; и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и,

подавленный, слушал их назидания. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир (то есть их долина) был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума; затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последнее сильно озадачило Нуньеса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах.

Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное (у слепых это значило день и ночь), и объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его, Нуньеса, появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении,— и эти слова все столпившиеся у входа встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь (слепые день называли ночью) давно наступила и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть.

Ему принесли пищу — кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью — и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть неслышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал.

Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет, а рассмеется то добродушно, то негодующе.

— «Ум еще не сложился»,— повторял он.— «Не развиты чувства!» Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего ниспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать... Подумать!

Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.

Нуньес всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело волнение, и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения.

— Го-го! Сюда, Богота, сюда! — услышал он голос из деревни.

Он встал ухмыляясь. Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут.

— Что же ты не идешь, Богота! — сказал голос.

Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки.

— Не топчи траву, Богота: этого делать нельзя.

Нуньес сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении.

Человек, чей голос его кликал, бежал по черно-пегой мощеной дорожке прямо на него.

Нуньес опять вступил на дорожку.

— Вот я,— сказал он.

— Почему ты не шел на зов? — спросил слепец.— Что, тебя надо водить, как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?

Нуньес засмеялся.

— Я вижу ее,— сказал он.

— Нет такого слова «вижу»,— сказал слепой, помолчав.— Брось свой вздор и ступай за мной на звук шагов.

Нуньес, досадуя, пошел за ним.

— Придет и мое время,— сказал он.

— Ты научишься,— ответил слепой.— В мире многому надо учиться.

— А ты слыхал поговорку: «В Стране Слепых и кривой — король»?

— Что значит слепой? — небрежно бросил через плечо слепец.

Прошло четыре дня, и пятый застал короля слепых все еще скрывающимся среди своих подданных в обличье неуклюжего, никчемного чужака.

Провозгласить себя королем, увидел он, куда труднее, чем он предполагал, и пока что, обдумывая свой coup d'état [1], он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям Страны Слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь.

Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно разумеют люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой; у них было вдоволь и пищи и одежды; были дни и месяцы отдыха; они охотно занимались музыкой и пением; познали любовь и рождали детей.

Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам, каждая из дорожек, расходившихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены, все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изощрились, за пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица, касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко; они по-собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия; уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легки и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю.

Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением.

Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении.

— Смотрите, люди,— говорил он.— Многое во мне вам непонятно.

---

[1] Государственный переворот *(франц.)*.

Случалось иногда, двое-трое из них слушали его: сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит «видеть». Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у нее за веками прячутся глаза, и ее-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира: туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша — лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Насколько он умел описать им небо с облаками и звездами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия! Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно гладка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения. Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам, увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им: «Скоро Педро будет здесь». Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге, и тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на Десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Нуньеса подняли на смех, когда Педро так и не пришел, и после, когда он, желая оправдаться, насел на Педро с расспросами, тот все отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами.

Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены и чтоб его сопровождал один из них, а он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни — все то, что они сами

приметили для проверки,— а этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот, когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трех из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное: что он просто не может хладнокровно ударить слепого.

Он остановился в нерешительности и понял: от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы набок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше.

— Положи лопату,— сказал один.

И Нуньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался.

Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни.

Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущение. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооруженные лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались.

Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся. Но потом ему стало не до смеха.

Один слепец учуял его след на сырой траве и пошел по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу.

Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда; затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в исступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошел немного назад. Те выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь.

Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках. Не напасть ли на них?

Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: «В Стране Слепых и кривой — король».

Напасть на них?

Он оглянулся на высокую неприступную стену позади — неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток — и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие.

— Напасть?

— Богота! — крикнул один.— Богота! Где ты?

Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него.

— Я изобью их, если они меня тронут,— сказал он.— Видит бог, изобью!

И он громко закричал:

— Эй вы, я буду делать у вас в долине все, что захочу! Слышите? Буду делать, что хочу, и ходить куда хочу!

Они быстро надвигались на него — ощупью, но все же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только навыворот: глаза завязаны у всех, кроме одного.

— Держи его! — крикнул кто-то.

Нуньес увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. «Пора! — вдруг почувствовал он.— Нужно действовать решительно и быстро».

— Вы не понимаете! — крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно.— Вы слепые, а я зрячий. Оставьте меня!

— Богота! Положи лопату! И не ходи по траве.

Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал.

— Я вас изувечу! — взревел он, захлебываясь от бешенства.— Видит бог, я изувечу вас! Оставьте меня!

Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтоб уйти от их рядов, смыкавшихся все тесней. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуяв приближение его шагов, устремились друг к другу. Нуньес кинулся вперед, увидел, что

сейчас его схватят, и... стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу, человек упал, завопив от боли,— он пробился.

Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью.

Он услышал за собой шаги, услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопатой, промахнулся на целый ярд, завертелся вьюном и побежал прочь, с воплем шарахнувшись от другого слепца.

Ужас охватил его. В исступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди в окружной стене виднелась открытая калитка; это было как просвет в небо. Он кинулся к ней стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошел по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него, и лег, задыхаясь, наземь.

Так окончился его coup d'état.

Два дня и две ночи он провел за стеной Долины Слепых, без пищи и крова и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу: «В Стране Слепых и кривой — король». Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все ясней понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно.

Яд цивилизации проник даже в его родную Боготу, и, отравленный им, Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснет...

Он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы

затем как-нибудь убить ее — пришибить, что ли, камнем — и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нем врага, глядели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене Страны Слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры.

— Я был безумен, — сказал он, — но я только недавно создан.

Это им понравилось.

Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках.

И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен, но они это сочли за добрый знак.

Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет «видеть».

— Нет, — сказал он. — То было безумие. Это слово ничего не значит, меньше чем ничего.

Его спросили, что у нас над головой.

— На высоте десятью десяти человеческих ростов над миром простирается крыша... каменная крыша, гладкая-прегладкая...

Он опять истерически разрыдался.

— Не спрашивайте больше ни о чем, дайте мне сперва поесть, или я умру.

Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжелую черную работу, какая только нашлась, и он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали.

Несколько дней он был болен, и они заботливо ухаживали за ним. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крыш-

ке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой наваждения, не видя над собою этой крышки.

Так Нуньес сделался гражданином Страны Слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности, между тем как мир за горами становился все более далеким, нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб — добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба — Педро; и была Медина-Саротэ, младшая дочь Якоба. Ее не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица, и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине,— казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться; и у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха.

Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней.

Он наблюдал за ней, искал случая оказать ей небольшую услугу; и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Она тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице.

Он стал искать беседы с нею.

Однажды в лунную летнюю ночь он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюбленного, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она

не дала ему определенного ответа, но было ясно, что его слова ей приятны.

С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашептывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении.

Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описания звезд и гор и своей собственной нежной, лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она все понимает и верит всему.

Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у Якоба и старейшин, но она робела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила Якобу, что Медина-Саротэ и Нуньес любят друг друга.

Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине-Саротэ вызвала сначала сильные возражения: не потому чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса считали существом особого рода — кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сестры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был посвоему расположен к неуклюжему, послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно. Всю молодежь приводила в ярость мысль о порче расы, а один парень так разошелся, что грубо обругал Нуньеса и ударил его. Нуньес не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак все еще признавали немыслимым.

Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече.

— Пойми, моя родная, он же идиот. Он бредит наяву; он ничего не умеет делать толком.

— Знаю,— плакала Медина-Саротэ.— Но он сейчас лучше, чем был. Он становится все лучше. И он си-

лен, дорогой мой отец, и добр, сильней и добрей всех людей в мире. И он меня любит... и я, отец, я тоже его люблю.

Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же — и это еще отягчало его горе — Нуньес был ему по душе. И вот он пошел и сел в темном, без окон, зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул:

— Он теперь лучше, чем был; может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как мы.

Потом некоторое время спустя одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим ученым, врачевателем и обладал философским, изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевел разговор на Нуньеса.

— Я обследовал Боготу,— сказал он,— и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, он излечим.

— Я всегда на это надеялся,— ответил старый Якоб.

— У него поврежден мозг,— изрек слепой врач.

Среди старейшин пронесся ропот одобрения.

— Но спрашивается: чем поврежден?

Старый Якоб тяжело вздохнул.

— А вот чем,— продолжал врач, отвечая на собственный вопрос.— Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен, и мысли неспособны сосредоточиться.

— Вот что?—удивился старый Якоб.—Вот оно как...

— Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти раздражающие тельца.

— И тогда он выздоровеет?

— Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином.

— Да будет благословенна наука! — воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой.

Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть.

— Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!

Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина-Саротэ.

— А ты? Ведь ты не хочешь,— спросил он,— чтобы я утратил зрение?

Она покачала головой.

— Зрение — мой мир!

Ее голова поникла.

— Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи: цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далекое небо с плывущими в нем облаками, и закаты, и звезды. И есть на свете ты! Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое милое, ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие, красивые руки, сложенные на коленях... И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты! Чтобы я касался тебя и слышал — и не видел больше никогда! Чтобы я пошел под вашу крышу из камня, утесов и мрака — эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль... Нет, ведь ты не захочешь, чтоб я согласился на это?!

В нем зашевелилось обидное сомнение. Он замолчал, не настаивая на ответе.

— Иногда,— начала она,— иногда мне хочется... — Она замолчала.

— Да?! — сказал он с тревогой.

— Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил таких вещей.

— Каких?

— Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я люблю их. Но теперь...

Он похолодел.

— Что же теперь? — тихо спросил он. Она молчала.

— Ты хочешь сказать... ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если...

Он быстро взвесил все. В нем кипела злоба — да, зло-

ба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять,— чувство, сродни жалости.

— Дорогая,— прошептал он. И ее внезапная бледность показала ему, как сильно, всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек уха, и минуту они сидели молча.

— Что, если бы я согласился? — сказал он тихо-тихо.

— О, если б ты согласился! — твердила она сквозь слезы.— Если б согласился!

За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему смятенному уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе еще не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор, и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с Мединой-Саротэ, перед тем как она ушла спать.

— Завтра,— сказал он,— я больше не буду видеть.

— Милый,— ответила она и крепко, как могла, сжала его руки.

— Тебе будет только чуть-чуть больно,— сказала она.— И ты пройдешь через эту боль... ты пройдешь через нее, любимый, ради меня... Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый с ласковым голосом, я вознагражу тебя.

Жалость к себе и к ней захлестнула его.

Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо.

— Прощай,— шепнул он дорогому своему видению,— прощай.

И затем в молчании отвернулся от нее.

Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и было что-то в их ритме, что заставило ее безудержно разрыдаться.

Он собирался просто пойти в уединенное место, на усыпанный белыми нарциссами луг, и побыть там, пока не настанет час его жертвы, но поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам.

И показалось ему, что перед этим величием он сам, и этот слепой мир в долине, и его любовь — все, все только мерзость и грех.

Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам.

Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться.

Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучен, о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем — блеск и величие, ночью — озаренная тайна; город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке, от большого города Боготы в большой, огромный мир, через города и села, через леса и пустыни; идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы; и тогда ты достигнешь моря — бескрайного моря с тысячью островов — нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо — небо, не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды.

Все зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор.

Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом? Пожалуй, можно влезть на ту осыпь. Затем как-нибудь

вскарабкаться по каменной стене до границы снегов, а если та расселина непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом? Потом выйдешь в горящие янтарем снега, на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот.

Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее.

Он думал о Медине-Саротэ, и она теперь была маленькой и далекой.

Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день. Потом очень осмотрительно начал карабкаться.

Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался: он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках, но он лежал покойно, и на его лице была улыбка.

Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю внизу. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гор окрест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напоены были тонкой красотой: прожилка зеленой руды бежала по серым камням; вспыхивали тут и там грани кристаллов; мелкий оранжевый лишайник вил тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени; синева сгустилась в темный пурпур, пурпур — в светящийся мрак, а наверху распростерлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту, он лежал недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворенный уже тем одним, что вырвался из Долины Слепых, где думал стать королем.

Закат отгорел, настала ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными светлыми звездами.

1911

ЦАРСТВО МУРАВЬЕВ

I

Когда капитану Жерилло приказали вести его новую канонерку «Бенджамен Констан» в Бадаму — небольшой городок на реке Батемо, притоке Гварамадемы,— чтобы помочь тамошним жителям бороться с нашествием муравьев, он заподозрил, что начальство над ним издевается.

Его служебная карьера была романтичной и не совсем гладкой; здесь отчасти сыграли роль его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футуро» комментировали его новое назначение, увы, весьма непочтительно. И он чувствовал, что для такой непочтительности дает теперь новый повод.

Он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине; единственный человек, которому он открывал свое сердце, был находившийся на судне инженер Холройд из Ланкашира; общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском: он произносил звук th весьма приблизительно.

— Они просто хотят сделать из меня посмешище! — говорил он.— Как может человек бороться с муравьями? Муравьи приходят и уходят.

— Поговаривают, что эти муравьи не уходят,— отвечал Холройд.— Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...

— Замбо. Это значит «смешанная кровь».

— Самбо. Он сказал, что люди уходят.

Капитан раздраженно закурил.

— Такие случаи неизбежны,— сказал он немного погодя.— А почему? Нашествия муравьев и подобные штуки — все по воле божьей. Было такое нашествие в Тринидаде — маленьких муравьев, которые пожирают листья. Они объедают все апельсиновые, все манговые деревья! Что ж тут поделаешь? Иногда целые полчища являются к вам в дом — это воинственные муравьи, совсем другой вид. Вы покидаете свой дом, а они в нем наводят чистоту. Потом вы возвращаетесь — ваш дом чистехонек и стоит как новый. Никаких тараканов, никаких блох, никаких клещей в полу!

— Этот Самбо говорит, что здесь совсем другая разновидность муравьев.

Капитан пожал плечами, выпустил струйку дыма и занялся своей папиросой.

Вскоре он снова вернулся к той же теме.

— Мой дорогой 'Олройд, что мне делать с этими проклятыми муравьями? — Капитан задумался.— Смешно, право,— сказал он.

Во второй половине дня, облачившись в форму, капитан сошел на берег, и вскоре на корабль стали прибывать ящики и всякая тара. Позднее появился и он сам.

Холройд, наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже шесть дней, как они плыли вверх по Амазонке, уже несколько сотен миль отделяли их от океана, на восток и запад расстилался бескрайний, как море, горизонт, а на юге не было видно ничего, кроме песчаного острова с редкими зарослями кустарника. Все так же безостановочно бежала вода, густая и грязная, в ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы, вниз по реке бесконечной чередой плыли стволы деревьев. И бесцельность всего этого, отчаянная бесцельность наполняла душу Холройда.

Город Алемквер, с жалкой церквушкой, с тростниковыми навесами вместо домов и пепельно-серыми руинами, оставшимися от лучших времен, казался таким же

затерянным в огромной пустыне Природы, как шестипенсовик в песках Сахары.

Холройд был молод; в тропики он попал впервые, приехав из Англии, где природа полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. И вот здесь ему неожиданно открылась ничтожность человека. Шесть дней, все удаляясь от моря, они плыли по заброшенным протокам, и человек был здесь такой же редкостью, как диковинная бабочка. Сегодня они могли увидеть каноэ, завтра — отдаленное поселение, а на третий день — вообще ни одной живой души. Холройд начал сознавать, что человек — и в самом деле редкое животное, непрочно обосновавшееся на этой земле.

С каждым днем он сознавал это все более отчетливо, проделывая извилистый путь к реке Батемо в обществе этого удивительного капитана, в распоряжении которого одна-единственная пушка, а на руках приказ не тратить ядер. Холройд прилежно изучал испанский, но застрял на настоящем времени и изъяснялся в основном существительными. Кроме него, единственным человеком, знавшим несколько английских слов — да и те он постоянно путал,— был негр-кочегар. Помощник капитана португалец да Кунха говорил по-французски, но как мало был похож его язык на тот, которому Холройд обучался в Саутпорте, и их общение ограничивалось приветствиями и простейшими фразами о погоде.

Погода же, как и все в этом удивительном новом мире, не считалась с человеком: удушающая жара стояла и днем и ночью, воздух и даже ветер обжигали, как горячий пар, насыщенный запахами гниющих растений. Аллигаторы и неведомые птицы, мошкара разных видов и размеров, жуки и муравьи, змеи и обезьяны, казалось, удивлялись, что может делать человек в этой атмосфере, где солнце не приносит радости, а ночь — прохлады.

Ходить в одежде стало невыносимо, но и сбросить ее — значило заживо обуглиться днем, а ночью отдать себя на съедение москитам; находясь на палубе, можно было ослепнуть от яркого света, а оставаясь в каюте — задохнуться.

Среди дня прилетали какие-то насекомые, норовившие побольнее ужалить в щиколотку или запястья. Единственный, кто отвлекал Холройда от всех этих фи-

зических страданий, был капитан Жерилло, но он стал совершенно несносен: изо дня в день он рассказывал незатейливые истории своих любовных похождений и нудно, будто перебирал четки, перечислял вереницу своих безымянных жертв. Иногда он предлагал заняться спортом, и они стреляли в аллигаторов. Изредка, завидев в зарослях человеческие поселения, они сходили на берег и оставались там день-другой, пили вино или просто сидели и болтали. Однажды ночью они танцевали с девушками-креолками, которых вполне устраивал бедный испанский язык Холройда без прошедшего и будущего. Но это были отдельные яркие просветы на фоне долгого унылого течения реки, вверх по которой их тянули мерно стучавшие моторы. На всем судне, от кормы и, пожалуй, до самого носа, царило веселое и соблазнительное языческое божество в образе большой винной фляги.

На каждой стоянке Жерилло все больше и больше узнавал о муравьях и постепенно проникся интересом к своей миссии.

— Это совсем новый вид муравьев. Мы должны стать — как это у вас называется? — энтомологами. Муравьи очень крупные. Пять сантиметров, а попадаются и побольше! Просто смешно: нас послали ловить насекомых, словно мы обезьяны... Правда, они пожирают страну...— Тут капитан взорвался:— Представьте, вдруг возникнут какие-нибудь осложнения с Европой, а я торчу здесь... Скоро мы будем в верховьях Рио-Негро, а пушка моя бездействует.

Он потер колено и задумался.

— Люди, которые здесь танцевали, пришли из других мест. Они потеряли все, что имели. Однажды среди бела дня на их дома напали муравьи. Все выбежали на улицу. Знаете, когда появляются муравьи, каждый должен удирать поскорей, и дом захватывают муравьи. Если вы останетесь, они сожрут вас. Понимаете? И вот через некоторое время люди вернулись. Они говорили: «Муравьи ушли». Но муравьи вовсе не ушли. Люди пытались войти в дом — чей-то сын отважился. И муравьи на него напали.

— Набросились всем роем?

— Укусили его. Он тут же выскочил из дому и с воплем побежал. Бежит без оглядки прямо к реке, кидает-

ся в воду и топит муравьев. Вот так-то...— Жерилло замолчал, наклонился к Холройду и, глядя на него своими томными глазами, постучал костяшками пальцев по его колену.— В ту же ночь он умер, как будто был ужален змеей.

— Отравлен? Муравьями?

— Кто знает?— Жерилло пожал плечами.— Может быть, они его очень сильно искусали... Когда я принимал это назначение, я думал, что буду сражаться с людьми. А муравьи — они приходят и уходят. Человеку тут нечего делать.

Капитан часто потом заводил разговор с Холройдом о муравьях. И всякий раз, как им случалось плыть мимо любого, даже самого крошечного жилья, затерянного среди водного простора, солнечного света и далеких деревьев, Холройд, сделавший уже кое-какие успехи в языке, мог различить все чаще повторяющееся слово «Saüba» [1]. Оно преобладало над остальными.

Теперь и Холройд начал испытывать интерес к муравьям, и по мере приближения к месту назначения этот интерес становился все острее. Жерилло неожиданно оставил свои прежние темы, а лейтенант-португалец стал разговорчив. Он знал кое-что о муравьях, пожирающих листья, и делился своими познаниями. Все, что слышал от него Жерилло, он передавал иногда по-английски Холройду. Он рассказывал ему о маленьких муравьях-работниках, которые образуют целые полчища и сражаются, о больших муравьях — командирах и вождях, которые заползают человеку на шею и кусают в кровь. Рассказывал, как они обгрызают листья и откладывают яйца, и о том, что муравейники в Каракасе достигают иногда сотни ярдов в поперечнике... Два дня подряд трое мужчин обсуждали, есть ли у муравьев глаза. На вторые сутки спор стал слишком ожесточенным. Спас положение Холройд, отправившись в лодке на берег, чтобы поймать муравьев и проверить. Он захватил несколько экземпляров разных видов и вернулся на судно. Оказалось, что у одних есть глаза, у других — нет. Спор зашел и о том, кусаются муравьи или жалят.

---

[1] Saüba — вероятно, на каком-то смешанном наречии означает «муравей».

— У тех муравьев большие глаза,— сказал Жерилло, успевший собрать сведения на ранчо.— Они не бегают вслепую, как другие. Нет! Они забиваются в угол и наблюдают за вами.

— И жалят? — спросил Холройд.

— Да, эти жалят. Их укусы ядовиты.— Жерилло задумался.— Я не знаю, что может человек с ними сделать. Муравьи приходят и уходят.

— А эти не уходят.

— Они уйдут,— сказал Жерилло.

За Тамандой начинается длинный низкий безлюдный берег, который тянется на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния Гварамадемы с ее притоком Батемо, похожего на большое озеро; лес подступает все ближе и ближе и наконец придвигается совсем вплотную. Характер русла здесь меняется, часто попадаются коряги и камни, поэтому к вечеру «Бенджамен Констан» пришвартовался и стал под густую тень деревьев. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холройд с Жерилло засиделись допоздна, покуривали сигары и блаженствовали, отдыхая от жары. Жерилло был поглощен муравьями и все время думал о том, что они могут натворить. В конце концов, совершенно сбитый с толку, он решил выспаться и, расстелив матрац, лег на палубе. В последних его словах, произнесенных, когда, казалось, он уже уснул, прозвучало отчаяние: «Что можно поделать с этими муравьями?.. Вся затея совершенно бессмысленна».

В одиночестве Холройду оставалось лишь расчесывать искусанные комарами руки и предаваться размышлениям. Он сидел на фальшборте и прислушивался к чуть неровному дыханию Жерилло, пока тот окончательно не погрузился в сон. Потом его внимание привлекли шум и плеск реки, вновь пробудившие в нем чувство необъятности, которое он впервые испытал, когда покинул Пара и начал подниматься вверх по течению. Фонарь еле светил, на носу еще слышался говор, затем все стихло. Холройд перевел взгляд со смутно черневшей башни в середине канонерки на берег, на темный таинственный лес, где порою мерцали огоньки светляков и не смолкали какие-то посторонние загадочные шорохи.

Непостижимая беспредельность этих мест изумляла и подавляла его. Он знал, что в небесах людей нет, что звезды — это маленькие точки в необъятных просторах. Знал, что океан огромен и неукротим. Но в Англии он привык думать, что земля принадлежит человеку. И в Англии она в самом деле принадлежала человеку: дикие звери и растения живут там по его милости и доброй воле, там повсюду дороги, изгороди и царит полная безопасность. Даже судя по атласу, земля принадлежит человеку; вся она раскрашена так, чтобы показать его права на нее в противоположность не зависящей ни от кого синеве океана. Раньше Холройд считал само собой разумеющимся, что наступит время, и везде на вспаханной и обработанной земле будут проложены трамвайные линии и благоустроенные дороги, воцарятся порядок и безопасность. Теперь он начал в этом сомневаться.

Тянувшийся бесконечно лес казался непобедимым, а человек выглядел в нем в лучшем случае редким и непрошеным гостем. Предположим на минуту, что муравьи тоже начнут накапливать знания, как это делают люди с помощью книг и всяческих ученых записей, применять оружие, создавать великие империи, вести планомерную и организованную войну.

Холройд вспомнил услышанные Жерилло рассказы о муравьях, с которыми им предстояло встретиться. Они пускают яд наподобие змеиного и повинуются более крупным особям — вождям, как и муравьи-листоеды. Это муравьи-хищники, и куда они проникают, там и остаются.

Лес совсем затих. Вода непрерывно плескалась о борт судна. Над фонарем вился бесшумный, призрачный рой мотыльков.

Жерилло шевельнулся в темноте и вздохнул. «Что же делать?» — пробормотал он, повернулся и снова умолк. Жужжание москитов отвлекло Холройда от размышлений, которые становились все более мрачными.

II

На следующее утро Холройд узнал, что они находятся в сорока километрах от Бадамы, и его интерес к бе-

регам стал еще сильнее. Он подымался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность внимательно осмотреть местность. Нигде Холройд не мог заметить присутствия человека, если не считать развалин дома, заросших сорными травами, и зеленого фасада монастыря в Можу, оставленного давным-давно; из его оконного проема тянулось дерево, а вокруг пустых порталов обвивались гигантские вьюны. В то утро над рекой пролетали стайки странных желтых бабочек с полупрозрачными крыльями; многие из них садились на судно, и матросы их убивали.

На десятки миль вокруг повсюду шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо, а человек... Человек распространял свою власть всего лишь на небольшую вырубку, которая не покорялась ему; сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на этом жалком клочке земли. Он становился добычей хищников и змей, всяких тварей, тропической лихорадки и уступал в этой борьбе. Человек был явно вытеснен из низовьев реки и повсеместно отброшен назад. Заброшенные бухты еще назывались здесь «каза», но руины белых стен и полуобвалившиеся башни свидетельствовали об отступлении. Здесь хозяйничали скорее пума и ягуар, чем человек.

Но кто же был настоящим хозяином?

На протяжении нескольких миль этого леса, наверное, куда больше муравьев, чем людей на всем земном шаре. Мысль эта показалась Холройду совершенно новой. Понадобились какие-нибудь тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами земли. Но что помешает муравьям пройти ту же эволюцию?

Известные до сих пор виды муравьев живут небольшими общинами, по нескольку тысяч особей, и не предпринимают никаких совместных действий против окружающего их большого мира. Однако у них есть язык, у них есть разум! Почему же они должны остановиться на этой ступени, если человек не остановился?

Было уже за полдень, когда они приблизились к покинутой куберте. Сначала она не производила впечатления покинутой: оба ее паруса были подняты и недвижно висели в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек. Другой как будто спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу куберты и ее движению наперерез канонерке стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Жерилло наблюдал за лодкой в бинокль и обратил внимание на странно темнеющее лицо человека, сидевшего на палубе,— багровое лицо без носа. Вернее, не сидевшего, а скорчившегося. И чем дольше смотрел на него капитан, тем больше отталкивал его этот человек, но вместе с тем он не мог отвести от него бинокля.

Наконец он все-таки перестал смотреть и пошел за Холройдом. Вернувшись, капитан окликнул куберту. Он окликнул ее опять, когда куберта проскользнула мимо канонерки. Отчетливо видно было ее название: «Санта Роза». Подплыв совсем близко и оказавшись в кильватере «Бенджамена Констана», она слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек вдруг рухнул, как будто все суставы у него распались. Шляпа его слетела, обнажившаяся при этом голова явила собой довольно плачевное зрелище, тело безжизненно грохнулось и покатилось за фальшборт, скрывшись из виду.

— Каррамба! — вскрикнул Жерилло, обернувшись к Холройду, который уже подымался на мостик.

— Вы видели? — спросил капитан.

— Он мертв! — сказал Холройд.— Мертв. Вам бы следовало послать шлюпку. Там что-то неладно.

— Вы не заметили случайно его лица?

— А что у него с лицом?

— Оно... У-у-х! У меня нет слов...

Капитан отвернулся и тотчас вошел в роль энергичного и требовательного командира.

Канонерка подплыла к каноэ, стала параллельно его изменчивому курсу и спустила на воду шлюпку с лейтенантом да Кунха и тремя матросами, которые должны были подняться на «Санта Розу». Когда лейтенант ступил на борт каноэ, любопытство заставило капитана под-

рулить судно почти вплотную, и Холройд смог окинуть взглядом всю «Санта Розу», от палубы до трюма.

Теперь он ясно видел, что вся команда куберты состояла из двух мертвецов; он не мог разглядеть их лиц, однако по раскинутым рукам, на которых клочьями висело мясо, видно было, что трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Сначала внимание Холройда сосредоточилось на двух загадочных кучах грязной одежды и бессильно висевших конечностях, а затем его взгляд обратился к раскрытому трюму, набитому сундуками и ящиками, потом к корме, на которой зияла необъяснимой пустотой небольшая каюта. Холройд заметил, что средняя часть палубы усеяна движущимися черными точками.

Эти точки приковали его внимание. Они двигались по радиусам от лежащего человека, напоминая — сравнение сразу пришло ему в голову — толпу, которая расходится после боя быков. Холройд почувствовал, что рядом стоит Жерилло.

— Капитан, бинокль при вас? — спросил он.— Можете направить его прямо на палубу?

Что-то недовольно буркнув, Жерилло исполнил его просьбу и передал бинокль. Несколько мгновений Холройд разглядывал палубу.

— Это муравьи,— сказал он и отдал обратно бинокль.

Ему показалось, что эти большие черные муравьи очень похожи на обычных и отличаются от них лишь размерами да еще тем, что на более крупных какое-то серое одеяние. Никаких других подробностей он заметить пока не успел.

Над бортом куберты показалась голова лейтенанта да Кунха, и последовал короткий разговор.

— Вы должны осмотреть палубу,— сказал Жерилло.

Лейтенант возразил, что куберта полна муравьев.

— Но у вас ведь есть сапоги!

Лейтенант поспешил переменить тему.

— Отчего умерли эти люди? — спросил он.

Капитан пустился в объяснения, которые Холройд не мог понять, и начался спор, становившийся все жарче и жарче. Холройд взял бинокль и снова стал разглядывать сначала муравьев, потом трупы на куберте.

Он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, они были черного цвета и такой же величины, как виденные им до сих пор. Двигались они в определенном, сознательно выбранном направлении, что совсем не походило на механическую суету обычных муравьев. Приблизительно каждый двадцатый был значительно крупнее своих собратьев, отличаясь от них к тому же огромной головой. Ему вспомнились рассказы о вождях муравьев-листоедов, которые правят своими соплеменниками; подобно им, большеголовые, казалось, тоже направляли и координировали общее движение. Двигались они очень странно, откидываясь назад, будто отталкивались передними ногами. И Холройду вдруг привиделось (он не мог бы поручиться за точность из-за дальности расстояния), что на большинстве муравьев, в том числе и на крупных, одежда, которая держится на туловище с помощью блестящей белой перевязи, словно сплетенной из металлических нитей.

Услышав, что спор между капитаном и его помощником зашел слишком далеко, Холройд резко опустил бинокль.

— Произвести осмотр куберты—ваша обязанность,— заявил капитан.— Таков мой приказ.

Лейтенант, по-видимому, был склонен не подчиниться приказу. Немедленно из-за его спины показалась голова одного из матросов-мулатов.

— Я думаю, этих людей убили муравьи,— коротко сказал Холройд по-английски.

Капитан пришел в ярость и ничего не ответил.

— Я, кажется, приказал вам начать осмотр! — крикнул он по-португальски лейтенанту.— Если вы тотчас не начнете, это будет бунт, форменный бунт. Бунт и трусость! Где же мужество, которое должно воодушевлять всех нас? Я прикажу заковать вас в кандалы, застрелить, как собаку!

Он разразился потоком проклятий и ругательств, метался по палубе, потрясал кулаками, и видно было, что он совсем не владел собой, а лейтенант, бледный и притихший, стоял и смотрел на него. Пораженные разыгравшейся сценой, подошли остальные члены команды.

Когда капитан на минуту утихомирился, лейтенант неожиданно принял героическое решение: он отдал честь,

весь как-то подобрался и стал взбираться на палубу куберты.

— А-а-ах! — воскликнул Жерилло, и рот его захлопнулся, как мышеловка.

Холройд видел, как муравьи отступают перед сапогами да Кунхи. Португалец медленно подошел к распростертому телу, наклонился над ним, задумался, потом стащил с него куртку и перевернул труп. Из одежды роем поползли черные муравьи, и да Кунха быстро отскочил назад, давя насекомых сапогами.

Холройд взял бинокль. Он увидел, что муравьи бросились врассыпную от ног захватчика и делают то, чего никогда не делали муравьи, известные ему прежде. Поведение их не имело ничего общего со слепыми движениями обычных представителей этого рода: они смотрели на человека, как смотрит вновь собирающаяся толпа на рассеявшее ее гигантское чудовище.

— Отчего он погиб? — прокричал капитан.

Холройд достаточно понимал по-португальски, чтобы уловить слова: «Труп слишком изъеден, и поэтому трудно понять причину».

— Что там, в носовой части? — снова крикнул Жерилло.

Лейтенант сделал несколько шагов вперед и продолжал отвечать по-португальски. Внезапно он остановился и стал сбивать что-то у себя с ноги. Он шел какой-то странной походкой, словно пытаясь наступить на что-то невидимое, а затем быстро зашагал к борту. Потом он весь напружинился, повернул назад, упрямо двинулся к трюму, поднялся на фордек, где были закреплены весла, на миг склонился над вторым трупом, громко застонал и твердой походкой направился назад к каюте. Повернувшись к капитану, он вступил с ним в беседу, сдержанную и почтительную с обеих сторон и совсем непохожую на гневный и оскорбительный выпад всего несколько минут назад. Холройд уловил только обрывки разговора.

Он снова посмотрел в бинокль и с удивлением обнаружил, что муравьи исчезли со всех открытых мест на палубе. Он направил бинокль во мрак каюты и трюма, и ему показалось, что темнота полна настороженных глаз.

Все решили, что куберта оставлена людьми, но так

как она кишмя кишела муравьями, отправлять туда на ночевку матросов было опасно. Приходилось брать ее на буксир. Лейтенант пошел на нос, чтобы принять и закрепить конец, а находившиеся в шлюпке матросы привстали, чтобы в нужный момент помочь.

Холройд снова пошарил биноклем вокруг. Он все больше и больше убеждался, что на куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он разглядел, как муравьи-гиганты, ростом, наверное, в два дюйма, волоча грузы странной формы и непонятного назначения, стремительно двигались из одного укромного места в другое. По открытым участкам они бежали не колоннами, а широкой рассыпной цепью, и движение их удивительно напоминало перебежки современной пехоты под неприятельским огнем. Часть их нашла укрытие в куче одежды рядом с трупом, а вдоль борта, куда должен был сейчас направиться да Кунха, сосредоточилась целая армия.

Холройд не видел, как муравьи набросились на лейтенанта, но и теперь не сомневается в том, что на него было совершено настоящее согласованное нападение. Лейтенант внезапно вскрикнул, разразился проклятиями и стал колотить себя по ногам.

— Меня ужалили! — завопил он, обратив к капитану горящее ненавистью лицо.

Потом скрылся за бортом, прыгнул в шлюпку и сразу же бросился в реку. Холройд услышал всплеск воды.

Трое матросов вытащили его и положили в лодку. Той же ночью он умер.

III

Холройд и капитан вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили глаз с зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Была душная темная ночь, и только таинственные вспышки зарниц освещали тьму. Смутный черный треугольник куберты качался в кильватере канонерки, паруса надувались и хлопали, над кренившимися мачтами плыл густой дым, и в нем непрерывно вспыхивали искры.

Мысли Жерилло все возвращались к тем злобным

словам, которые произнес лейтенант в предсмертной горячке.

— Он сказал, что я убил его. Но это же просто абсурд. Ведь кто-то должен был подняться на куберту. Неужели нам бежать от этих проклятых муравьев, как только они покажутся? — возмущался капитан.

Холройд молчал. Он думал об организованном броске маленьких черных существ, переползающих через освещенную солнцем пустую палубу.

— Он обязан был пойти,— твердил Жерилло.— Он погиб, выполняя свой долг. Кого он может упрекать? Убит! Да, бедняга был просто — как это называется? — ну, невменяемым, что ли? Чуточку не в своем уме. Он весь раздулся от яда. Г-м.

Наступило долгое молчание.

— Мы потопим каноэ. Сожжем его.

— А дальше что?

Вопрос вывел Жерилло из себя. Плечи его поднялись, руки взметнулись в негодующем жесте.

— Так что же прикажете делать? — закричал он, переходя на злобный визг.— Что бы ни было,— бушевал он,— а я сожгу живьем каждого муравья в одиночку на этой проклятой куберте!

Холройд молча слушал его. Издали доносились вопли и вой обезьян, наполняя знойную ночь зловещими звуками; когда же куберта подошла ближе к берегу, к ним прибавилось гнетущее кваканье лягушек.

— Что же делать? — повторил капитан после долгой паузы. Потом, неожиданно исполнившись свирепой решимости и разразившись проклятиями, он приказал сжечь «Санта Розу» без всякого промедления. Всем пришлась очень по душе эта мысль, и матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, отрубили его, подожгли куберту паклей, пропитанной керосином, и вскоре «Санта Роза», весело потрескивая, пылала в необъятной тропической ночи. Холройд наблюдал, как во мраке тянется вверх желтое пламя и багровые вспышки зарниц, зажигаясь и угасая над вершинами деревьев, на мгновение выхватывают их силуэты из темноты. Позади Холройда стоял кочегар и тоже смотрел на пламя. Он был настолько возбужден, что даже прибегнул к своим лингвистическим познаниям.

— «Saüba» делать пх, пх. Ох-хо! — И громко расхохотался.

А Холройд думал о том, что у маленьких существ там, на куберте, есть глаза и мозг.

Все происходящее казалось ему чем-то невероятно глупым и ложным, но что было делать?

Тот же вопрос с новой силой возник наутро, когда канонерка подошла наконец к Бадаме.

Селение это, с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводом, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, поразило тишиной и безмолвием; в это жаркое утро здесь не видно было никаких признаков человека. Муравьев же на таком расстоянии разглядеть было невозможно.

— Все ушли,— сказал Жерилло.— Но мы все-таки попробуем: нужно покричать и посвистать.

Холройд принялся кричать и свистеть. И тут капитана начали одолевать мучительные сомнения. Наконец он заявил:

— Нам остается только одно.

— Что? — спросил Холройд.

— Опять кричать и свистеть.

Так они и сделали.

Капитан ходил по мостику, разговаривая сам с собою и жестикулируя. Можно было подумать, что множество мыслей обуревает его мозг. С губ срывались отрывки каких-то слов. Он как будто обращался на испанском или португальском к воображаемому судилищу. Уже немного тренированное ухо Холройда уловило, что речь идет о боеприпасах. Вдруг Жерилло прервал свои раздумья и обратился к Холройду по-английски:

— Мой дорогой 'Олройд! Что же нам делать?

Вооружившись полевым биноклем, они сели в лодку и поплыли к берегу, чтобы изучить местность. На краях грубо сколоченного причала им удалось разглядеть крупных муравьев, неподвижные позы которых наводили на мысль, что они наблюдают за людьми. Жерилло несколько раз выстрелил в них из пистолета, но безрезультатно.

Между ближайшими домами Холройд различал какие-то странные земляные сооружения, очевидно, построенные муравьями, завоевавшими селение. Наши ис-

следователи миновали пристань и позади нее увидели лежавший на земле скелет человека с белоснежной набедренной повязкой. Бросив грести, они стали вглядываться в него.

— Я обязан думать об их жизнях,— сказал вдруг Жерилло.

Холройд недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что он имеет в виду разноплеменный сброд, составлявший команду корабля.

— Высадить отряд на берег? Нет, это невозможно, никак невозможно. Все будут отравлены и распухнут, страшно распухнут и умрут, обвиняя меня одного. Совершенно невозможно... Если уж высаживаться на берег, то только мне, мне одному в толстых сапогах. Я сам ответчик за свою жизнь. Может, я останусь в живых. Или лучше не высаживаться? Просто не знаю, как быть. Не знаю.

Холройд подумал, что он все сам прекрасно знает, но промолчал.

— Эта история,— заявил вдруг капитан,— затеяна, чтобы поднять меня на смех. Вся история!

Они покружили вокруг дочиста обглоданного скелета, осмотрели его с разных сторон и вернулись на канонерку. К этому времени колебания Жерилло стали совершенно мучительными.

Наконец были разведены пары, и после полудня канонерка поплыла вверх по реке, как будто еще надеясь найти у кого-то ответ на тяжкий вопрос. К заходу солнца она возвратилась и бросила якорь. Собиравшаяся и бурно разразившаяся гроза утихла, наступила прохладная и спокойная ночь, на палубе все уснули. Все, кроме Жерилло. Он беспокойно метался по палубе и что-то бормотал. На рассвете он разбудил Холройда.

— Господи, в чем же дело? — спросил тот.

— Решено,— сказал капитан.

— Что, высаживаться на берег? — спросил Холройд, с которого сразу слетел сон.

— Нет,— ответил капитан и умолк.— Решено,— повторил он.

Холройд нетерпеливо ждал.

— Да,— сказал капитан.— Я выстрелю из большой пушки.

И он выстрелил! Одному богу известно, что подумали об этом муравьи, но он это сделал. Он выстрелил дважды, соблюдая торжественный ритуал. Матросы заткнули уши ватой. Все дело смахивало на военную операцию. Сначала ударили по старому сахарному заводу и разрушили его, потом снесли пустую лавку позади причала. Затем у Жерилло началась неизбежная реакция.

— Ничего хорошего из этого не выйдет,— сказал он Холройду.— Ничего хорошего. Ни черта. Мы должны вернуться назад за указаниями. Они подымут тарарам из-за ядер, настоящий тарарам. Вы еще не знаете, 'Олройд...

Он стоял и в полной растерянности смотрел на все окружающее.

— Но что же еще можно было сделать!

После полудня канонерка отправилась в обратный путь, вниз по реке, и к вечеру часть экипажа высадилась, чтобы похоронить тело лейтенанта на берегу, где еще не успели появиться новые муравьи.

IV

Мне довелось услышать эту историю урывками от Холройда недели три тому назад. Новый вид муравьев не дает ему покоя, и он вернулся в Англию с намерением «возбудить», как он говорит, «умы людей» рассказом об этих муравьях, пока еще не слишком поздно. По его словам, они угрожают Британской Гвиане, которая находится немногим больше тысячи миль от нынешней области их распространения, и министерству колоний следует немедленно за них взяться. Холройд заявляет со страстной убежденностью:

— Это думающие муравьи. Поймите, что это значит!

Они, несомненно, являются серьезным бедствием, и бразильское правительство поступило весьма благоразумно, предложив премию в пятьсот фунтов за эффективный способ их истребления. Столь же верно, что со времени своего первого появления три года назад в районе Бадамы эти муравьи одержали немало выдающихся побед. Фактически они оккупировали весь южный берег

реки Батемо протяженностью приблизительно в шестьдесят миль, полностью изгнали оттуда людей, заняли плантации и сеттльменты и захватили по меньшей мере один корабль.

Ходит даже слух, что каким-то необъяснимым образом они переправились через довольно широкий приток Капуараны и продвинулись на много миль к самой Амазонке. Можно не сомневаться, что они гораздо разумнее и обладают более совершенным общественным устройством, чем известные до сих пор виды муравьев: они не рассеяны отдельными общинами, а в сущности, организованы в единую нацию. Но особая и непосредственная опасность для человека заключается не столько в этом, сколько в сознательном применении яда против более сильного врага. По-видимому, их яд весьма схож со змеиным. Он вырабатывается всеми муравьями этого вида, применяют же его при нападении на человека более крупные их экземпляры, пользуясь острыми, как игла, кристаллами.

Подробную информацию о новых претендентах на мировое господство получить, конечно, трудно. Не существует прямых свидетелей их деятельности (если не считать Холройда с его беглыми показаниями), ибо очевидцы не уцелели в столкновении с ними. В районе Верхней Амазонки ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи этих муравьев. Легенды эти растут с каждым днем, по мере того как, неуклонно продвигаясь вперед, завоеватели вызывают страх и тревожат воображение человека. Необычайным маленьким существам приписывается умение не только пользоваться орудиями труда, применять огонь и металлы, создавая чудеса инженерной техники, которые потрясли наши северные умы (мы еще не привыкли к таким чудесам, как тоннель под Парахибой, вырытый в 1841 году saüb'ами из Рио-де-Жанейро в том месте, где река столь же широка, как Темза у Лондонского моста); им приписывается также метод организованной и подробной регистрации и передачи сведений, аналогичный нашему книгопечатанию. До сих пор они упорно продвигались вперед, захватывая новые территории, вынуждая к бегству или неся гибель всем живущим здесь людям. Их численность быстро растет, и Холройд твердо уверен, что в конце

концов они вытеснят человека из всей тропической зоны Южной Америки.

Скажите, почему они должны не двигаться дальше тропиков Южной Америки?

Правда, в настоящее время они находятся именно там. Если они будут продвигаться и впредь, то к 1911 году или около того они атакуют ветку железной дороги, проложенную вдоль Капуараны, и обратят на себя внимание европейских капиталистов.

К 1920 году они доберутся до среднего течения Амазонки. По моим расчетам, к 1950 или самое позднее к 1960 году они откроют Европу.

1911

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том VI.

Редакторы тома
И. Бернштейн и Н. Георгиевская.

Иллюстрации художника
П. Караченцова.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп к печ. 28/VII 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1335. Зак. 1423. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 13,125+4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 21,93. Уч.-изд. л. 22,96.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24